

ISSN 0206-8680

К 100-летию Веры Холодной



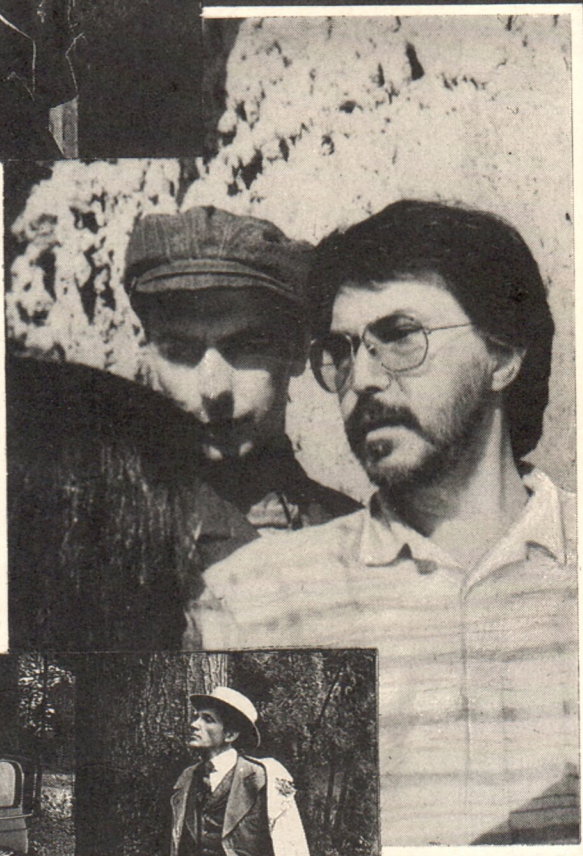
КИНО сценарии **№3**



Елена Соловей
в роли
Веры Николаевны
в фильме
Р. Хамдамова
«Нечаянные
радости»

Рустам Хамдамов
на съемках фильма
«Анна Карамазов»

Эммануил Виторган
в роли
Прокудина-Горского
в фильме
Р. Хамдамова
«Нечаянные радости»



**СЕГОДНЯ
В
ЖУРНАЛЕ**

Рустам Хамдамов

Р. Ибрагимбеков
Н. Михалков

Ю. Арабов

А. Бородянский
К. Шахназаров

Пол Шредер

А. Инин

Г. Горин

Б. Стрейзанд

С. Фрейлих

А. Червинский

КИНО сценарии **№3**

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

Нечаянные радости

Сибирский цирюльник

Юные годы Данта.

Сны

Таксист

Кинокомедия

Любимец Бога

Ентл

Телевизионные парадоксы

Бизнес в кино

Учредители:
Комитет кинематографии
при правительстве
Российской Федерации,
Конфедерация Союзов
кинематографистов



Рисунок Рустама Хамдамова

РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ УНИЧТОЖЕННОГО ФИЛЬМА

«НЕЧАЯННЫЕ РАДОСТИ»

*« — А чем занимается твой отец?
— Мой отец пишет стихи. Больше он ничего не делает. Он один из величайших неизвестных поэтов мира.
— А когда он получит деньги?
— Никогда! Нельзя быть великим и брать за это деньги».*

*Диалог из фильма Рустама Хамдамова
«В горах мое сердце», ВГИК, 1967 г.*

Рустам Хамдамов ворвался в кинематограф как комета. Студент третьего курса сделал фильм, который называют работой мастера и включают в число лучших фильмов нашего кино.

В 1967 г. фильм Рустама Хамдамова «В горах мое сердце» получил все премии на внутреннем фестивале ВГИКа. Картина вызвала сильнейший эстетический шок. Имя Хамдамова в титрах было упомянуто как-то вскользь, среди прочих студентов, но все, тем не менее, знали, что он был единоличным автором фильма: не только режиссером, но и написал оригинальный сценарий (прикрытый ссылкой на Уильяма Сарояна), придумал смешные абсурдистские диалоги, сделал все декорации и костюмы, а также подобрал превосходных актеров. Впервые появилась на экране студентка Елена Соловей, ошарашившая публику замечательной улыбкой.

Реакция на фильм была резко полярной. Партком ВГИКа срочно ввел идеологическую цензуру на студенческие работы, а самые талантливые и творческие люди были по-настоящему потрясены.

Андрей Михалков-Кончаловский несколько позднее написал так: «Скажу больше: картина «В горах мое сердце» очень повлияла на меня — всё время работы над «Дворянским гнездом» я находился под ее обаянием. Я смотрел эту картину несколько раз и каждый раз не мог понять, почему она на меня так действует, волнует, не побоюсь сказать, приводит в смятение, что в ней такого особенного?»¹

В фильмотеке ВГИКа есть несколько затертых копий этого фильма, и до сих пор все поколения режиссеров тщательно изучают этот маленький черно-белый фильм длительностью 35 минут. Каждый кадр картины знаком широкому зрителю: режиссерские находки, образы и даже реквизит этого фильма тиражировались оптом и в розницу. Считается, что на «В горах мое сердце» как на творческом ферменте возшла в нашем кино стилистика ретро, но, пожалуй, значение этого фильма еще шире. В нем много заразительных режиссерских приемов иного рода. После этого фильма камеры стали путешествовать по нарисованным картинам как по настоящей на-



туре или совершать неспешные крутовые панорамы по небрежным натюрмортам, зашагала по экранам целая толпа чудаков, романтически, не к месту, играющих на трубах и горнах...

Александр Червинский полагает, что многие нынешние поиски молодых навьяны его (Рустама Хамдамова — прим. авт.) картиной, которую я считаю гениальной», и включает «В горах мое сердце» в свой список 12-ти лучших картин нашего кино за все время². Шедевром называют фильм Виктор Демин и Юрий Богомолов³.

Широкая публика не имела возможности увидеть «В горах мое сердце» — фильм не был в прокате, не был показан по телевидению. Негатив фильма из фильмотеки ВГИКа был кем-то выкраден.

С 1972 по 1974 г. Рустам Хамдамов работал над своим первым полнометражным фильмом «Нечаянные радости», который принес ему только горечь потери. Труд Хамдамова был уничтожен, а сам он был изгнан из кино.

Идея фильма родилась у Хамдамова в развитие его интереса к забытой эстетике немого кино. Хамдамов увидел в Елене Соловей качества кинозвезды начала века и решил построить свой фильм вокруг об-

раза, прототипом которого стала знаменитая Вера Холодная. Позднее Хамдамов нашел еще одну актрису, обладавшую характерно-старомодным и редким обаянием, — Наталию Лебле, и решил, что у его Веры Холодной будет неразлучная сестра-близнец. Эти пожелания были учтены сценаристами.

Сценарий фильма написали и провели по всем официальным инстанциям А. Михалков-Кончаловский и Ф. Горенштейн. Трудно переоценить их вклад в то, что работа Хамдамова вообще стала возможной. Публикуемый нами случайно сохранившийся фрагмент сценарной заявки этих авторов является примечательным документом эпохи. Можно видеть, на какие тяжкие компромиссы приходилось идти, чтобы создать впечатление идеологической выдержанности текста.

С другой стороны, намеченная в заявке фабула имеет определенное сходство с содержанием фильма «Раба любви», позднее осуществленном Никитой Михалковым.

Наконец, сравнение этой заявки с текстом хамдамовского сценария оказывается очень поучительным. Мы публикуем здесь найденные недавно рукописные черновые наброски Хамдамова к «Нечаянным радостям».



Фильм, который делал Хамдамов, не имел ничего общего с официально одобренным сюжетом. Больше того, весь его пафос и стиль имели направленность вполне несоветскую.

Как обломки античной статуи, сохранившиеся фрагментарные хамдамовские тексты имеют собственную эстетическую ценность. Кроме того, вместе они складываются в туманный призрак погибшего фильма. Можно догадаться, что автор такого дерзкого по форме и содержанию сценария не был склонен к компромиссам.

Во время экспедиции во Львов, когда фильм был почти наполовину снят, в Москве забеспокоились. Директор фильма сообщал, что творится нечто странное, что актеры прячут на себе листки с какими-то секретными текстами — это был сценарий Хамдамова. После просмотра на «Мосфильме» разразился скандал. Руководство осталось совершенно равнодушным к изумительному изобразительному качеству съемок Хамдамова и оператора Ильи Миньковецкого, напротив, это только раздражало и вызывало насмешки. Главным было вопиющее несоответствие утвержденному сценарию.

Хамдамов отказался подчиниться давлению и ушел с «Мосфильма». Через не-

которое время негатив фильма, которым никто из официальных лиц не дорожил, был смыт в плановом порядке. Рабочему материалу повезло несколько больше — он был разобран разными людьми. Несмотря на активные поиски, до настоящего времени удалось обнаружить только около трех частей фрагментарного рабочего материала, иногда с рабочей фонограммой, около двух десятков фотографий из фильма и со съемочной площадки и несколько страниц текста. Вот, собственно, и все, что физически осталось от «Нечаянных радостей». На этом материале и основана наша публикация.

Помянув в заголовке настоящей статьи «не горящие рукописи», мы имели в виду не столько то немногое, что сохранилось от «Нечаянных радостей», сколько то многое, что было уничтожено, да не погибло.

Повторилась характерная для Хамдамова история, — оставаясь недоступным для зрителя в первоисточнике, его новаторское искусство имеет самое широкое хождение в опосредованном виде. Незаконченный фильм стал источником множества отзвуков, заимствований, режиссерских идей и находок, до сих пор витающих в воздухе. Тема влияния «Нечаянных ра-



достей» на кинопроцесс еще ждет своего исследователя.

Именно в своем фильме Хамдамов тщательно разработал и полностью сформировал образ кинозвезды Елены Соловей, знакомый всем. В виде готового персонажа Е. Соловей перешла в фильм Михалкова «Раба любви», представляющий собой популяризованную и идеологически допустимую версию исходного замысла.

Центральный персонаж «Рабы любви» является главным аттракционом этого фильма, сюжет которого никто и не помнит за ненадобностью. Одета и причесана Е. Соловей уже похуже, чем в «Нечаянных радостях», но в знаменитом финале, в самом запоминающемся кадре картины, актриса предстает перед зрителем в платье, парике и гриме, придуманных и созданных подлинным автором облика новой Веры Холодной. Не раз в «Рабе любви» мелькает и плакат, сделанный Хамдамовым для своего фильма.

Наверное, не стоит упрекать Михалкова, за то, что он никак не упомянул Хамдамова в титрах «Рабы любви». «Время было такое», имя Хамдамова было под стро-

гим запретом. Авторского права фактически не существовало. Широкий зритель может быть только благодарен тому, кто оказался достаточно проницателем, талантлив и энергичен, чтобы спасти и распространить даром пропадающий материал. В любом случае он сделал это успешнее и лучше других. Здесь уместно сказать о том, что Михалков достаточно открыто говорил о Хамдамове как о большом художнике и призывал к внимательному изучению его произведений. Объективный анализ фильмов Михалкова позволяет среди естественного для современного режиссера множества влияний выделить отчетливые хамдамовские ноты, применяемые с изобретательностью и талантом.

Кира Муратова также очень чутко относится ко всем художественным манифестациям хамдамовского внутреннего мира. Она неоднократно занимала в своих фильмах вторую актрису «Нечаянных радостей», Наталью Лебле. Фильм «Перемена участи» откровенно построен на интонациях, образах и темах, почерпнутых у Хамдамова; один из персонажей загримирован под него, а главная роль отведена Н. Лебле. В ин-



тервью Кира Муратова сказала: «Я не согласилась бы, наверное, говорить ни о ком, кроме как о Хамдамове... Когда меня спрашивают: «Кто на вас повлиял? Кто был для вас учителем?», я отвечаю так: «Наверное, масса людей, но определенно — Параджанов и Хамдамов»⁴.

Долгие пятнадцать лет Хамдамов провел в фактической внутренней эмиграции, оставаясь за дверью официального кинематографа. Имя его не упоминалось в советской прессе. Он жил в Москве нелегально и неустроенно (собственно говоря, он и сейчас в том же положении). Органическая потребность в творчестве заставила его интенсивно работать в различных жанрах изобразительного искусства. По мнению критиков, Хамдамов — живописец и график мирового масштаба. Кроме того, Хамдамов оформлял спектакли, делал эскизы костюмов для театра, балета и западных домов высокой моды, рисовал афиши и... негласно работал в кино. В его коммунальном полуподвале не переводились визитеры разной степени таланта и порядочности, которым он помогал советом, идеей, а подчас и прямым участием в работе,

как сценарист, художник и даже режиссер. Как отбтекаемо выразился об этом периоде Андрей Плахов: «Рустам Хамдамов — режиссер и художник, на много лет замолчавший, но в этом своем молчаливом присутствии продолжавший влиять на лучших людей кинематографа»⁵.

Потребовался перелом системы, чтобы стало возможным творчество в кино без цензуры. К 1991 г. Хамдамову удалось, наконец, сделать свой первый полнометражный фильм «*Anna Karamazoff*». Подробнее о работе над этой картиной мы расскажем перед публикацией этого сценария.

История вокруг этого фильма сложилась почти детективная. В незаконченном виде он был вывезен во Францию для участия в главном конкурсе фестиваля в Каннах 1991 года. Французский продюсер Зильберман убедил руководство «Мосфильма» отдать ему на время оригинальный негатив, рабочую копию фильма и все фонограммы. Фильм был показан фестивальной публике и не встретил понимания.

Позднее лучшие французские кинокритики резко критиковали жюри 1991 года за уступки массовому вкусу и коммерциализации.



зации искусства. Клод-Мари Тремуа в статье «Дворец несправедливости» написал, что «предпочесть другой фильм превосходному фильму Хамдамова *«Anna Karamazoff»* — это все равно, что предпочесть «Собаку Баскервилей» «Андалузскому псу»⁶. Даниэль Иман в газете «Монд» назвала фильм Хамдамова «сокровищницей» фараонов, полной еще неразграбленных богатств, которых хватит на десятки лет»⁷. Но наш отечественный зритель собственного суждения о фильме вынести не может. Продюсер отказывается вернуть картину, выставляя «Мосфильму» подложные и вымышленные счета, а растерявшиеся киноинстанции не могут с должным напором бороться с ним. Фильм *«Anna Karamazoff»* фактически выкраден из нашей страны, а режиссер опять оказался в чудовищно несправедливом положении.

Сила и заразительность хамдамовского искусства так высоки, что все новшества, примененные Хамдамовым в *«Anna Karamazoff»*, немедленно были подхвачены последователями. Лучшие молодые клипмейкеры у нас и на Западе откровенно копируют отдельные кадры из этого фильма — так поражают воображение новые хамдамовские образы. В иных фильмах заимствования имеют системный характер — от грима и причесок до содержания диа-

логов. Революционное значение может приобрести постмодернистский способ использования цитат, примененный Хамдамовым.

Рустам Хамдамов заслужил всей своей жизнью без страха и упрека право показать свои фильмы в своей стране своим зрителям. Хамдамов продолжает работать, и еще не время давать его творчеству окончательные оценки. Для этого нужны правильная историческая перспектива и серьезный исследовательский труд.

Наша публикация восстанавливает утерянные звенья событий.

Василий Литвинов

Примечания

¹ Статья «Рустам Хамдамов — режиссер и художник», журнал «Советский экран», № 1, 1972 г.

² «СКФ» № 9, 1987 г.

³ Журнал «Советский фильм», № 9, 1989 г.

⁴ Журнал «Киноглаз» № 1, 1991 г.

⁵ Журнал «Искусство кино» № 7, 1988 г.

⁶ Газета «Монд» от 20 мая 1991 г.

⁷ Журнал «Телерама», июнь 1991 г.



«НЕЧАЯННЫЕ РАДОСТИ»

Фрагмент заявки на сценарий

А. Михалкова-Кончаловского и Ф. Горенштейна

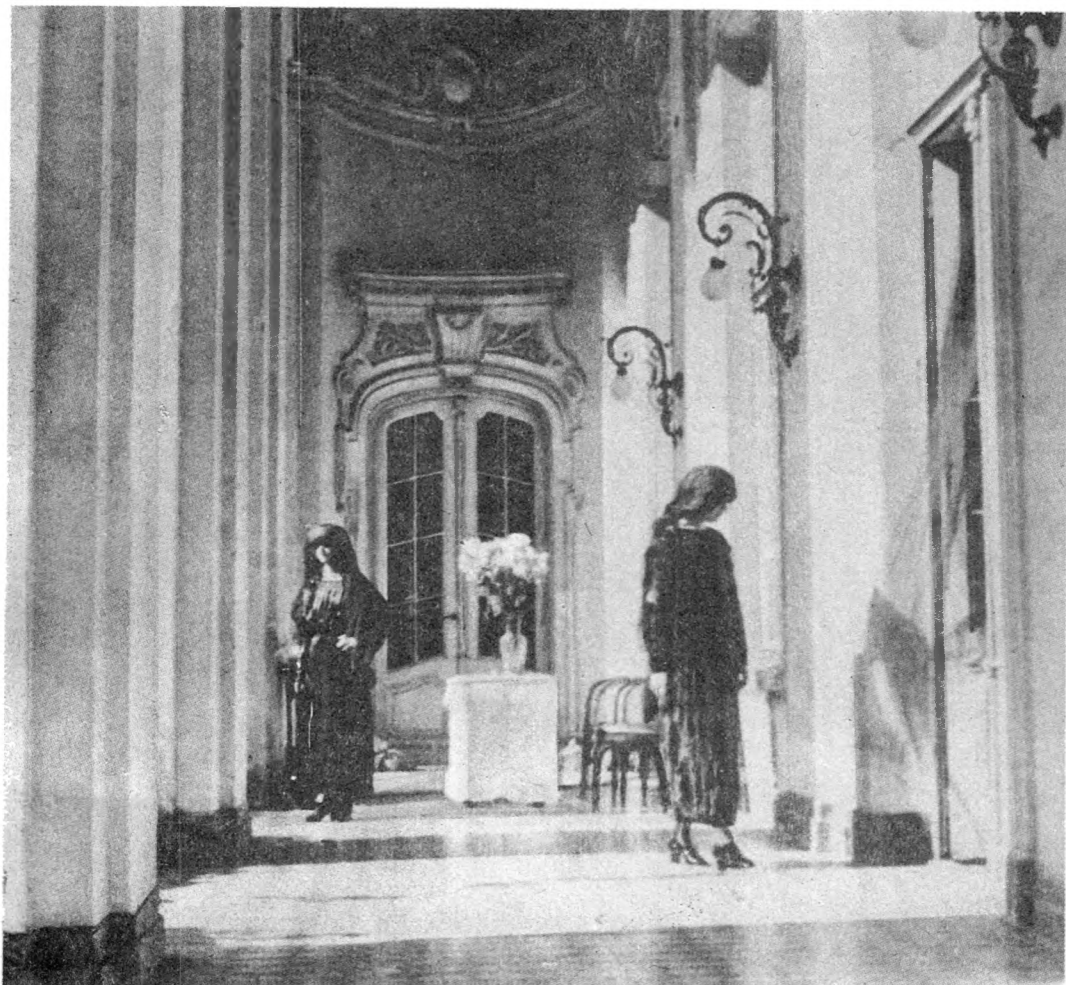
На рубеже двух столетий, когда техническому прогрессу и развитию капитализма сопутствовали рост социальных противоречий и понимание массами необходимости социальных перемен, родился кинематограф. Давно назревала потребность в новом массовом искусстве — искусстве демократичном, художественные средства которого были бы доступны народу. И это искусство, как обращающееся к миллиону, должно было явиться в качестве абсолютно нового, революционно противостоящего утонченным формам старших, обособленно живущих искусств.

Таким явлением стал кинематограф. Война и революция ускорили процесс распространения кино в массах. При других исторических условиях кино, вероятно, пришлось бы выдержать гораздо более длительную и сложную борьбу.

Люди, которые начинали русский кинематограф, не имели в руках ничего, кро-

ме самого аппарата и страстного желания создать новое искусство, которое обращалось бы к самым широким слоям населения. Однако это желание сталкивалось с непреодолимыми трудностями. С одной стороны неопытность наших героев, а с другой — зависимость от капитала, который был почвой, климатом, обстановкой. Кинематографисты оказались в полной кабале у кинофабрикантов, а последние нещадно эксплуатировали талант. Эта зависимость вырастала в трагедию художника, ищущего, но не находящего пути к преодолению власти тех людей, от прихоти которых зависела судьба любимого им искусства.

Еще в начале века, в самые годы зарождения кинематографа В. И. Ленин высказал мысль, «что до тех пор, пока кино находится в руках пошлых спекулянтов, оно приносит больше зла, чем пользы, нередко развращая массы отвратительным



содержанием пьес». Вместе с тем, Ленин выразил уверенность, что «когда кино перейдет в руки деятелей настоящей социалистической культуры, оно станет одним из могущественных средств просвещения масс».

Именно об этом времени и должен рассказывать наш фильм. О времени, когда в результате революции кино освободилось от торгашества, наживы и перешло в руки народа. Фильм должен показать события, которые обозначили подлинное рождение кинематографа, ибо он стал служить идеям гуманизма и социализма.

В России многотысячный зритель выбрал В. Холодную. Отчего же эта простая русская женщина стала нужной своему времени? Удивительная судьба выпала этой актрисе, и еще удивительнее то место, ко-

торое заняла в истории русского кино первая звезда экрана. Очень короткий период ее деятельности в кино до революции, да и вся ее короткая жизнь, отданная служению новому искусству, были обозначены теми же трудностями, которые испытывали пионеры русского кинематографа.

Революция застала актрису на юге, где проводилась в то время съемки очередного фильма. Холодная стремилась в Москву, но, связанная контрактом, вынуждена была остаться на занятом белыми юге с матерью, сестрой и двумя маленькими дочерьми.

Представляя для предпринимателя чисто коммерческий интерес, актриса была вынуждена выступать в одном и том же образе из фильма в фильм. Легко себе представить, как трагически оборачивался такой успех для актрисы, сознающей, как оторва-



ны от действительности упадочнические фильмы, в которых она снималась.

А действительность была наполнена поражающими разум событиями. Страна содрогалась от жесточайшей борьбы с контрреволюцией и интервенцией. Юг России был оплотом белой гвардии. В Одессе хозяйничали интервенты. Большевики были вынуждены уйти в подполье, но борьбы не прекращали.

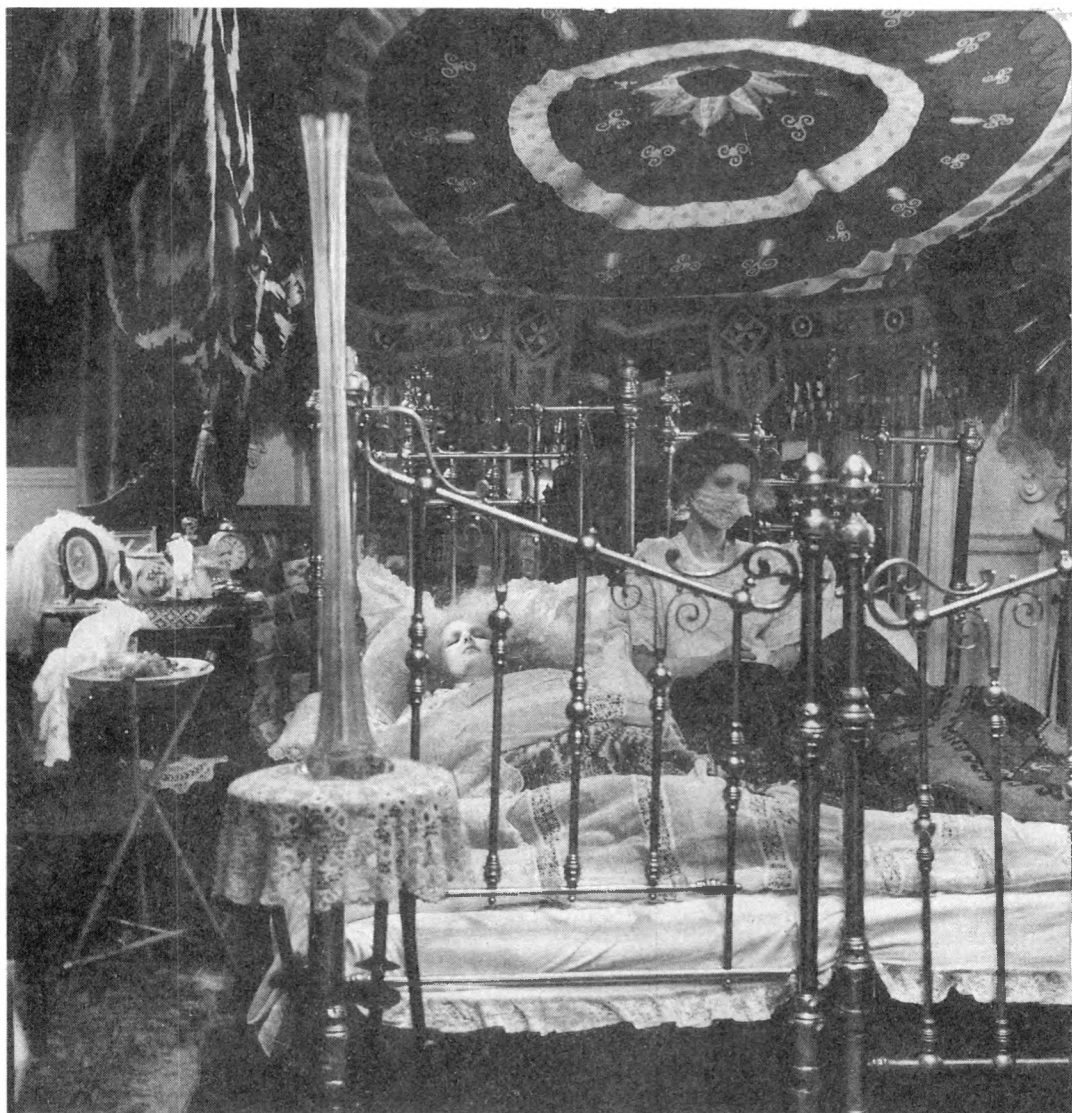
В кино тоже шла борьба — художники пытались вырвать кино из рук торгашей, стремились быть причастными к самым актуальным политическим событиям.

Действие фильма должно разворачиваться именно в этот период. Тревожное вре-

мя наступило в Одессе. Деникинская контрразведка беспощадно подавляла растущее сопротивление подполья. Рабочие голодали. Предчувствуя близкий конец, буржуазия покидала Россию.

Кинофабрикант торопился доснять фильм и вывезти все кинопроизводство за границу. Холодная была в смятении — для того, чтобы разорвать контракт, которым она была связана, необходимо было выплатить огромную неустойку. Денег не было. Деньги были потрачены. Ситуация складывалась безнадежная и безвыходная, если бы не неожиданная встреча.

Однажды ночью в квартиру героини постучались. На пороге стоял раненый че-



ловек, его преследовали. Лицо было знакомо — вот уже две недели были развешаны фотографии большевика, разыскиваемого белыми. Женщины, не задумываясь, укрыли подпольщика. Почти неделю раненый большевик скрывался у актрисы. За это время обитатели квартиры успели подружиться с Семеном Тищенко, так звали героя. Подпольщик рассказывал им свою беспокойную, отчаянную жизнь, актриса жаловалась на свои беды.

Тищенко успокаивал Холодную, говорил о скором освобождении Одессы. Раненый выздоравливал и собирался уже покинуть дом, когда неожиданный приход кинофабриканта едва не испортил все дело.

Семен, прятавшийся в соседней комнате, стал невольным свидетелем грубой, оскорбительной для Холодной сцены. В самый кульминационный момент скандала Семен не выдержал и ко всеобщему ликованию выставил растерявшегося и напуганного кинофабриканта за дверь.

СЮЖЕТ ФИЛЬМА РУСТАМА ХАМДАМОВА «НЕЧАЯННЫЕ РАДОСТИ»

В пересказе, составленном
по воспоминаниям участников съемок

В фильме, который снимал Хамдамов, действие происходило в Крыму.

...События Гражданской войны прервали работу съемочной группы из Москвы над немой фильмой «Раба любви» с участием знаменитой русской кинозвезды, прообразом которой была Вера Васильевна Холодная. (Роль играла Елена Соловей.)

Участникам съемок нечего делать, и они слоняются по двору кинофабрики, переодеваясь иногда от скуки в костюмы различных эпох, взятых в богатой костюмерной. Известный московский режиссер по имени Осип Юрьевич Прокудин-Горский не так беспечен. Он глубоко потрясен российской катастрофой. Это человек нервный, утонченный, знаток и коллекционер ковров, обуяемый мистическими порывами и увлеченный суфийской премудростью об орнаментах и философией Гурджиева. Может быть, он сам и есть как бы Гурджиев. (Эту роль играл Эммануил Виторган.)

У кинозвезды Веры Николаевны есть двое маленьких детей-близнецов. Детьми в основном занимается очень похожая на Веру Николаевну ее сестра — Надежда. (Ее играла Наталия Лебле.)

Прокудин-Горский ходит по местным крымским татарам, скупая старинные восточные ковры. Он упорно ищет какой-то ковер. Вера и Надежда сопровождают его в поисках. Оказывается, все они увлечены древним поверьем, о котором им поведал старик, занимающийся штопкой и починкой ковров. По этой легенде, существует один особенный ковер, обладающий магической силой. Если на него пролить кровь человека, то в царстве, где это произошло, на сто лет наступают мир и благоденствие.

Прокудин-Горский вознамерился ни больше ни меньше как спасти Россию. Дело в том, что старик сказал им: ковер можно найти. Он, якобы, долгое время принадлежал эмиру Бухары, а сейчас попал в

Крым. Идея режиссера проста и страшна — отнести волшебный ковер на поле боя, расстелить, кого-нибудь на нем убьет, и братоубийственная война тут же прекратится.

Наконец, ковер удается найти и купить у торговки рыбой. (Эту роль, а также еще несколько эпизодических ролей персонажей-знаков судьбы, играла Татьяна Самойлова.)

В эпизоде на загородном шоссе режиссеру стоит больших усилий убедить Веру Николаевну продолжать участие в его предприятии. Актриса сомневается в истинности поверья. Но все же она отправляется к белому генералу Гришину-Алмазову за поддержкой.

На поле боя на ковре погибает сам Прокудин-Горский. Ковер, мокрый от человеческой крови, не оказывает никакого воздействия на ход событий. Война продолжается. Может быть, режиссер нашел очень странный и сложный способ покончить с собой, а может быть, он действительно верил.

На похоронах между сестрами произошла бурная сцена, полная взаимных упреков. Потрясенная пережитым, Вера Николаевна впадает в нервную лихорадку, справиться с которой у нее уже нет сил. Она в одночасье тоже умирает.

Надежда Николаевна разрезает ковер на два куска и зарывает их в две свежие могилы. Пусть этот злополучный ковер хотя бы там принесет им какой-то покой.

Перед Надеждой Николаевной встает необходимость самостоятельно решить, что делать с двумя девочками, оставшимися у нее на руках. Война уже накатила на город. Белая армия спешно эвакуируется на судах. Плыть с ними или оставаться в России? Надежда Николаевна принимает решение и садится в поезд, идущий в Москву.

Поезд идет по побережью мимо их



кинофабрики. Надежда Николаевна и дети смотрят в окно. Студия пуста и разгромлена. Вдруг они видят странную женщину, которая пробралась туда и наряжает-

ся в костюм Дианы-лучницы (опять Татьяна Самойлова). Женщина взбирается на скалу и пускает стрелу прямо в сторону солнца.

Поиск материалов, связанных с фильмом Рустама Хамдамова «Нечаянные радости», продолжается. Участников событий и всех лиц, у которых сохранились фотографии, киноматериалы, тексты и рисунки, а также интересные воспоминания, просим сообщить об этом в редакцию журнала «Кино-сценарии» (тел. 2991178) или в Музей кино (тел. 2559304, 2559097, 2559098).

РУСТАМ ХАМДАМОВ

НЕЧАЯННЫЕ РАДОСТИ

Сохранившиеся фрагменты
черновиков и рабочих фонограмм

Поверье кто-то выдумал.

Он мог напелсти это, мог — не это.

Но он выдумал это, и то, что он выдумал, нас привлекло.

Дальше мы думаем.

Это мы сами захотели и увлеклись.

Значит тот, кто это выдумал, захотел, чтобы мы поверили и увлеклись.

Значит тот, кто это выдумал, выдумал все, что с нами будет...

**Рассказ режиссера
Осипа Юрьевича Прокудина-Горского
(фонограмма)**

— Девушка пришла домой. Вынула верхний ключ, открыть дверь.

Она всегда закрывала на верхний ключ. Но в этот раз она закрыла на нижний. И вспомнила, что она закрыла на нижний. И тогда ей в голову пришла тончайшая мысль.

Может быть, она застала врасплох того, кто...

Тот кто..., думая, что она не спохватится, думая, что она откроет верхним ключом дверь, сделал так, чтобы эта дверь была закрыта на верхний ключ.

Но тогда она, открыв верхним ключом дверь, могла вдруг вспомнить, что она закрывала на нижний.

И тогда тот кто..., мог бы обнаружиться.

И было бы ясно, что он есть и что он действует!

Это была бы явная ошибка.

Но он бы явной не допустил.

Разговор на лестнице (фонограмма)

Вера Николаевна — То ковер, а то — гобелен.

Надежда Николаевна — Гобелен — картина!

В. Н. — Можно и картину смотреть как узор. Не разбирать, что на ней. Только

расцветка, зубцы да полоски. Эта полоска туда, а эта — туда.

Н. Н. — Но эта полоска туда, а эта туда — не для узора! А для того, чтобы показать что-то, чью-то морду! А на ковре полоски подобраны к полоске. Даже если кажется, что это баран или лебедь, то это так, потому что у самого лебедя и барана крыло подобрано к крылу, рог к рогу, все по паре. Потому что он сам — Природы узор.

В. Н. — Так значит, вся наша жизнь, поступки и случаи — тоже узор?

Н. Н. — Нет, не узор. Узор на оси — а от нее в разные стороны может быть похоже. А жизнь — встречи, потери, новая любовь — не выходит никакого узора. Нет! Просто очень хитрый узор! Не видно центра оси.

В. Н. — А где она?

Н. Н. — Со звезд видно!

В. Н. — Где она?!

Н. Н. — Только со звезд!

В. Н. — Потому по звездам и гадают.

Разговор на шоссе (фонограмма)

Вера Николаевна: — Мы в Вас поверили.
Осип Юрьевич: — Вот, горячо, горячо! Вы же знакомы с генералом Гришиным-Алмазовым. Тут Москве я помню, он был влюблен в Вас. Вы попросите его.

В. Н. — Кого? Старик что-то напел о ковре.

О. Ю. — Генерала. Гришина-Алмазова. Он был влюблен в Вас.



Он не откажет. Не откажет.

Но Вы же прекрасно выглядите. Всем Вы известны. Ваши портреты развешаны по всему городу.

В. Н.— Нет. Я не понимаю Вас.

О. Ю.— Но сделайте, сделайте ради нас.

В последний раз, ну что Вам стоит.

В. Н.— Нет.

О. Ю.— Сделайте.

В последний раз. В последний, пожалуйста.

В последний.

Вернись.

Ты же веришь мне!

В. Н.— Я не верю в поверье!

О. Ю.— Веришь!

В. Н.— Не верю!

О. Ю.— Веришь, стой!

В. Н.— Не буду!

Фрагмент черновика

Зовут Осип Юрьевич.

Очень тучный, большой. Похож на Яна Вериха.

Когда сидит с сестрами, держит их на коленях как маленьких.

Когда дует ветер, прячет их всех под пальто. Вера Николаевна хрупка и бела.

Волосы как терновый венок вокруг головы. Лицо будто заплаканное и умытое слезами. Фигура вялая.

Сестра одного с нею роста.

Точно такая же.

Всегда вместе. Одинаково одеты.

Одна другой голову на плечо в лунку возле шеи кладет. На полшага отойдет и наклонит голову на плечо другой.

Взаимозаменяемо это все.

Вера Николаевна пошла к офицерам (белые). Говорила с ними. Очень торопилась.

Все спрашивала про события военные. Когда да где?

Ходила с генералом в окопы. Смотрела в трубу, все интересовалась.

Сидели в беседке. Торопилась. Согласилась вино пить. Только очень мало.

Когда сидели под круглым навесом и пили вино, пришли солдаты, встали вокруг и смотрели на нее.



Рисунок Рустама Хамдамова (1972 г.)



Офицеры провожали Веру Николаевну на машине. Много других на лошадях ехали следом.

Вера Николаевна пришла домой поздно. Все сидели и ждали ее, как заговорщики. Обрадовались, что пришла все-таки скоро. Разочаровались, что ничего точно не знает. Она их все успокаивала и сказала, что решится все, по-видимому, завтра бой, и быть им там нужно обязательно с утра.

Втроем они несли ковер, потом везли, потом опять несли.

Попали в окопы. Разговаривали с солдатами. Солдаты удивлялись сначала, затем сказали, помогут.

Сами отнесли ковер в степь. Закрыли его. Надежда Николаевна побежала вслед, засыпала ковер песком и вела себя претважно.

Сидели и ждали.

Наши из окопа наблюдали, в бинокли смотрели. Осип Юрьевич досадовал, что неудачно постелили, и сам вызвался дело поправить.

Вера Николаевна нервничала, суежилась и сказала, что не позволит такому боль-



шому (в смысле огромному) человеку бегать по полю битвы.

— Пристрелят Вас очень скоро,— и еще добавила,— удобная мишень Вы очень.

И пока пальцы ломали и кричали солдатам, чтоб ковер перетащили, Осип Юрьевич выскочил все-таки и быстро и удобно добежал и указания успел дать важные солдатам. Вернулся успешно. Офицер один очень сердился.

(Пальба всякая и бег быстрый лошадей). Все кричали в окопе и думали, что от крика больше лошадей соберут в одном, им нужном месте.

Солдат один упал с лошади.

— Его другие затопчут,— думали в окопе. А он вылез и ковер пододвинул. Но тут вовсе свалился.

— Убили его! — вскрикнула Надежда Николаевна.

Но ничего нельзя было разглядеть. Дым был. Шум. Взорвалось что-то рядом.

В окопе солдаты дали команду лечь. Встали все в пыли и в поту. Увидели, как Осип Юрьевич уже бежал к коврику, стащил убитого.

Схватил ковер и тянул его по пыли.

Недостреленная лошадь брыкалась.

Так он и через нее тянул ковер и бежал потом.



Его догнали с атакой следующие солдаты и перегнали.

Затем всадники.

Дым поднялся, шум. Взрыв. В окопе кричали, и сестер потащили вниз. Они вырывались.

Осип Юрьевич все бежал.

Упал.

Не встал.

Вера Николаевна и Надежда Николаевна выскочили и побежали вслед за ним в дым.

Затем солдаты выскочили, одного убило, другого.

Добежали поздно.

Сестры плакали и тянули тело очень тяжелое вместе с ковром.

(Пальбы всякой минуты на полторы).

Разговор на поминках (фонограмма)

Вера Николаевна — Пусть выветрится из памяти пропавший человек. Как умер в жизни. Хорошо, что он и вправду умер в жизни и не переменялся к нам. Хорошо, что и в жизни не прирастал ни к кому.

Надежда Николаевна: — К тебе.

В. Н. — Хорошо, что успел написать, что ничего не было. Как будто мы нарочно все пережили.

Н. Н. — И убили!
Убили!

Титры для фильма

ЦАРЬ — ЦАРИЦА
ЛЕБЕДЬ — ПТИЦА
РОЗА — ЦВЕТОК
РОССИЯ — ОТЕЧЕСТВО
СМЕРТЬ — НЕИЗБЕЖНА

О фильме

...Говорят, Россия пала навеки — нужно быть свободным, чтобы помнить всегда об этом и не превратиться в «нового человека». И если нет ничего впереди, то можно смотреть назад и любоваться останками божественной красоты.
1972—1974 гг.

Публикация В. Литвинова
Фотографии Александра Самойлова



РУСТАМ ИБРАГИМБЕКОВ

НИКИТА МИХАЛКОВ

СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК

Звучит ария Фигаро. Колонна замерзших арестантов шла меж сугробов в заснеженном поле, пробивая себе дорогу.

Поле переходило в лес, колонна входила в него и вскоре скрылась в нем, поглощенная безбрежной, до горизонта, казалась, до края земли, сибирской тайгой...

Ария Фигаро постепенно стихает, и возникает текст письма, которое пишет мать сыну через 20 лет.

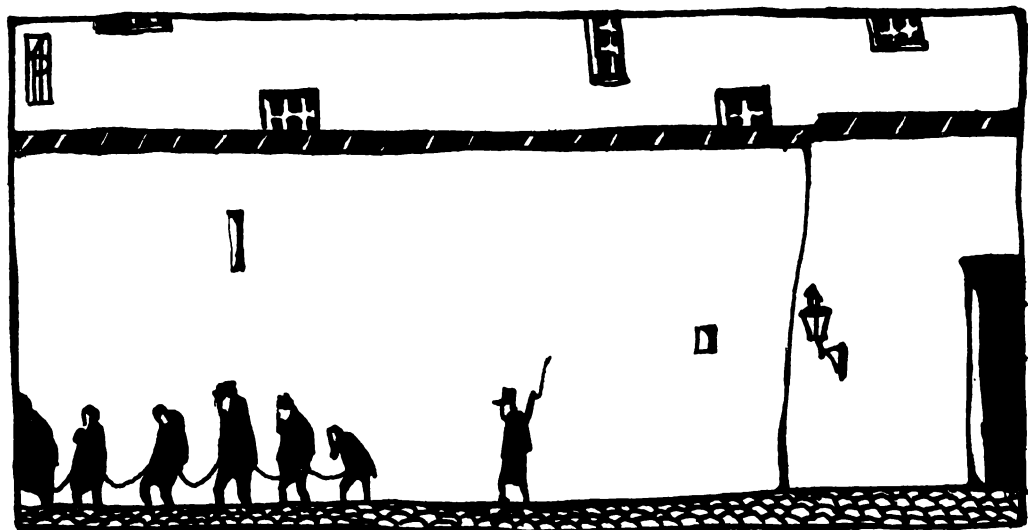
Голос Джейн. ...Джейн понимала, чувствовала, что дело Андрея кто-то торопит, подгоняет, как бы желая поскорее от него избавиться... И она знала, кому это было нужно. Но она не могла себе представить, что Военный трибунал секретным заседанием экстренно примет решение и осудит Андрея, торопясь отправить его с ближайшей партией арестантов... На суде Андрей так же не проронил ни слова, тем самым признав свою вину по всем предъявленным обвинениям. Потрясенная известием о неожиданной отправке Андрея в Сибирь, Джейн пыталась догнать его в

пути, чтобы хотя бы попрощаться с ним... но ей было отказано в подорожной — документе, необходимом для передвижения по России.

От всего этого с Джейн случилась нервная лихорадка — почти месяц она пролежала в постели, и врачи всерьез опасались за ее рассудок.

Мать Андрея, до последнего момента не верившая, что все случившееся с ее сыном — реальность, наконец, предприняла отчаянную попытку изменить участь сына. Ей удалось добиться аудиенции у Великого князя. И через полтора года после суда Андрею сократили срок наказания до пяти лет каторги и трех лет поселения...

Все дни болезни, да и позже, Джейн не оставляло чувство вины в случившемся с Андреем. Но вскоре обстоятельства ее жизни сложились таким образом, что ей пришлось выйти замуж и уехать из России... Джейн ждала ребенка, и ожидание ребенка, о котором она и мечтать не могла, и страх его потерять, после того что она пережила, заняли все ее мысли, чувства, силы, все ее существо... У нее случились преждевременные роды, но, к счастью, все обошлось хорошо — мальчик родился здоровым и очень похожим на отца...



Бесконечные просторы тайги и Сибири сменяются фотографиями Джейн, ее ребенка, ее семьи...

Вот она у колыбели... Вот Джейн играет с крошкой сыном на берегу моря. Она и ее муж на фоне какого-то дома посреди тщательно ухоженного сада. Муж с сыном на руках.

Муж и отец — это инженер Роберто Стораро. Она, какие-то люди на террасе летом за завтраком. Рядом с ней ее сын в детском матросском костюмчике.

Ее сын вместе с другими мальчиками и девочками его возраста около двух пони в каком-то парке. Мальчик с отцом в его кабинете. Стол отца завален чертежами, на стене висит большая карта.

Джейн, Роберто и сын делают какую-то дурацкую «пирамиду». Все хохочут от удовольствия.

Большая группа инженеров и рабочих перед какой-то недостроенной машиной. В центре — инженер, Джейн и их сын. На этих фотографиях мы слышим текст письма.

Голос Джейн. ...Роберто по-прежнему занимался своей машиной... Первый образец ее был не совсем удачным, потребовал доработок, и только спустя 9 лет машина была готова к испытаниям... По договоренности с русским правительством, было решено провести их в Иркутской губернии, около знаменитого озера Байкал...

Небольшая сибирская деревенька с довольно кривой улицей, устремленной вверх к сопке. Дошатый тротуар вдоль домов. То тут, то там на нее наступают заборы, углы хозяйских построек, крепких, простор-

ных сибирских домов. И то тут, то там видны натянутые вдоль домов и построек веревки, как бы выравнивающие улицу по прямой. В центре улицы — острок, он за натянутой веревкой. Это деревянное здание с надписью — «ТЮРЬМА».

Вдоль улицы скачет всадник: на нем короткий выворотный зипун, казачьи шаровары с лампасами, на голове папаха. Через плечо перекинута длинное охотничье ружье с сошками и котомка. Спереди приторочена к седлу туша небольшой косули. Позади всадника, обхватив его руками, сидит совершенно черный человек. Это тот самый эфиопский принц, о пропаже которого сообщали газеты. Он в арестантской одежде, со стертым желтым тузом на спине и босой.

То к одному, то к другому углу улицы подскакивает всадник, в бессильной ярости нахлестывающий плетью торчащие за натянутой веревкой углы.

Максимыч. Ну, зверье таежное!.. Морды кандалные!.. Я же сто раз наказывал: не послушали меня, твари рвотные!.. Ну, глядите! Ужо проучу...

Из одного из домов выглянула баба с детишками.

Баба. Ой, Максимыч вернулся!.. (Увидев косулю.) С «полем» тебя!.. Ты чего шумишь тут, народ пужаешь, Максимыч?! **Максимыч.** Где все?..

Баба. Да, чай, сам не знаешь?.. Об эту пору-то?! У кого какой урок и в поле, и в остроге, и в руднике...

Максимыч, тесня ее горячей лошадей, перебивает яростно.

Максимыч. Я что наказывал?! А?! А вы?! К вам машину заморскую везут!.. Сами, их светлость, губернатор будут!.. А вы?!

Из-за сарая высунулся старик.

Старик. Так мы, Максимыч, насчет того... это... что же рушить, что ли?..

Максимыч (в бешенстве). Так объяснял же!.. Миром просил!.. Вон, целую версту бечевы извели!..

Он ткнул плетью в натянутую вдоль домов веревку.

Старик (рассудительно). А в огляд?.. Околицей нешто ее не протянуть?..

Максимыч, тыкая плетью в разные стороны, продолжал кричать.

Максимыч. Да какой околицей, чучело ты рязанское!.. Там болото, там чапыга непролазная!.. Дорога насланная нужна, я ж объяснял вам, окаянные. А они уж тут завтра будут!.. Машину везут, морды кандалыные!.. С меня шкуру сдерут!.. Ну, ин ладно!.. Как хотите теперича!

И он, подняв на дыбы коня, пустил его во весь опор по кривой, пыльной под сибирским жарким солнцем, улице. Сзади, обхватив Максимыча руками, телепался эфиоп...

На полатах в одном из закутков просторного сибирского дома мертвым сном спит какой-то могучий мужик. Спит он одетым, на одном старом тюфяке, на полу стоят стяннутые сапоги. С улицы слышны голоса, шум, лай собак. Еще какой-то странный звук примешивается к остальным шумам с улицы. С потолка начинает что-то сыпаться мужику на лицо. Он морщится, протерев рукой по лицу, но не просыпается. Потом снова... Мужик облизнул губы, чихнул и, медленно открыв глаза, устоялся на потолок.

Прямо над ним ритмично работала пила, распиливая потолок и часть стены. Из-под ее зубьев прямо в лицо ему сыпались мелкие опилки. Мужик некоторое время лежал с открытыми глазами, пытаясь понять, где он и что с ним происходит. Потом, видимо, решив, что все это ему все-таки снится, поворачивается на бок и снова мгновенно засыпает.

Вдоль всей улицы горели факелы и костры. Носятся люди, кричат. Арестанты из острога, охраняемые солдатами, сидели по двое-трое на крышах, заборах и пилами и топорами спрямляли улицу. Другая часть их тут же складывала отпиленные части у домов. Максимыч на коне носится по улице, отдавая команды. Валится часть крепкого сибирского оплота (забора), воют бабы, кричат дети, мужики пытаются сопротивляться, но тщетно. Точно по натянутым

веревкам идет выпрямление улицы: все, что по одну ее сторону, безжалостно уничтожается.

Максимыч с факелом в руке, с безумным взглядом сверкающих глаз, несется к одному из домов.

Максимыч (кричит). А вы как думали?.. Губернатор с вами в шутки шутить будет?! Только силу и понимаете!..

Мужик на полатах проснулся вторично от грохота и, ничего не понимая, устоялся в угол, где вместо стены зияла дыра, а за ней была улица с мечущимися по ней с огнем людьми. Мужик тяжело поднялся, подошел к образовавшейся дыре, стал на ее пороге, оглядел мрачным взглядом улицу и начал мочиться.

Через мгновение мимо него по двору потащила упирающуюся, ревушую корову молодая баба — его жена. Вглядевшись в нее, повзрослевшую и раздобревшую, мы узнаем Дуняшу — служанку в доме Толстого. **Дуняша** (укоризненно). Ну, что же ты делаешь-то, Константин! На двор дойти трудно... нагулялся...

Константин, продолжая делать свое дело, с недоумением оглядывался по сторонам, пытаясь понять, где он и что происходит. **Дуняша.** Что смотришь?.. Это еще что... уголлок того... А у Михеевых, смех один... так у них поддома отхватили... с печкой...

Она крикнула куда-то в темноту.

Дуняша. Алексейч, подай-ка мне ботало!..

Константин, не дослушав историю с домом Михеевых, вернулся к полатам и снова рухнул на них. В проеме стены мелькнула чья-то фигура с позванивающим боталом (колокольцем) в руке.

Вдоль ставшей за ночь прямой широкой улицы стояли жители деревни: поселенцы, крестьяне-старики, бабы, молодые парни и девки, дети. Тут же были сложены бревна и доски от сломанных заборов, сараев, стен. Кое у кого в горницу или хлев можно было зайти прямо с улицы. Жаркий сухой ветер шевелил листву на дереве у крыльца дома коменданта острога. На самом остроге рядом с вывеской «ТЮРЬМА» появился по-английски написанный транспарант: «Добро пожаловать в Сибирь!»

Сквозь окошки камер острога то тут, то там торчат головы арестантов, глядящих на улицу. Чуть в стороне на пригорке видна небольшая уютная деревянная церковь с чешуйчатым куполом и аккуратной колоколенкой рядом. Люди смотрят куда-то вдаль, тихо переговариваясь. Все

замерло в сонном ожидании: дорога к деревне, острог, церковка, распиленная улица...

В маленькой каморке, в которой разместились острожная цирюльня, трое: есаул Максимыч, маленький Ванятка, пытающийся читать по складам в тонкой, затрепанной книжке, и Андрей Толстой. Он довольно сильно изменился, как бы усох, волосы поредели, лицо обрамляет редкая русая борода, плохо скрывающая несколько старых, давно заживших шрамов. Максимыч густо намылен, отчего глаза его, тревожно-вытаращенные, кажутся еще больше. Андрей выправляет лезвие на станке.

Максимыч. Вот, люди!.. Теперь вона: кишками все наружу!.. Сделали бы, когда просил, все прикрасить можно было в аккурат, подкрасить...

Он вдруг обеспокоенно скосил глаза к окну, где краем была видна английская надпись над острогом.

Максимыч. А может, зря мы с тобой на иноземном написали?! Ты это точно знаешь, как оно пишется?..

Толстой (пробуя на руке бритву). Точно, ваше благородие... Можете взглянуть...

Он показал на окошко. И тут же спросил у Ванятки:

— Ну... что замолчал... складывай буквы-то...

Максимыч меж тем тяжело поднялся с табурета, выглянул в оконце, глянул на транспарант.

Ванятка (по складам). Люди, он — ло, веда, есть, и крепкое — вей... Соловей.

Он поднял от книжки недоуменный, вопрошительный взгляд на Толстого.

Ванятка. Соловей... что такое?..

Толстой. Птица такая...

Мальчик кивнул, а Максимыч у окна что-то шептал сам себе. По двору быстро прошел маленький эффиоп, таща на спине забитую косылу.

Максимыч. Цены ему... на охоте нет — кулебяке! Легкий, черный — в засидке невидимый... А босиком бежит?! И не услышишь!..

Он вернулся к табурету, глянул на Ванятку, старательно складывающего буквы.

Максимыч. Так что же там начертано?..

Толстой. Что просили: «Добро пожаловать в Сибирь!»

Максимыч. Сибирь?.. Зачем Сибирь?! Может, лучше бы: в Иркутскую губернию, а?! Губернатор же будет... губернаторша.

Он задумался и с печалью в голосе продолжал.

Максимыч. И чего они нас-то выбрали?! Жили себе... лес, говорят, хороший, чтобы машину показывать заморскую...

Толстой меж тем ловко водил выправленным лезвием по загорелым щекам Максимыча. Ванятка медленно гнусил.

Ванятка. Слово, иже — си, добро, ять, люди — дел... си — дел...

И тут за окном слышались истошные мальчишеские голоса.

Голоса мальчишек. Едут!.. Едут!..

Максимыч всполошенно выпучил глаза, Андрей сделал последнее движение и вытер влажным рушником лицо есаула, а Ванятка захлопнул книжку.

Толстой. Готово, ваше благородие!..

Из-за косогора, с которого дорога спускалась к деревне, показалось облако пыли. Затем стали появляться натруженные, с мокрыми боками, лошади, впряженные специально сделанной упряжью в салазки. На них покоилось громадное сооружение, закрытое рогожными чехлами и стянутое веревками. Сбоку и сзади помогали толкать салазки с машиной буряты, сзади шли верховые казаки, а затем уж и весь обоз: телеги, тарантасы, кибитки. На них были нагружены палатки, шатры, припасы продовольствия — все что было нужно для предстоящего пикника.

Мальчишки, крича, бросились навстречу процессии. Максимыч, уже в седле, руками и глоткой показывал, по какой улице ехать процессии, и что-то кричал.

Машина почти впритирку втиснулась в улицу, задевая местами стены, давя полозьями гнилые тротуарные доски. Буряты, толкавшие ее, были потные и красные от натуги, что-то кричали на своем языке.

Местные жители, арстанты в остроге озадаченно смотрели на огромную машину, на покрытые рогожей, выпирающие во все стороны ее части.

Машина на салазках доползла до конца улицы. Далее начинался довольно крутой подъем наверх, где виднелся край тайги. У этого-то таежного края, на сопке, и надо было установить для демонстрации машину. Тяжело дышали взмокшие лошади, буряты пытались удержать накрепившиеся вдруг вбок салазки — но все было тщетно. Процессия застряла на склоне сопки. Все ахнули... Но Максимыч громко выкрикнул команду, промчавшись по деревне до острога. А еще через какое-то мгновение вся деревня бросилась толкать

и поддерживать машину. Упираясь в искорверканную салазками землю, спешившиеся казаки, мужики и бабы, арестанты, парни с девками толкали салазки вверх на сопку. С огромным трудом ее втащили туда, почти вся деревня была там. А внизу, у подножья, на широкой поляне уже разгружался прибывший обоз: раскладывались палатки, ставились походные кухни.

Спустившиеся с сопки люди увидели офицера на лошади. Он командовал этим обозом и крикнул им:

— Спасибо за службу, братцы!..

Но ему почти никто не ответил, а лишь смотрели, словно ожидая чего-то от него.

Офицер повторил приветствие, но энтузиазма в ответе вновь не было. Только переминались с ноги на ногу. Максимыч подъехал к офицеру, что-то шепнул ему. Офицер теперь понял.

Офицер. Спиртовую всем!..

И все, кто тут был, дружно грохнули приветствие.

Уже натянуты были первые шатры, раскладывались столы и стулья, то там, то здесь уже прогуливались гости: офицеры, чиновники, дамы... От обоза покатали две большие бочки. Арестантов выстроили отдельно, солдат и жителей отдельно.

Выходили по одному, крестились, принимая из рук чарку, опрокидывали ее крикнув, опять крестились и возвращались в строй, громко поблагодарив за спиртовую. У бочки рядом с Максимычем и офицером стояли еще двое военных. От строя отделился и пошел к бочке маленький эфиоп. Офицер удивленно уставился на черного каторжника.

Офицер. А это что же такое?..

Максимыч, стоящий рядом, объяснил. **Максимыч.** А кто ж его знает? Подменный, верно... Но по бумаге: Коля Кулебякин — вор тамбовский... лет пять уже, как с этапом пришел...

Максимыч подошел к разливающему вахмистру.

Максимыч. Ему не наливай! Он тут с полчарки такого начудил... Еле откачали! Он сахар очень любит...

Максимыч вынул из кармана казачьих шаровар кусок сахара, обдул его от табачного крошева, протянул эфиопу. Тот взял сахар, широко улыбнулся и громко, радостно выкрикнул.

Эфиоп. Куля Кулебякин!.. Бусурман сраный!..

Повернулся и пошел к строю.

Офицер. Что это?..

Максимыч. Да варнаки научили, шутя...

он же по-нашему не понимает... думает, хорошее что говорит, себя называет...

Довольный эфиоп уже вернулся в строй. **Максимыч** (глядя на него). А на охоте-то ему прямо цены нету... Зверь!.. А так тихий!..

К офицерам подошел инженер Стораро, остановился радостно-возбужденный, оглядываясь по сторонам. Был он в специальном для испытания машины костюме: шлем с очками, высокие краги, шнурованные ботинки на толстой подошве...

Андрей Толстой подошел к разливающему вахмистру. Взял чарку, перекрестился и живо опрокинул ее. И вдруг застыл, глядя через плечо вахмистра.

Максимыч. Ну, чего стойшь?! Более не дадут!..

И пояснил командиру обоза:

Максимыч. Цирюльник наш...

Из строя арестантов послышался ропот.

Голос арестанта. Чего застыл, цирюльня?..

Инженер Стораро, тихо переговаривающийся с переводчиком и военным, услышав крики и почувствовав на себе взгляд Толстого, обернулся.

Толстой (растерянно улыбаясь, по-английски). Здравствуйте!..

Роберто в недоумении посмотрел, к кому обращены эти слова, понял, что к нему. Он прищурился, пытаясь вспомнить этого человека. В строю арестантов вновь нетерпеливо крикнули.

Максимыч. Ты что, Алексич... ступай на место!..

Толстой повернулся и пошел в строй. И тут, когда он повернулся к инженеру в профиль, Роберто вспомнил этого человека. Он хлопнул себя по лбу и пошел к нему.

Роберто (по-английски). Э-э... Постойте, как вас...

Он сделал несколько быстрых шагов. Андрей остановился. Они оказались между строем и группой офицеров.

Роберто. Это вы?!

Толстой (по-английски). Я, сэр...

Роберто. Простите... но я... забыл...

Толстой. Толстой!..

Роберто. А, да!.. Точно: Толстой!..

Толстой. Андрей...

Роберто. Да... да, Эндрю... Как я рад... видеть вас... так вы теперь здесь?

Толстой (с улыбкой). Да.

Роберто. Давно?

Толстой (задумался на секунду). 9 лет уж, кажется...

Роберто радостно похлопал его по плечу.

Роберто. Как я рад... Как я рад... Вы уже увидели мою машину?..

Толстой. Так мы же... ее...

Он показал рукой в сторону сопки.

Роберто. Ах, да!.. Ну, как она вам?

Толстой. Тяжелая...

Роберто. Сегодня вы увидите это чудо!.. Счастливчик! Ждем только губернатора...

Инженер обернулся, заметил, что на них обращают внимание.

Роберто. Давайте отойдем... Вам можно?.. Может, я спрошу разрешения?..

Толстой. Можно... Я уж год как на воле...

Они пошли вместе по направлению к сопке.

Роберто. Да!.. 9 лет, 9 лет!.. Как время бежит... У меня сыну восемь!.. Кстати, он тоже Эндрию!..

Они рассмеялись этому сходству имен.

Роберто. Ну... А вы как тут?.. Дети?.. Женаты?..

Толстой. Нет...

Роберто. Но теперь уже все?.. Можете уехать?..

Толстой. Могу...

Роберто. А!.. Хорошо!

Он взглянул на Толстого, на его впалые щеки, обрамленные редкой русой бородой, и решил подбодрить его.

Роберто. Вы еще молоды!.. Закончите образование, необязательно военное...

Толстой. Да, да... можно...

Роберто. Как ваша мама?.. Я слышал, в Риге, на сцене в «Сиде». Она имела большой успех...

Толстой. Да... она мне писала...

Они поднялись на сопку и подошли к деревьям на опушке. Роберто вошел в лес, примерился, глядя на уходящую вдаль шеренгу таежных деревьев. Лицо его стало жестким, хищным.

Роберто (сам себе). Вот так она и пойдет — краем!.. Идеальное место...

Толстой. А что она делает... ваша машина?..

Роберто (оживляясь). О... это чудо! Вы увидите! Золотое дно!.. Но знаете, чего это чудо мне стоило?.. 12 лет!.. Это была какая-то каторга, а не жизнь...

Он замолчал, вдыхая привольный таежный воздух, шагнул в тайгу, прошел несколько шагов.

Роберто. Господи! Какая тишина! Как у вас здесь хорошо, как тихо: ни звука!

Он лег навзничь на землю.

Толстой (удивленно). Как тихо? Да что вы, послушайте...

Он замолчал, молчал и Роберто, и до них ясно донесся треск веток, шум крыльев пролетевшей птицы, какие-то еще мно-

гочисленные лесные звуки и даже дыхание далекого Байкала.

Роберто. О, как славно лежать в этой траве... И ни о чем не думать... никуда не спешить...

Он замолчал и тут же поднялся с травы.

Роберто. Слушайте... Какая у вас тут дешевая рабочая сила... Без денег, только за вино!..

Толстой. А зачем тут деньги?.. Только на вино... Едим свое, а носим казенное...

Он ударил по кедру, в руку ему упала шишка. Он достал из нее зернышки.

Толстой. Хотите?

Роберто. Нет... нет, скоро обедать...

Они вновь вернулись к краю сопки, посмотрели вниз на раскинутый палаточный городок у подножья деревни. Увидели суету слуг, дымки походных кухонь, накрытые скатертями столы. Увидели, как подъехала к шатру всадница на лошади, со стэкм, боком сидя в дамском седле. Роберто радостно замахал всаднице рукою.

Роберто (кричит ей). О, приехала!.. Зайчонок!.. Зайчонок!!! Мы здесь...

Он снова замахал ей руками, хотел было бежать поскорее вниз, но тут к всаднице подъехал офицер — в белом мундире и сапогах с серебряными шпорами. Они вместе направились к лесу, с противоположной от них стороны. Роберто с откровенной досадой смотрел на офицера. **Роберто** (как бы сам себе). Опять он... такой противный...

Он вспомнил про Андрея, повернулся к нему.

Роберто. Пойду узнаю, как там с обедом... Приходите на испытания, я договорюсь...

И он быстрыми шагами направился вниз, к раскинувшимся шатрам.

Андрей же все смотрел на фигуры двух всадников, въезжавших в тайгу. Он медленно пошел напрямик, через деревья и кусты. Не спуская с них взгляда, он пробирался им навстречу. Ветки хлестали его по лицу. Он, как кошка, перепрыгивал завалы, стволы прогнивших и поросших мхом и лишайником деревьев, прислушивался, вертя головой, и снова, петляя меж деревьев, двигался к ним.

...Всадники, мирно беседуя, выехали на уютную опушку, залитую желтыми пятнами солнца. Офицер, командир оboза, кокетничал, что-то говорил мягким баритоном и бархатно смеялся. Джейн иногда отвечала ему. Лошади их шли бок о бок, нахлестывая себя хвостами от налипших-

ся слепней. Устало-значительно офицер рассказывал Джейн.

Офицер (по-английски). Ежели бы вы знали, как приятно в этой глуши говорить на цивилизованном языке... Вообще-то, мне была уготована иная судьба... Но та история, я вам рассказывал: у меня не было выхода. Я должен был стреляться, но я не жалею...

Они углубились в лес, то исчезая, то вновь возникая меж деревьев. Джейн чему-то улыбалась, а солнечные блики сквозь листву причудливо украшали ее золотистыми вспышками. Она твердо держала поводья рукой в длинной перчатке.

Офицер. Тут хорошая школа... и не надобно полагать, что этот опыт бессмыслен, в Петербурге он тоже может ох как пригодиться... Правда, там нет бурятов и каторжников... (Он коротко рассмеялся.)... хотя и в высшем свете достаточно диких людей...

Он продолжал говорить, не заметив, что спутницы его нет рядом с ним. Лошадь Джейн стояла под раскидистой лиственницей.

Сама Джейн, туго натянув повод в руке, не мигая смотрела в сторону, туда, где в тени кедра стоял Андрей.

Он смотрел на нее, грудь его легко дышала, и чуткая улыбка замерла на лице. Она тихо вскрикнула, пошатнувшись в седле. Офицер обернулся, увидел человека в арестантском зипуне, мгновенно вздыбил лошадь и помчался к Толстому. Офицер крикнул Джейн:

— Не бойтесь!

И громко крикнул Толстому.

Офицер (по-русски). Назад! Стоять!..

Джейн. Нет!..

Но лошадь офицера уже сбила Толстого с ног навзничь.

Джейн спрыгнула с лошади, снова крикнув:

— Нет...

И бросилась к ним. Андрей вскочил навстречу и тут же получил удар кулаком в лицо. Он рухнул в кусты. Джейн, вскрикнув, закрыла лицо руками. Несколько мгновений было тихо, только храп лошади офицера нарушал тишину. Офицер, тяжело дыша, смотрел на поднимающегося в кустах Толстого, готовый вновь ударить его. Андрей, промокая ладонью сочившуюся из носа кровь, медленно поднимался с земли, вытянув вперед другую руку. Он все так же улыбался, объясняя офицеру.

Толстой (по-русски). Не бейте меня больше... не бойтесь, я не беглый!..

Офицер опустил руку с плетью. Джейн отняла ладони от лица.

Джейн. Андрей!..

Толстой, легко и нежно улыбаясь, смотрел на нее.

Офицер (растерянно). Вы что — его знаете?..

Но Джейн не слышала его слов, она лишь снова повторила:

— Андрей...

Офицер. Так вы знакомы?.. Простите, я...

Но Андрей, как бы оправдывая офицера и извиняясь за свое присутствие здесь, перебил его.

Толстой. Нет... нет... Я понимаю — здесь острог...

Он вышел из тени кустов на свет. Офицер, не совсем еще понимая ситуацию, порывшись в карманах, протянул Андрею платок.

Толстой. Благодарю вас...

Он осторожно приложил его к лицу и посмотрел на Джейн. Мягко и тихо он стал пояснять ей.

Толстой. Меня... верно, трудно узнать... Это из-за бороды! Верно, она... я... там следы... после побега... я бегал два раза... Но и потом... следы остались...

Он смотрел на нее с нежностью, а офицер засмеялся, стараясь исправить ситуацию. Так же игриво, своим бархатным баритоном, он, глядя поочередно на них, сказал:

— Да, вы знаете, как-то неловко... ха-ха... у меня как-то был случай... Я еще юнкером был... У нас такая шутка была... на учениях...

Джейн (перебив). Оставьте нас!..

Офицер осекся, но не понял ее.

Офицер. В каком смысле?..

Джейн (нетерпеливо). Там, верно, уже нас хватились, беспокоятся... Скажите, что я скоро буду...

Офицер. Но мне неловко... возвращаться одному... Что я скажу?..

Джейн. Ну, придумайте что-нибудь!..

Офицер со злостью посмотрел на нее, затем на пытающегося унять кровь Андрея.

Офицер. Как я должен понимать вас, Джейн?..

Джейн (резко). Да что вы, ей-богу!.. Понимайте, как хотите!.. Но оставьте нас!..

Офицер обиженно забрался в седло, метнул на них обоих мстительный взгляд, хлестнул лошадь нагайкой.

Они остались вдвоем. Был слышен клекот какой-то таежной птички. У нее в глазах стояли слезы. А он от своей тихой, неуверенной улыбки перешел к смеху — громкому и радостному.

Джейн. Я не верю... что это ты... не

верю!.. Неужели это ты?.. Ущипни! Ударь меня!..

Андрей. Христос Воскресе, помните?..

Она слабо всхлипнула и по-русски ответила ему.

Джейн. Воистину Воскресе!..

Она обняла его, спрятала плачущее лицо на его груди, обхватила руками, посмотрела в его глаза. Они трижды поцеловались, радостно глядя друг на друга. **Джейн** (со смехом). Ты знаешь, что я заужем?

Толстой. Знаю-знаю... Теперь знаю...

Джейн. А знаешь, почему я это сделала?.. Я тебе потом скажу...

Она целовала его в щеки, шею, бороду, повторяя:

— Я не верю... не верю...

А он лишь радостно смеялся в ответ.

Толстой. А как же генерал?..

Джейн. Какой генерал?..

Толстой. Ну, тот, наш... Радлов... Я думал, вы с ним...

Она откинула свое лицо от него.

Джейн. Ты с ума сошел... милый мой, неужели ты так ничего и не понял?.. Нельзя все соединять!.. Я же все сказала тебе тогда... в театре, за дверью, когда ты заперся!..

Толстой. Я не слышал. Меня там не было, я выпрыгнул в окно...

Джейн (пораженная). Боже мой, значит ты меня не слышал?.. О, теперь я все понимаю!.. И твоё молчание, и это странное сумасшедшее признание!.. Боже мой!.. 9 лет... 9 лет!.. Я так виновата перед тобой! Прости меня! Прости!..

Она плакала и целовала его. А он все пытался успокоить ее, говорил, растроганно улыбаясь, как с ребенком.

Толстой. Что же вы плачете?.. Успокойтесь!.. Всё уже позади... Я свободен... год уже...

Джейн. Как?.. Ты уже год свободен?! И ты мог уехать?

Толстой. Мог...

Джейн. Но что... что же ты тут делаешь в этой... этой... «красоте»?..

Толстой. Стригу... брею...

Джейн. А еще что?

Толстой. Лечу... травами...

Джейн. А еще?..

Толстой. Пою... в храме...

Джейн. Ты женат?.. У тебя семья?..

Толстой. Нет... А вы веер помните?

Джейн. Веер?..

Толстой. Я ведь его вам так и не отдал...

Джейн. Ты сохранил его?..

Он молча кивнул ей.

Джейн. Господи... теперь все будет иначе...

Если бы ты знал, как огромен мир!.. Как он прекрасен!.. Все доступно... Просто!.. Поразительно!.. Я все поняла про вас, вы, русские, все усложняете! Ты помнишь ту нашу ночь, ту, единственную?!

Толстой. Все время... Помнишь?!

Он набрал воздух и тихо, через нос, затянул какую-то ноту. Она подхватила, и оба они тянули ноты, каждый свою... Звук у Андрея стал слабеть. Он закашлялся...

Джейн. О, я выиграла... я выиграла!..

Андрей. Так нечестно... Ты позже начала...

Она вдруг задумалась, глядя куда-то, сквозь него, в ту ночь.

Джейн. Ты спал тогда, а я рассказывала тебе, как мы будем жить...

Толстой (нежно). Я слышал... я не спал тогда...

Джейн. Правда?.. Я... Я все устрою, поверь мне: мы все можем иметь! И острова, и путешествия, и любовь... и весь мир... ты веришь мне?..

Толстой. Да... конечно...

Джейн. Я спасу тебя!.. О, я так виновата перед тобой, но теперь я спасу тебя!..

Толстой. Но, Джейн, твой муж?..

Джейн (перебивая). Это мое дело!.. Я сама все устрою!..

Толстой. А ребенок?..

Джейн. Молчи! Молчи, умоляю! Я все расскажу тебе потом... Не сейчас!.. И молчи... молчи, ни звука... нам нужно уехать... Который час?..

Он посмотрел на солнце, затем на тень кедра в траве.

Толстой. Час с четвертью пополудни...

Джейн. Так... Я скажу губернатору... Тебе надо выправить паспорт...

Толстой. У меня есть паспорт...

Джейн (обрадованно). Прекрасно!.. Тогда мы сегодня же уедем! Вместе со всеми... У тебя много вещей?..

Толстой. У меня нет вещей...

Джейн. Нет... но... тебе же нужно собраться?..

Толстой. Это быстро...

Она взглянула на свою лошадь, щипавшую траву, на дамское седло на ней.

Джейн. У меня «амазонка».

Толстой. Не беспокойся... Садись, а я рядом...

Джейн. Как это?

Толстой. По-сибирски!.. Садись.. садись...

Она от волнения не сразу смогла разобрать поводья, он помог ей сесть в седло, придерживая играющую под ней лошадь. Затем взялся рукой за стремя.

Толстой. Ну... поехали!..

Джейн. Но...

Он широко улыбнулся ей.

Толстой. Я так пол-Сибири пробежал...

Она тронула лошадь, Андрей легко, как бы даже не касаясь земли, шел рядом. Свободной рукой он стукнул лошадь в бок, та перешла на размашистую рысь, а он, держась за ее стремя, бежал рядом, глядя на Джейн...

Они выехали из тайги и спускались по дороге, которая вела от сопки к деревне. Андрей бежал легко, словно не касаясь земли. Она видела его похудевшее лицо, глаза, устремленные на нее, слушала его оживленный рассказ.

Толстой. А за Уралом, на какой-то станции, у него всё украли...

Джейн. Всё-всё?

Толстой. Всё: документы, вещи, драгоценности, царскую грамоту... голым оставили, в полотенце одном...

Джейн. Боже!.. Зимой!..

Толстой. Можешь себе представить? Арап в одном полотенце, ни слова по-русски, в центре России!.. Чуть не убили: за черта приняли... а тут партия, в Сибирь... одного не хватает: сбежал Коля Кулебякин какой-то... из Тамбова... вор... ну и все!.. Арапа оприходовали... выдали арестантский зипун... он обрадовался, думал, спасают... а его в железо и сюда...

Они спустились с сопки и въехали на улицу, выпрямленную ночью.

Толстой. Хорошо, Максимыч, наш есаул... спас его, а то бы ему не выжить... замучили бы... нужно губернатору все рассказать... чтобы помочь...

Он рассмеялся.

Толстой. Принц все-таки...

Проехали мимо дома с разрезанной горницей. Никого в нем не было, только на табурете на солнце спал пушистый кот.

Джейн. Господи, как ты здесь жил...

В глазах ее были слезы, но она взяла себя в руки.

Джейн. Но теперь все, все кончено... я все сделаю...

Она хлестнула коня стэком, Андрею пришлось прибавить. Клубилась за ними пыль, скрывая их от глаз тех, кто готовился к испытаниям машины, «холодному» балу на пленэре, к приезду губернатора... Они свернули к дому, где жил Андрей...

Копыта лошади Джейн застучали по деревянному настилу двора дома, где жил Андрей. Двое ребятишек: Ванятка и чуть старше — с боталами на шее выбежа-



ли навстречу. Появление красивой, раскрашенной барыни со стэком в руке на непривычном седле вызвало их удивление и любопытство.

Андрей помог Джейн сойти с лошади. Ребятишки, смутившись, убежали за дом, но часто выглядывали оттуда. Андрей привязал лошадь... Стучал молотком Константин, заколачивая досками срезанную часть угла дома. Увидев Джейн, он поклонился ей в пояс, пряча молоток за спину. Джейн, радушно улыбаясь, подошла к нему и протянула руку, здороваясь. Константин неловко пожал ей руку и смущенно спросил Андрея, кивнув на запекущую кровь.

Константин. Кто это тебя так?

И незаметно, с любопытством посмотрел на Джейн.

Толстой. Да ничего... так... (Он вздохнул.) Уезжаю я... вот, Константин...

Тот перевел взгляд с Джейн на Андрея.

Константин. Как?..

Толстой. Все... хватит... баста, генук...

Константин (все еще не веря). Куда?..

Андрей пожал плечами, хохотнул.

Толстой. В Америку!..

Константин (обиженно). Не хочешь говорить — не говори... А чего шутить-то?..

На дворе шла стирка: стояло корыто,

лежало в куче белье, часть его сушилась на веревке.

Джейн сняла одну из рубах с веревки.

Джейн (по-английски). Это твоя?..

Андрей. Нет...

Она повесила рубаху обратно.

Джейн. Извините...

Константин, слыша нерусскую речь, осмелился спросить Андрея.

Константин. А это кто?..

Толстой. Это, Константин, долгая история...

Он отобрал две свои рубахи да еще подштаники. Константин шел за ним.

Константин. А Дуняша знает?

Толстой отрицательно качнул головой и вернулся к Джейн, с интересом осматривающей их дом и двор.

Джейн. Какой красивый дом... это твой?..

Константин вошел в дом.

Толстой (по-английски). Нет, не мой...

Из дома донесся голос Константина, искавшего Дуняшу. Чуть осмелев, из-за угла к сараю промчались ребяташки, звеня боталами. Джейн, слыша голос Константина, спросила:

— А он... кто это?..

Толстой. Хозяин...

Джейн. А ты кто?

Толстой. Никто... живу у них, понятно?..

Она потрогала нагретую свежеприбитую доску.

Джейн. О... как хорошо пахнет...

Джейн посмотрела на него. Он достал испачканный кровью платок, почувствовал ее взгляд.

Толстой. Платок запачкал... неудобно...
Надобно же вернуть...

Он подошел к корыту, плеснул воды и положил в него платок.

Джейн. Что ты делаешь?

Толстой. Пока соберусь — высохнет...

Снова пробежали ребяташки, с откровенным интересом глядя на Джейн. Джейн подошла к Андрею.

Джейн. Дай сюда!..

Толстой. Ты умеешь?..

Джейн. Я все умею... и вообще, очень люблю стирать...

Толстой. Почему?..

Джейн. Не знаю... с детства... все чистое такое... и пахнет хорошо...

Она склонилась к корыту и ловко стирала платок...

Константин прошел через сени, горницу, многочисленные клетки и подклетки, но Дуняши здесь не было. Слышен был лишь

громкий храп спящего, с последующим скрежетом зубов и легким стоном.

Константин вышел на задний двор и тут увидел Дуняшу. Она развешивала постельное и столовое белье.

Константин так и не окликнул Дуняшу, а смотрел, как она ловко вешает простыни и скатерти. Но все же не выдержал.

Константин (тихо). Дуняша...

Она обернулась и громко спросила:
— Чего тебе, Константин?..

Константин. Там... ну... Андрей Алексеевич...

Дуняша (перебила). Что случилось?..

Константин. Пришел...

Дуняша. Ну...

Константин молчал.

Дуняша. Ты сказал ему, что его Братский ждет... всю избу провонял... вон... храпит уж... А он ходит где-то, не евши целый день...

Она развешивала на веревке большую льняную скатерть. Константин молчал.

Дуняша. Вы на охоту-то когда пойдете?.. Патроны я вам набила... У меня мясо кончается...

Константин хмыкнул. Она посмотрела на него.

Дуняша. Какие же красивые платья на свете есть... Я на господ смотрела, как ехали... ты видел? Петербург вспомнила, даже заплакала...

Он все не мог решиться сказать ей, но вновь не выдержал.

Константин. Дуняша...

Платок уже висел на солнце, Андрей сложил тощую стопку своего белья, пошел в дом. Джейн вытирала руки после стирки о льняной рушник. В доме послышались шаги, стук двери, и на пороге появилась Дуняша в запахнутой юбке на крепких босых ногах. Она выбежала на крыльцо, но вопрос замер на ее устах — она увидела Джейн. Что-то сразу надорвалось в Дуняше, даже покачнуло ее, крепкую и сильную. Джейн узнала ее и обрадованно сказала:

— Дуняша!..

И протянув обе руки, пошла к ней.

Дуняша (растерянно). Здравствуйте...

Джейн (по-английски). Очень рада вас видеть...

И неумело повторила эту фразу по-русски. Откуда-то из-за телеги выскочили ребяташки, подбежали к матери, обхватили ее, глядя на заморскую барыню.

Джейн (по-русски). Ваши?..

Дуняша. Мои...

Джейн (по-русски). А у меня один... в Лондоне... бой...

И рукой показала его возраст — 8 лет. Откуда-то сбоку послышался голос Андрея.

Толстой. Дуняша?!

Он появился из сарая, в руке у него была торба (мешок) для вещей, с какой ходят в партии арестанты. Увидев их обеих вместе, он сказал Дуняше:

— Ты помнишь Джейн?.. В Петербурге... И тут же повернулся к Джейн.

Толстой (по-английски). Видите, какой наша Дуняша стала?!

Толстой (по-русски). Может, покушать чего соберешь? А, Дуняш?..

Он был около нее, Ванятка оставил мать и прижался к нему.

Толстой (по-английски). Ты голодна?..

Видя их рядом, детей, Дуняшу и Толстого, у Джейн появилась тень беспокойства.

Джейн. Нет, нет... что ты... там же обед, губернатор нас ждет...

Толстой весело рассмеялся.

Толстой (по-русски). Ха-ха!.. Губернатор ждет... во, Дуняш, дожили!..

Дуняша взглянула на него и сухо сообщила:

— Вас там, Андрей Алексеевич, Братский часа три уж дожидается...

Толстой. Ох, забыл... совсем забыл...

Дуняша (сухо). Вы ему назначили...

Он хотел было пройти мимо нее, но Дуняша остановила его.

Дуняша. Константин сказал... вы уезжаете?..

Она глядела на него огромными сухими глазами. Он виновато вздохнул, потом улыбнулся.

Толстой. Баста, Дуняша... генук атанде!..
Дуняша. Куда?

Толстой. Отсюда! Какая разница — куда! Главное — отсюда!..

Дуняша. И когда же?..

Толстой. Да вроде сегодня...

Джейн не выдержала и прервала их.

Джейн. Андрей, переодевайся! Нас ждут...

Он посмотрел на себя: начищенные сапоги, заправленные в них брюки, пиджак, чуть обвисший в плечах, свежая рубашка.

Толстой (по-английски). Так... я... уже... У меня ничего другого нет...

Джейн оглядела его «лучший» костюм и, сняв напряжение в голосе, спросила.

Джейн. Ну и хорошо... Ты готов?!

Он виновато посмотрел на нее, улыбнулся.

Толстой. Извини, Джейн... у меня больной... я должен ему перевязку сделать...

Джейн. Может быть, позже — нас ждут, мы опаздываем?..

Толстой (с сожалением). Он потом не придет!.. Такой больной... может, ты пойдешь, а я догоню?..

Она решительно отказалась.

Джейн. Нет-нет... я подожду...

Дуняша. Что же и в храме петь не будете?.. Праздник большой ведь...

Он пожал плечами, вздохнул, виновато разведя руками, и пошел в избу. Не успела дверь за ним закрыться, как Дуняша пошла за ним, за ней дети. Мгновенье была закрыта дверь, затем распахнулась, и оба мальчонки с ревом и звоном ботала пулей выскочили во двор. Ревя, они пошли в сторону отца, который прилаживал очередную доску у «дыры» в дом. Джейн осталась одна, нервно прошла по двору...

В темном коридоре, с крохотным, в паутине, оконцем, Дуняша, прижав Андрея к стене, стоя почти вплотную к нему, с болью смотрела на него.

Толстой. Ты что?.. Дуняша, милая... что с тобой?..

Дуняша. Уехать хочешь?.. А мы? Я?..

Толстой (мягко). Да зачем я тебе, Дуняша?.. У тебя же муж есть хороший... дети...

Дуняша. Я сюда приехала. За Константином вышла... детей ему нарожала... чтобы только рядом с вами быть... а вы?.. дурак вы, дурак! Не пушу!

Где-то хлопнула дверь в избу, послышался рев Ванятки, шаги, раздался голос Джейн.

Джейн. Андрей?!

Дуняша (с болью). Она же погубит тебя...

Голос Джейн. Андрей!..

Толстой вырвался от Дуняши и юркнул в свою каморку. Ревущий Ванятка привел Джейн в коридор. Он был у нее на руках и вытирал слезы. Попав со света в полумрак, Джейн не сразу заметила Дуняшу. Та резко шагнула к ней, выхватила ребенка, наподдав ему крепкого шлепка, отчего тот взревел пуше прежнего, прошла быстро мимо растерянной Джейн. Джейн осталась одна.

Она пыталась привыкнуть к полумраку, неуверенно прошла вперед. Неожиданный жуткий крик откуда-то из комнатухи рядом испугал ее, она вскрикнула.

Джейн. Андрей!..

Но он, видимо, не услышал ее. Крик повторился, а затем возник голос Андрея, гневно распекавший кого-то. Она сделала

неуверенный шаг, ища Андрея по голосу, по крику.

Голос Андрея (по-бурятски). Убери руки, старый дурак!.. Пес безмозглый!.. Хочешь, чтобы тебе ногу отрезали? Да?! Я тебя зачем лечу, куку-тологай?.. Чтобы ты мои повязки срывал?! Да на цепь тебя посадишь мало... Приковать!.. Сиди!.. Сиди!..

Джейн услышала звук крепкой затрещины, уже совсем недалеко от нее, она сделала еще несколько шагов и открыла дверь в крошечную комнату.

На скамье вдоль стены полулежал и плакал старый грязный бурят. Рядом на столе лежали разные пузырьки и склянки с лекарствами, по стенам висели пучки всевозможных трав. Бурят плакал, а над его ногой склонился Андрей, рассматривая нагноившуюся язву чуть выше лодыжки. На Джейн пахнул запахом давно немытого тела, шедшего от бурята. Она вздрогнула, у нее слегка закружилась голова.

Толстой (по-бурятски). Что воешь?! Сначала нагадишь, а потом воешь!..

Он еще раз с досады стукнул бурята по спине.

Толстой (по бурятски). А если у тебя гангрена будет?.. Огненная болезнь, тогда что?.. Ногу тебе резать будут... кто тогда всю твою ораву кормить будет?..

От этих слов бурят взвыл пуще прежнего. Андрей тем временем уже обработал рану, наложив вокруг язвы какую-то мазь.

Толстой (по-бурятски). Не смей снимать три дня!.. Через три дня придешь, я тебе...

Он осекся...

Толстой (по-бурятски). ...Ах, да!.. Я вот тебе дам эту склянку... Скажешь жене, чтобы сделала тебе, как я... через три дня!.. **Джейн** (тихо). Андрей...

Он вздрогнул, выпрямился, увидел ее в дверях. Виногато улыбнулся.

Толстой (по-английски). Джейн... ты... вот: лечу этого упрямого осла...

Услышав их разговор, бурят перестал выть и уставился на Джейн, раскрыв от удивления рот. Она отвела глаза от них, стала осматривать комнату. Увидела божницу с иконой Спасителя, а рядом портрет императора Александра II в траурной рамке. Над лежаком, где, видимо, спал Андрей, в аккуратных самодельных рамках висели три фотографии: его отца на лошади, мамы из какого-то спектакля и юнкеров II роты Алексеевского училища. Тут же у лежака лежала шкура большого медведя, а почти вплотную около Джейн висело на стене охотничье ружье.

Андрей склонился к буряту, потом взглянул на нее. Она показала на шкуру. **Джейн**. Это ты его убил?

Толстой. Да...

Она восхищенно покачала головой, стараясь не смотреть на бурята, сидящего с вытянутой ногой с подсыхающей на ней раной. Андрея обрадовало ее восхищение.

Джейн. Какой большой...

Толстой (радостно). Ты когда-нибудь вяленную медвежатину ела?.. Хочешь попробовать?..

Он рванулся было, но она остановила его.

Джейн. Да... нет... не сейчас... скоро же обедать...

Он как бы вспомнил об обеде.

Толстой. Ах, да... ну да...

Джейн. Тебе долго еще?..

Толстой. Понимаешь... надо, чтобы подсохла рана, а то потом... отдирать трудно.

И обратился к буряту.

Толстой (по-бурятски). Еще раз снимешь, я тебя сам убью...

Она прошла к стене с фотографиями, посмотрела на юнкеров.

Джейн (вспоминая). А... это же...

Толстой. Вспомнила?!.. Это вся наша рота... вот капитан Фокин, помнишь?..

Он подошел к ней, стал показывать.

Она еще раз окинула взглядом всю эту маленькую темную каморку.

Джейн. Невероятно... Как же можно так жить?!

Толстой (улыбаясь). Да сейчас-то что... не жизнь? Замечательно... свобода... хочешь в тайгу, хочешь на Байкал... раньше, действительно...

Джейн. Но почему ты не уехал?.. Сразу же... как стало можно?..

От этого вопроса он как-то растерялся, не сразу смог найти слова для ответа. Взглянул на нее, в красивом платье, смотрящую на него.

Толстой. Когда я был маленьким... мама меня привязывала ниткой к стулу... в наказание... дверь была открыта... я мог в любую секунду уйти, да и мама забывала об этом... но я часами сидел, не шевелился, боясь порвать эту нитку... мне казалось... что ежели я ее порву... то мама перестанет меня любить и верить... так и здесь...

Джейн. Что здесь?..

Толстой. Как тебе объяснить... здесь тоже... последняя ниточка жизни — я ведь нигде никому не нужен...

Она вспыхнула.

Джейн. Что?! Ты...

Она окинула взглядом его комнату.

Джейн (удивленно). Ты... ты боишься потерять всё вот это?..

Он, как-то с трудом подыскивая слова, понятные ей, ответил.

Толстой. Я не потерять боюсь, а разрушить... А терять — что?..

Он тоже окинул взглядом комнату.

Толстой. Что человеку для жизни важно, всегда с ним...

Он в смущении отвернулся от нее, взял какой-то пузырек с мазью. В наступившей тишине вскрик буряты на лежанке испугал ее.

Джейн. Что это?

Он почему-то обрадовался.

Толстой. Ой, Джейн, ты не знаешь — это замечательно... Это горловое пение...

Он резко повернулся к буряту, тот молчал, глядя на него сквозь щелки глаз.

Толстой (по-бурятски). Пой... пой, Куку-Тологай...

Бурят молчал.

Толстой (по-бурятски). Пой... дама никогда не слышаш, как поют джигиты...

Глазки буряты сверкнули... И через мгновение в комнате появились те странные звуки, которые испугали Джейн.

Толстой (по-английски). Это замечательно... Он лучший певец здесь... Лечить его — мучение, но слушать — все простишь...

Толстой (по-бурятски). Пой, Куку-Тологай... пой... даме нравится твое пение...

Бурят пел, закатив глаза к потолку. Андрей восторженно смотрел на него, а Джейн — чуть растерянно.

Он обернулся к ней, не заметив ее растерянности.

Толстой. Это многоголосие... слышишь... слышишь... второй голос одновременно... совсем другая интонация... как он делает это горлом — непостижимо...

Она, вежливо улыбаясь, слушала буряты. Потом взяла Толстого за руку, тихо прошептала:

— А помнишь?.. Как ты мне пел... в вагоне Моцарта?..

Толстой. Да-да...

Он мягко улыбнулся ей и, словно вспомнив что-то, спросил:

— Ты давеча говорила... в тайге: ты мне хотела что-то сказать?

Она вспыхнула, ласково провела рукой по его ладони.

Джейн. Да... но не сейчас... потом...

И добавила, глядя на буряты:

— Уже поздно... мне еще переодеться надо...

Он кивнул ей.

Джейн. Я поеду, а ты, как закончишь, приходи. Я буду тебя ждать.

Он вновь кивнул ей. Она легко поцеловала его и пошла к двери. Он двинулся за ней.

Джейн. Не провожай меня... я жду тебя.

Она тихо вышла в коридор. Потом хлопнула дверь, послышался цокот копыт, сначала во дворе, а потом с улицы — более тихий, пока не исчез совсем. Бурят пел горловую песню. Андрей постоял, потом повернулся, прошел к божнице, достал из-за портрета покойного Александра II ее веер. Прошел и сел рядом с бурятом. Тот, закрыв глаза, пел. Из горницы доносились голоса Дуняши и Константина.

Тихо скрипнула дверь, и вошел Ванятка со своей книжкой. Слезы его прошли, но следы их еще были размазаны по щекам.

Ванятка. Почитаем?..

Андрей оторвался от своих дум, увидел мальчика. Он вздохнул и подозвал к себе.

Толстой. Читай...

Мальчик открыл книгу, положив ее Толстому на колено, стал водить по строкам. **Ванятка**. Люди, он — ло! Веди, есть, и крепкое — вей... со-ло-вей...

Он поднял на Толстого недоумевающие глаза. Андрей, раскрыв веер, смотрел на него: на еще заметный шрамик слома, там, в поезде, на прозрачные его перья, на причудливую, сказочную жар-птицу на них. **Ванятка**. Со-ло-вей, что такое?

Толстой, глядя на веер.

Толстой. Птица такая... я уже говорил тебе...

Ванятка. А-а... птица, вспомнил...

Бурят уже закончил пение, но глаз не открыл, видимо, песня усыпила его. Из горницы донеслось позвякивание посуды к обеду.

Голос Дуняши. Так ты чего, Константин... Пойдешь, что ли, в тайгу-то?..

Голос Константина. Да надо бы...

Голос Дуняши. Патроны я набрала...

Он звякнула чем-то, видимо, задев.

Голос Дуняши. Чистое тебе приготовила... в храм-то идти... Ты видел иль нет?..

Голос Константина. Да вроде бы...

Толстой смотрел на фотографию юнкеров. Тикали ходики. Ванятка читал.

Ванятка. Слово, иже-си! Добро, ять, люди-дел! Соловей си-дел... на че... на че-ре... на че-ре-му-хе... Что такое?..

Он снова посмотрел на Толстого. Тот смотрел на фотографию юнкеров с развернутым веером в руке и, не глядя на мальчика, ответил:

— На черемухе. Черемуха, стало быть,

дерево... Вот он и сидел... Я уже говорил тебе, забыл?

Ванятка. Ага, помню... сидел... зачем сидел? Большая птица? Больше глухаря?

Толстой. Махонькая... поет хорошо...

Ванятка. У нас такой нет...

Толстой (со вздохом). У нас нет...

Ванятка. А где есть?

Он думал, глядя на фотографию. Потом взглянул на мальчика.

Толстой. Там...

Он показал на фотографию.

Толстой. И черемуха там есть...

Мальчик снова стал водить пальцем по книжке. Бурят уже похрапывал, тикали ходики, голоса Дуняши и Константина стали тише. Толстой все так же, с веером в руке, сидел на табурете, глядя в пыльное оконце, за которым было видно, как под склоняющимся к закату солнцем сияет своей гладью Байкал...

Прием на полянке у деревни был в полном разгаре. Под раскинутыми шатрами металась с подносами лакей, то и дело взвивались в небо пробки от шампанского, раздавались тосты.

Вдали, на сопке стояла, сверкая в вечерних лучах солнца всей своей мощью, машина.

Джейн в роскошном длинном платье, с диадемой на шее, высокой прической — была в центре внимания. Она улыбалась, мило отвечала на приветствия, что-то говорила, но время от времени она смотрела на дорогу, идущую от деревни. Ее муж, Роберто, в предвкушении показав своей машины, был чрезвычайно возбужден, но в то же время и сердит на Джейн.

Роберто (с напряженной улыбкой). Нет... Но... зайчонок мой, как так можно... одна! Здесь — среди каторжников... ты немного меня компрометируешь... я не знал, что говорить губернатору...

Джейн рассеянно слушала его сердитый шепот, продолжая кланяться и приветствовать гостей.

Роберто. Я могу тебя понять... твою скуку... но они... я прощаю тебе ухаживания этого хлыща... капитана... но, зайчонок, всему есть предел, я удивлен...

Джейн. Мне нужно поговорить с тобой, а то ты удивишься еще больше...

Роберто (недоуменно). Что такое?..

Она опять посмотрела на дорогу. Никого... Только бежал какой-то мальчишка. К ним подошел губернатор в белом кителе.

Губернатор (по-английски). Про вашу супругу, господин инженер, чудеса рассказы-

вают... говорят: по тайге, верхом, одна! Это, знаете ли, отважно, отважно...

Инженер закивал головой, соглашаясь с ним. Джейн обворожительно улыбнулась генералу.

Джейн. При таком губернаторе... мне нечего опасаться, Ваше высокопревосходительство... о вас тоже чудеса рассказывают...

Губернатор (смеясь). О, если бы... если бы... Позвольте, сударыня, я на некоторое время похищу вашего супруга?..

Джейн. О, сделайте милость, Ваше высокопревосходительство... Только не у меня вам надобно разрешения спрашивать...

Губернатор вопросительно посмотрел на нее.

Джейн. А вот у нее.

Она показала рукой на стоящую на сопке машину.

Джейн. Это его настоящая супруга...

Губернатор рассмеялся, поцеловал ей руку и вместе с Роберто отошел в сторону. Она осталась на мгновение одна, вновь посмотрела на дорогу. Дорога была пуста. И тут же услышала голос за спиной.

Офицер. Вы кого-то ждете, сударыня?

Она чуть вздрогнула, обернулась. Перед ней с бокалом в руке стоял офицер — начальник обоза. Джейн рассеянно улыбнулась.

Джейн. Ах, это вы, Владимир...

Офицер. Не желаете ли еще шампанского?

Вид у него был игрив и многозначителен.

Джейн. Что с вами?

Офицер (загадочно улыбаясь). Ровным счетом — ничего!.. Здоров, бодр, весел, пьян слегка... а вот с вами что?..

Джейн (как бы вспомнив). Ах, я забыла... вот... ваш платок...

Она достала из сумочки платок офицера.

Джейн. Он только влажен еще немного, высохнуть не успел... Возьмите, спасибо...

Офицер взял у нее платок, многозначительно посмотрел на него, спрятал в карман.

Офицер. Ну что ж... у меня тоже для вас кое-что есть...

Он медленно протянул руку за борт мундира, так же медленно извлек веер, веер Джейн, тот самый, из той ее жизни...

Она изумленно посмотрела сначала на веер, потом на офицера, потом быстро обернулась на деревню и опять на офицера.

Джейн (чуть слышно). Что это?..

Офицер. Веер, как я понимаю... просили вам передать...

Джейн (быстро). Кто?

Офицер. Мальчишка какой-то...

Джейн. Где он?

Офицер. Ушел уже... Что с вами?

Джейн беспомощно огляделась по сторо-

нам, словно ища защиты. Слезы заблестели у нее на глазах.

Офицер (испуганно). Что с вами, сударыня... вам дурно?

Джейн обессилевшей рукой взяла у него веер.

Джейн. Оставьте меня.

Вокруг все повернулись к столу губернатора: гостей начали приглашать на испытание машины.

Джейн, растерянная, стояла на месте.

Офицер. Но его можно найти, мальчишку... местный, я запомнил его... и потом, потом... может быть... вон, посмотрите, все в храм идут... сейчас служба начнется... может быть, он там с родителями...

Джейн вяло посмотрела туда, куда показал офицер. С разных сторон к стоящему на горе храму стекался деревенский люд. С колокольной доносились одиночные удары колокола.

Гости с пикника направлялись медленно к машине.

К ней подошел возбужденный предстоящим событием Роберто. Отметив краем глаза офицера и мельком поклонившись ему, он взял ее за руку.

Роберто. Скоро начинаем... нужно идти, Джейн...

Он повернулся к офицеру.

Роберто. Скоро начинаем...

Офицер поклонился.

Джейн. Да-да... я знаю... я сейчас...

Губернатор со свитой медленно двинулись к машине.

Роберто. Нам пора... не задерживайся, Джейн...

Он поспешил за идущими гостями. Джейн же стояла, глядя вдаль, на храм. Потом, словно решившись, она неожиданно для офицера шагнула по направлению к нему.

Офицер. Куда вы?..

Джейн. Ничего... ничего... я успею! Я скоро...

Она почти бежала по пыльной дороге. За ней шел недоумевающий офицер.

Офицер. Куда же вы, Джейн... подождите... Но Джейн не слушала его и быстро шла к храму.

Стены деревянного храма были украшены полевыми цветами и букетами из веток со свежей бледно-зеленой листвой. Уже шла праздничная служба. Дьякон стоял перед Царскими Вратами и тянул приятным, чуть хрипловатым басом.

Дьякон. Благосло-о-ви... влады-ы-ко!..

Из-за низкого, бедно украшенного иконостаса вынесся в ответ певучий круглый баритон молодого священника.

Священник. Благо-о-сло-ве-е-нно царство-о-отца и-и сы-ын-а-а-а...

Джейн с трудом протиснулась в почти полный людей храм. В центре и правом его крыле стояли казаки, местные жители, поселенцы, усердные старухи, бедный и несчастный эфиоп, истово крестящиеся бабы... В левом крыле, за специальной загородкой и на ярусах, плотно прижавшись друг к другу, толпились арестанты.

И от этого серого пятна что-то будто разливалось по всей церкви: серый цвет тюремных халатов, казалось, глушил все цвета и краски. Арестанты под охраной конвойных, гремя иногда кандалами, смотрели на Врата.

Джейн быстро оглядывалась по сторонам, надеясь увидеть Толстого.

Весь ее вид, она сама, благоухающая дорогими духами, с диадемой на открытой шее, была чрезвычайна странна в этой бедной церквушке, среди прихожан и серых арестантов...

Джейн чувствовала на себе любопытные и настороженные взгляды, видела загорелые и обветренные, суровые лица, но Андрея среди них не было... Офицер, неотступно следовавший за ней, тоже вертел головой, стараясь найти мальчонку, принесшего веер.

Плотная людская стена преградила ей дорогу к иконостасу. Она остановилась, а служба набирала все большую силу. Все запели «Верую».

Джейн посмотрела на арестантов. Слившись в единое серое пятно и устремив глаза к иконостасу, они пели вместе со всеми.

Внезапно Джейн ощутила и вспомнила то чувство, испытанное ею когда-то в храме на Пасху в Петербурге.

И тут над всем этим искренним, но нестройным разноголосьем вознесся чистый и сильный голос, подхвативший молитву.

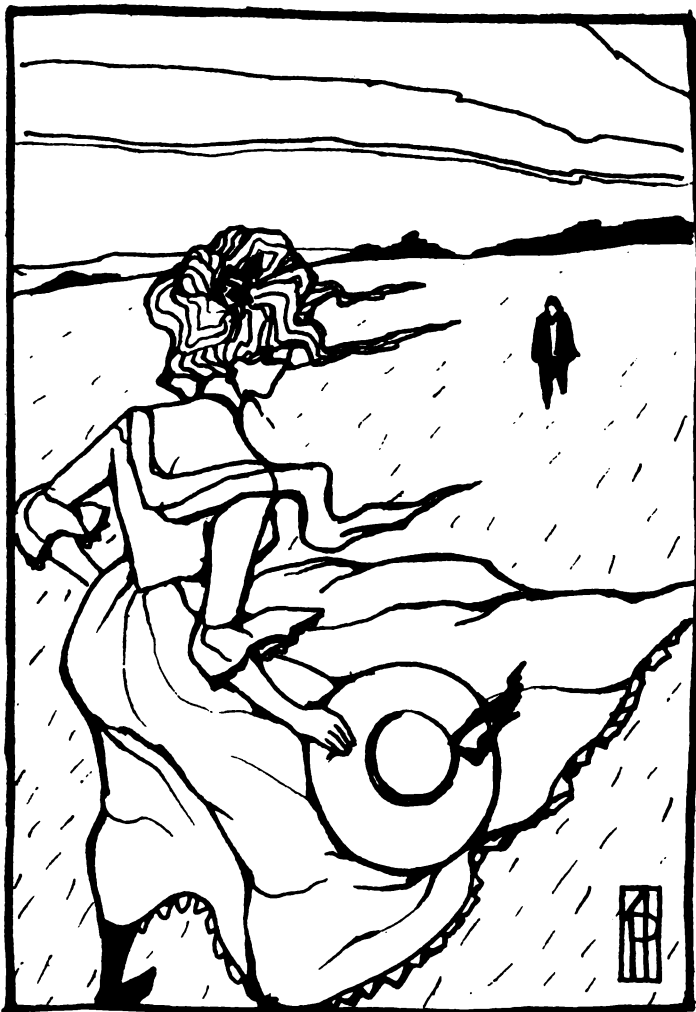
Джейн словно ударило что-то в сердце, она подняла глаза и увидела Андрея...

Машина взревела, выпустив густое облако дыма.

„Роберто, сидящий в кабине за рычагами, опустил на глаза очки, застегнул шлем... Потянул рычаг...“

...Андрей стоял на хорах вместе с еще несколькими певцами и, закрыв глаза, пел слова молитвы.

И вдруг вся эта служба и все эти люди как бы перестали существовать отдельно друг от друга. В эту минуту,



и здесь, в храме, рухнула непреодолимая стена между волей и неволей, и через Бога, через вдохновенное пение Андреем Ему молитвы все эти люди перестали делиться на арестантов и надзирателей, каторжников и конвойных, крестьян и казаков, став единым грешным человеческим братством...

Острые ножи машины медленно и зловеще выдвинулись из стальных рукавов. Все быстрее и быстрее завертелись циркулярные пилы, установленные по бокам. Через мгновение они превратились в сверкающие диски.

Дамы в страхе заткнули уши от оглушительного скрежета пил. Мужчины с изумлением и восторгом следили за происходящим...

Чистый голос Андрея теперь подхватил хор. И все равно его легкий, воздушный голос, словно сильный ручей, пробивался вперед.

Джейн смотрела на него, в глазах ее стояли слезы, она шептала.

Джейн. Ты ничего не понял... ты ничего не понял...

И слезы медленно катились по ее щекам. Потрясенный пением офицер, устремив взгляд на хоры, торопливо крестился...

Машина дернулась всем своим гигантским телом и медленно поползла к краю леса. Буряты из обоза, толкавшие ее совсем недавно, с криком бросились бежать, остановившись на безопасном расстоянии. Небольшое деревцо на краю леса только вздрогнуло и травинкой пало на землю.

В кабине Роберто закричал от восторга,

но голос его тонул в грохоте машины и визжании пил. Дальше на пути машины было уже крупное дерево.

Бешено вращающийся круг впил свои стальные зубья в могучий кедр... Брызнули в сторону опилки. Пневматическая огромная лапа вгрызлась в ствол кедра, отжимая его от машины... Затрепетала крона...

На крыльцо церквушки, из которой доносилось пение, выбежал мальчишка, за ним еще двое. Они постояли мгновение, прикрыв ладошками глаза от заходящего солнца. От края тайги на сопке доносился грохот и вой машины. Потом рухнуло большое дерево. Двое мальчишек опрометью побежали к сопке, один же вернулся в храм. Затем снова появился на крыльце, таща за руку отца, что-то быстро ему говоря. Вой и грохот машины заставил выйти из храма еще несколько человек...

Андрей пел молитвы, вцепившись побелевшими пальцами в перила хоров. Внизу же, толкаясь и налезая друг на друга, толпа, подхватив Джейн, понесла ее к выходу из храма. Она пыталась остаться, но тщетно. Людская волна уносила ее...

Бешено вращающиеся ножи, рассыпая фонтаном опилки, все глубже и глубже входили в огромный ствол могучей лиственницы. Сквозь дым сверкающая в закатном солнце машина дрожала, как бы сама с трудом сдерживая свою мощь. Роберто работал рычагами и педалями, что-то, сам того не замечая, кричал, но голоса его не было слышно за грохотом машины...

Со всех сторон: от домов, от острога, все, кто мог, бежали на сопку, к краю тайги, где выла и грохотала машина...

Джейн все еще смотрела на храм, из которого доносился голос Андрея.

Офицер, держа ее за руку, вводил ее все дальше и дальше, туда, где грохотала машина...

Офицер. Пойдемте!.. пойдете!.. Неудобно... Я же все-таки на службе... уже все началось... губернатор, ваш муж... что могут подумать?..

Храм был почти пуст... Но Андрей, не останавливаясь и не теряя мощи вдохновения, продолжал петь молитву.

Множество людей, затаив дыхание, с широко раскрытыми от изумления, ужаса и восторга глазами, смотрели, как что-то блестящее, огромное, в клубах дыма вгрызалось в тайгу. Обезумевшее от страха стадо коз вылетело из тайги и, не помня себя, помчалось по косогору прочь. Гигантская лиственница, содрогнувшись в последний раз, медленно стала падать на землю. Стоящий впереди старый бурят, которого лечил Андрей, Куку-Тологай, опустился перед грохочущей машиной на колени. За ним еще кто-то, еще...

И вот уж многие из тех, кто пришел сюда из храма, преклонили колени перед чудом, которого они не понимали, но силу которого ощутили, и затрепетали перед ним...

Джейн все дальше уходила от храма. Но что-то, какая-то сила все еще останавливала ее, не пуская дальше, словно невидимая нить все еще тянулась и не рвалась, связывая ее с прошлым...

Офицер звал ее, просил... потом ушел...

А Джейн так и стояла на пыльной дороге, примерно на полпути между ревущей, грохочущей машиной и храмом со звонкой и высокой молитвой...

На этом изображении Джейн возникает голос матери, пишущей письмо сыну в американскую офицерскую школу.

Голос Джейн. ...Так она и стояла тогда, стояла и не знала, что это последние минуты ее жизни, нет, она не умерла, она прожила потом еще много лет, и верно, теперь еще где-то живет, но тогда, на пыльной сибирской дороге душа ее отделилась от тела... и осталась навсегда где-то там, в маленьком затеряншемся среди тайги, остром храме...

Постепенно изображение переходит в Америку на плац офицерской школы.

На краю залитого солнцем плаца, у гимнастических снарядов пристроился с письмом в руках кадет — любитель Моцарта. Он так и не снял еще противодымную маску. Камера медленно приближается к нему. Продолжает звучать голос его матери.

Голос Джейн. ...Однако поняла она это только потом, много лет спустя, когда успокоилось и затихло оскорбленное самолюбие. И еще она поняла, что, рассуждая и оценивая чужую жизнь, мы исходим только из своего опыта, своего эгоизма, своего честолюбия, забывая, что в каждом человеке, в его душе и его сердце и таится



основа его выбора единственного, только ему предназначенного, пути. Ему одному! Но Андрей Толстой так и не узнал никогда, что Джейн это поняла, как и не узнал он того, что хотела она ему сказать тогда, в залитой солнцем тайге. Больше они уже не встретились...

Камера приблизилась к кадету настолько, что мы слышим его тяжелое, сквозь маску, дыхание. Видим запотевшие стекла очков. На плечо ему ложится чья-то рука. Кадет вздрогнул, обернулся. Над ним стоял капрал. Кадет хотел вскочить, но капрал удержал его. Лицо капрала озабочено и даже печально. Он присел рядом и тяжело вздохнул.

Капрал. Дочитал?

Он показал на письмо.

Кадет в маске. Почти... сэр!

Капрал (устало). Послушай... ну давай похорошему... что он тебе, Моцарт этот, родственник, что ли?! Отец, родной брат, приятель?..

Кадет в маске. Нет... сэр!

Капрал. Ну вот видишь...

Кадет в маске. Он великий композитор, сэр...

Капрал (возбужденно). Ну и хрен с ним!..

Ты понимаешь, что из-за этого проклятого дурака, который помер 100 лет назад, можешь из школы вылететь? Меня из-за тебя уже к полковнику вызывали!

Кадет в маске (тихо и упрямо). Но Моцарт все равно великий композитор, сэр!..

Капрал (взрываясь, в ярости). Ну, хорошо, я согласен, великий композитор, этот твой сраный Моцарт!..

Кадет в маске (неожиданно). Громче, сэр!..

Капрал (опешив). Что?!

Кадет в маске. Громче, если можно, сэр!..

Капрал (тихо и растерянно). Великий композитор...

Кадет в маске. Громче и полностью... сэр!..

Капрал. Моцарт великий композитор...

Кадет в маске. Громче, сэр!

Капрал (орет). Моцарт, чью маму я видел в гробу, великий композитор!..

Капрал остервенело смотрит на кадету. Он даже сам себе удивился. Рука медленно стягивает противодымную маску. Мы видим совершенно мокрую то ли от пота, то ли от слез щеку, видим наполовину остриженную голову, которую не успели достричь из-за этой истории. Кадет повернулся и посмотрел в камеру. Это был Андрей Толстой, тот самый — 20 лет назад, когда он пел Моцарта в раскачивающемся вагоне типа микст даме, читающей «Анну Каренину». Он смотрит на нас: улыбающийся, счастливый, победивший. Андрей Толстой. Нет. Его сын!

Изумленный самим собой капрал смотрит на кадету, и что-то веселое и одновременно уважительное мелькнуло во взгляде капрала.

Капрал. За нарушение распорядка и чтение посторонней литературы — 2 дневальства вне очереди!..

Кадет. Слушаюсь, сэр!

Капрал. И десять кругов бегом в полной выправке!

Кадет (счастливо). Слушаюсь, сэр!..

По залитому солнцем плацу в полной боевой выкладке бежит кадет — Эндрю Стараро. На нем ранец, скатка, винтовка, котелок, лопата. Глухо стучат по бетонку кованые башмаки, тренькает ремень, попискивает котелок, подрагивает на взмокшей спине ранец, но с лица кадету не сходит счастливая улыбка...

Звучит музыка Моцарта...

Медленно ползут строчки аккуратного женского почерка.

Постскриптум. И вот еще, что я хотела тебе сказать, мой мальчик, не знаю,

поймешь ли ты меня сейчас, но когда-нибудь ты поймешь обязательно. Большинство никогда не бывает правым! И когда все разрушают храм, кто-то должен остаться внутри, чтобы петь! И если все бегут вперед, кто-то должен остаться в доме, чтобы подать больному и жаждущему воды.

Такие люди незаметно живут, как и незаметно исчезают. Они, как воздух, им дышишь, но его не замечаешь... Но именно в них, в этом подавляемом меньшинстве, и сохраняются все истоки и все исходы

истинного человеческого духа...

Звучит музыка Моцарта.

Звучит музыка Моцарта.

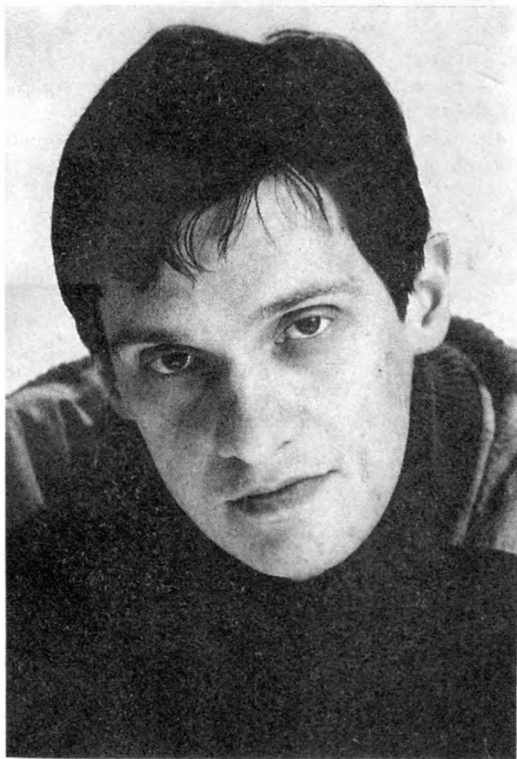
А по огромному, залитому раскаленным солнцем бетонному плацу бежит и бежит одинокий кадет... улыбаясь чему-то своей загадочной и бесшабашной улыбкой...

Москва, Иркутск,
Рим, Нью-Йорк,
Николина Гора,
1987—1988 гг.



Рисунки Анастасии Рюриковой

ЮРИЙ АРАБОВ

ЮНЫЕ
ГОДЫ
ДАНТА

Автор выражает глубокую признательность А. Добровольскому, художнику и полярному исследователю, за предоставление архивных данных, касаемых событий, описанных ниже.

1.

На краю мира, там, где из-под земли добывали уголь, где только губка, смоченная в мыльной воде, могла превратить лицо человека из негатива в позитив, где Третий Рим был невидим из-за носящейся в воздухе черной пыли, а Первый казался расположенным в другой галактике, где маленький город жался друг к другу крышами, как жмутся люди, пытаясь согреться, на каком-нибудь студеном, продуваемом насквозь железнодорожном вокзале, где...

Впрочем, все это лирика. И следует начать... Ну, предположим, с писателя.

Это был не нынешний шелкопер-пост-модернист, сначала не вылезавший из угольных полуподвалов, потом — из заграниц, где все ему казалось полуподвалом, но возвращаться в реальный полуподвал уже не хотелось, а тот, кто мог бы написать, скажем, «Ты помнишь, Алеша, дороги Смо-

ленщины», получить пару Хрущевских госпремий и одну — Сталинскую, но второй степени, кто курил, подражая мэтрам, тяжелую трубку и иногда, неотчетливо и вскользь, вспоминал о встрече с Алексеем Максимовичем...

Он старался идти по территории шахты быстро и размашисто, покуривая на ходу и устремив зоркие глаза внутрь себя, но почему-то продвигался медленно, не торопясь, так что вокруг потихоньку собиралась толпа радостных разгоряченных людей, разгоряченных от того, что день выдался душным, хоть стояло начало мая, радостных — что на шахте появился земляк, быть может, единственный человек из них, кто не роет ногтями землю.

Рядом суетилась и подпрыгивала небольшая круглолицая женщина лет сорока с выщипанными бровями и ярко окрашенной левой щекой (про правую она запамятовала). О женщине можно было сказать, что ей не сорок, а всего лишь трид-

цать девять, потому что маленькая собачка, как известно, до старости щенков. Она держала под мышкой толстую папку из красной кожи, в которой всякого рода писатели любят хранить свои вещицы, предположим, «Войну и мир» или «Как нам обустроить Россию».

Бежала корреспондентка местного радио, вытягивая вперед неработающий (это выяснилось позже) микрофон. Корреспондент газеты «Шахтерская правда», ведающий колонкой «Шлак и руда», прикидывал, в какой столбец отнести рассказ о приезде писателя, естественно — в «Руду», но почему-то подсознательно хотелось — во «Шлак».

Люди всё прибывали, и когда они дошли наконец до забоя, вокруг гостей образовалась такая толпа, что со стороны могло почудиться, будто привезли из Москвы или Киева колбасу, впрочем, из обеих столиц было столь же недалеко, как и до колбасы. Ничего не было видно. Люди из задних рядов подпрыгивали, и те, кто преуспел в этом, в общем-то бесполезном занятии, увидели, как писатель примеряет на свою голову шахтерскую каску, а миниатюрная женщина собирает выпавшие из папки листки.

Затем толпа поспешила к лифтам, ведущим в забой. Естественно, что при этом она рассклалась на две неравные части — одна сопровождала писателя в первый круг переделанного человеком ада, другая, значительно более многочисленная, поспешила в диспетчерскую, где собиралась по местной связи послушать выступление земляка.

Сначала были помехи и хрипы. Но скоро люди, толпившиеся в диспетчерской, услышали глуховатый размеренный голос:

— Сцена изображает комнату шахтерского общежития. Поверх одеяла лежит Олег, упершись сапогами в железную спинку кровати. Рядом сидит Елена и расчесывает Олегу его вьющиеся волосы...

Здесь писатель закашлял. И чей-то голос явственно произнес: «Воды!..»

— Перекурил,— сказал диспетчер, комментируя этот досадный сбой.

— Туберкулез. С войны вывез,— не согласился старик, сидевший у стены.

Через радиоточку было слышно, как писатель пьет воду. После паузы он продолжил:

— ЕЛЕНА: Слышишь, как соловьи поют над рекой, как прячется в камышах рыба, мечтая о счастье? Как вечерняя прохлада разливается в темном воздухе?

— ОЛЕГ: Это не соловьи. Это дует в свистульку наш бригадир Алексей Макарович.

— ЕЛЕНА: Так нельзя дуть. Такие звуки может выпускать из себя лишь природа, покоренная рукой человека.

— ОЛЕГ: А я говорю, что это Макарыч.

— ЕЛЕНА: Ты становишься заурядным. Скажи, когда ты читал последнюю книгу, Алеша?

— ОЛЕГ: Я не Алеша. Шлюха! (Бьет ее по лицу.)

Елена горько плачет. Олег подкрадывается к ней с ножницами и быстро отрезает с затылка огромную косу.

— ЕЛЕНА: Что ты наделал? Я не смогу без этой косы появиться дома.

— ОЛЕГ: Я повешу ее на стене. Пусть она напоминает мне о днях, проведенных вместе.

В глубине сцены появляются представители домового комитета...

— И у меня в юности была коса,— мечтательно прошептала женщина в спецовке.

— А у меня в детстве был рояль,— вспомнил кто-то...

— ...ДИРЕКТОР ОБЩЕЖИТИЯ,— снова донесся из радиоточки голос писателя.— Почему вы находитесь на женской половине после 22-х часов?

— ОЛЕГ: Мы учим стихотворение Лермонтова.

— МИЛИЦИОНЕР С СОБАКОЙ: Только что в реке Елань найден обезображенный труп молодой женщины. Откуда у вас эта коса?

— СОБАКА (лает, набрасывается на Олега и валит его на пол).

— ДИРЕКТОР ОБЩЕЖИТИЯ: Ты?!

— ЕЛЕНА: Я!

Внезапно раздался какой-то нутряной грохот, напоминающий отрывку великана или взрыв аплодисментов на бенефисе оратора. Стекла в диспетчерской задрожали, связь прервалась.

Через минуту завывла сирена. Пробудившись от столбняка, люди выскочили из диспетчерской и, наткаясь друг на друга, падая и ругаясь, побежали к шахте.

Грохот оборвался внезапно, словно воздух вышел из проколотого мяча. Тишина.

Только мелкая пыль вьется в желтом настырном луче.

2.

Но ведь правда-то должна быть? Должна быть на земле правда! А то что это получается? Человека, написавшего... пусть

песу. Пусть неудачную, хотя как, товарищи, на это смотреть. Елена, говорите, ходульна? А может, такие люди были раньше. Соловьев слушали, о встречном плане помышляли, чесали кудри — в рабочем общежитии. Да это и не важно. Важно, что автора пьесы, приличного человека, гражданина и лауреата, похоже, завалило в шахте... Поэтому я и спросил о правде. И на земле, и выше. То, что ее нет под землей, мы уже поняли.

Когда уцелевших участников неудачной читки подняли на поверхность, на низкорослой даме, что несла красную папку, буквально не было лица. Оно исчезло, это лицо. Короткие волосы были растрепаны и напоминали волосы короля Лира в известной сцене бури.

Она, эта женщина, опустила на колени и начала рыть ногтями землю. При чем создавалось впечатление, что роет она целенаправленно, пытаясь обнаружить в земных пластах сгинувшего писателя. Какой-то ребенок, стоявший рядом, дал ей детскую лопатку. И Вулена Петровна (а звали ее именно этим простым русским именем) в каком-то испуге вгрызлась лопаткой в неподатливый серый грунт.

Ее попытались поднять с колен, кто-то принес воды...

— Он — там! — закричала она, вырываясь и снова падая на колени.

Приложила ухо к земле.

— Тихо!

И толпа послушалась, ступевалась, ибо безумные имеют над нами неизбывную власть.

— Ага... Так, — сказала с удовлетворением Вулена Петровна, отнимая ухо от земли, — минеров и бронетехнику, живо!..

Но поскольку тяжело описывать горе, к тому же еще и женщины, не обладая гением, предположим, Шекспира, то я прерываю эту тему и перехожу к другой, не менее важной, которую можно условно обозначить латинским выражением «Нон румпо дибалли».

3.

Так вот, раскрылась эта тема, а вернее, зачалась, в километре от описываемой выше шахты, в школе весьма средней, серого цвета, в которой ученики и преподаватели жили скопом, извините за выражение, каганатом, потому что в школе было еще и общежитие учителей, которое странным образом переходило в классы, так что на перемене в большом коридоре можно было обнаружить сушившуюся на верев-

ке, пардон, распашонку, а то еще чего и похуже, какой-нибудь предмет женского туалета, глядя на который хотелось сказать только одно слово: «Каганат. Натуральный каганат, и все тут!»

Но если это и был каганат, то лучи истины, лучи правды, добра, прогресса все равно пробивали заскорузлые стены и персонафицировались в лице директора, росту в котором было метр восемьдесят без кепки, а с кепкой и того выше. А приплюсуйте сюда бороду, вечно загорелое лицо, папиросы, которые он скручивал из газет и набивал самым дорогим, по тем временам, табаком, то и получится не директор, а геолог, а может быть, не геолог, а полярник, а если точнее, то Хемингуэй.

Я вижу, как сидит он в своем полутемном кабинете, как за окном воеет пурга (неважно, что наступил май, — у него всегда за окном пурга). Радиоприемник, который он сам собрал из обломков полярной рации, включен на пониженную громкость, и оттуда слышится не музыка, не новости о Хрущеве, посетившем славный колхоз «Партизан», а какой-то неразборчивый сигнал: пи, пи, пи... А что он означает, не нам судить, ибо сказано: не судите, а мы уже успели всех походя как бы и обругать.

— Стихия! — говорит он, глядя в черное окно. — Люблю!..

А в учительскую между тем вползла пухлая старуха с косою русою до пят. Конечно, эта коса была собрана на затылке удавом, но если бы она освободила эту косу, вы бы не то сказали, не то! Но поскольку говорите не вы, а я, то описание косы на этом прервется, ибо не в косе дело, а в том, что старуха была красива красотой печеного яблока и преподавала, к тому же, русский язык.

— Я к вам! — выдохнула она, увидев директора в клубах дыма, который концентрировал его собственные мысли, но мешал мыслить другим.

Беззвучно, по-житейски скупое, он указал ей рукою на стул:

— Прошу, пани, — потому что был в душе поляк. Вы только подумайте, ко всему прочему еще и поляк!

— Не могу я, — сказала печеная девушка с косой. — Не получается!..

— Это у вас, с сорокалетним стажем? — поинтересовался он между прочим, как Ленин в свое время поинтересовался бы какой-нибудь чепухой у Сокольниковых.

— Я же преподаю русский язык, русский! — горестно произнесла она. — А он мне... Нет! Сами посмотрите!

И выложила перед директором тетрадку наивного цвета.

Он с брезгливостью, как если бы брал в руки раздавленную лягушку, пролистал ее содержание. Вдруг одна фраза привлекла его рассеянное внимание.

— Нон румпо дибалли? — спросил он с удивлением. — Нон румпо дибалли?

— Где? — И печеная дева вытянула вперед свою античную головку.

— Да, — подтвердила она, увидев написанное. — Сейчас... Переведем!

И полезла в сумку за итало-русским словарем.

— Не крутите мне яйца, — сказал директор как о само собой разумеющемся.

Дева здесь опешила, ступевалась, ибо площадную брань слышала в этом кабинете впервые.

— Не крутите мне яйца! — с упорством маньяка повторил Хемингуэй. — Это здесь написано: не крутите мне яйца, — пояснил он, указывая в тетрадь, — в прямом переводе.

Учительница всхлипнула. Крупная слеза упала из ее глаз на итало-русский словарь.

— Нужно ломать! — сказал директор, поднимаясь. — Нужно ломать!..

Он с тревогой уставился в черное окно. — Мороз, — произнес он с тоской. — Ледокол. Консервы съедены. Собаки...

И, в подтверждение его слов, где-то в темноте раздался короткий низкий гудок, будто и в самом деле большой пароход подплывал к школе.

Опомнившись, директор тряхнул головой.

— Хорошо! Что в подтексте?

— В подтексте сочинение о том, как я хочу провести лето, — объяснила учительница. — Я думала, — добавила она, — он напишет про пионерский лагерь, про вечерний костер, про военную игру «Зарница»...

— В подтексте! В подтексте! — возвысил голос директор, да так, что вода в захватанном графине качнулась и булькнула.

— Что? — опешила печеная дева, которая все еще не могла привыкнуть, что директор у них, между прочим, структурлист.

— Вот, — и он ткнул папироской в портрет Хемингуэя, что висел рядом с портретом Дзержинского. — Ничего не пишет впрямую. Ничего! А как же тогда?

— Как? — переспросила дева, в самом деле увлеченная ходом витиеватой мысли.

— Он все в подтекст увел! — И голос директора дрогнул от торжества. — А наверху: здарсьте, до свидания, хмы да ха-ха!..

— А-а... — поняла учительница. — Вы из-

вините, Энгр Георгиевич, но я не читала.

— Читать, читать! — упрямо, по-бычьей настоял Энгр. — Из контекста выводить подтекст, и далее, за собоковую параллель!

— Он хочет искать подземный город... — выдохнула учительница, как выдыхают признание перед казнью. — Он говорит, что от наших шахт до самой Москвы идет подземный город, населенный... черт знает чем! А итальянский он не знает! Ни капельки! Я поглядела... У него все слова с ошибками написаны! Я...

Она вдруг остановилась, пораженная реакцией Энгра Георгиевича. Плечи его тряслись. Весь колючий полярный свитер, связанный из шерсти горящего кобеля Насти, ходил ходуном. Лицо побагровело, как багровеет светило, собираясь на покой. Смеялся он, что ли?

— Семенов?! Се-ме-нов?! — булькнуло внутри у этого чайника.

— Семенов, — угрюмо согласилась печеная дева.

Директор залпом осушил полграфина.

— Значит, так, — произнес он, овладев собою, — в контексте — город, а в подтексте?..

— В подтексте — двойка за полугодие.

— В подтексте — УО, — уточнил он, — МДП, ПТУ. Лепрозорий.

Чувствуя, что сейчас принимается ужасное решение, печеная дева внутренне попятилась.

— Но он неглупый... Неглупый мальчик... Может быть, в порядке исключения, попросить его переписать... Поговорить...

Директор тем временем взял тетрадку за кончик угла, бросил ее в железный сейф и лягнул замком.

— Можете идти, — сказал он. — Мне нужно сосредоточиться. Держите...

И он протянул ей свою полярную руку. Дева пожала ее с тоской и ушла, не поднимая головы, может быть, коса на затылке заставила ее шею согнуться.

Когда дверь за девой плотно закрылась, Энгр Георгиевич достал из письменного стола ракетницу. Отворив окно, выстрелил в воздух.

Ветер ворвался в учительскую. Вверх поднялись отчеты, графики, разнарядки и доносы. Но директору было на это наплевать. Снег ложился ему на бороду и сразу же таял из-за необыкновенного жара, идущего от этого лица. Полярник знал: теперь самое страшное позади. Ледокол вплотную подошел к льдине, экспедиция была спасена.

Потому что нужно верить в людей, всегда и везде. Я так думаю.

К тому же, Дания — тюрьма. Это известно всем, но странно, хоть и известно, а мы ведь ничего не предпринимаем на этот счет, не освобождаем датчан, не обращаемся в международную амнистию. И школа — тюрьма, это тоже известно. К тому же более тесная, переполненная, так сказать. И если из этих двух зол выбрать меньшее, то лучше быть в Дании, а в школе не быть.

Так думал молодой повеса, сидя с ногами на унитазе. Курил он, ох как курил, засоряя свои двенадцатилетние легкие этой brutальной гадостью, после которой сплевывалось через каждые пару минут. Молодежь сейчас не та. Курит, пьет, но плюет мало. А в мое время плевали так, что по плевкам на мостовой находили дорогу в школу. Но это я не для того, чтобы нынешних укорить. Это к тому, что между поколениями лежит большая пропасть в миллион плевков, никак не меньше.

Докурил он, подбросил бычок так, что тот прилип к потолку, зачем-то спустил за собой воду, вышел в школьный коридор...

И тут же был пойман за руку печеной девой.

Но не сказал ничего, хоть был на две головы ее выше, даже позволил заломать себе руку, как какому-нибудь мозгляку, и был отведен по каменной лестнице мимо фикусов в кадке, мимо выцветших кумачей, поздравлявших школьников с началом нового учебного года, мимо тех же плевков, — наверх, на четвертый этаж, в частную квартиру под самой крышей, где и был брошен на диван с тоскливым выдохом:

— Двоечник!..

— Почему это? — спросил он, опомнившись.

— Потому что ты получил за сочинение двойку. Два очка. Один плюс один. Два балла на одного, — пояснила печеная дева.

— А-а-а... — наконец-то понял он, демонстрируя явное тугодумие. — А почему я получил два балла на одного?

— Это я у тебя должна спросить, почему ты получил два балла на одного.

— Но ведь это ты мне ставила.

— Но ты получил, — сказала печеная дева, демонстрируя знание формальной логики.

— Ладно, — произнес он, вставая с дивана, — пойду-ка я погуляю.

— Ты никуда не пойдешь, Семенов! Никуда! Готовь обед, потом разбирай пред-

ложение, где подлежащее, где сказуемое, а где — второстепенные члены.

Вздыхнув, он решил подчиниться, пошел на кухню, достал картошки, которая хранилась в мешке под раковиной. Стал ее чистить, ворча под нос:

— У всех — жизнь как жизнь. А у меня — второстепенные члены...

А бабка между тем пошла в свою комнату, большую часть которой занимали платяной шкаф и трехстворчатое зеркало из красного дерева с выложенными под ним коробочками вазелина, глядя на которые вспоминалось глухое бархатное слово: «Будуар!»

Одевшись в халат, дева села напротив зеркала, распустила косу и начала ее расчесывать. Волосы были толстыми, прямыми, с почти незаметной сединой. Расческа шла по ним тяжело, с усилием, как трактор идет по весенней пашне. Из-под зубьев летели искры.

— Мама, мама! — внезапно послышался из прихожей возбужденный крик.

Расческа выпала из ее рук. Запахивая халат на пышной груди, дева побежала к входной двери.

На резиновом половике, бессильно опустив руки по швам, вся грязная, опущенная, с угловатыми разводами на лице, стояла та самая низкорослая женщина, которая несла за писателем красную папку.

— Баста! — выдохнула она. — Завалило.

— Ой! — только и смогла сказать дева и опустилась на деревянный ящик с обувью, потому что ноги ей отказали. — Совсем завалило?

— Совсем, — подтвердила женщина, — пополам и вдребезги.

— Да, — произнесла бабка, — большой талант был.

— А не надо под землю лазить, — неожиданно агрессивно произнесла дочь. — Я ему говорила, что так кончится. А он все отмахивался... Думал, что я его буду вытаскивать!

— Что же... Завалило — и Царство Небесное. Человек смертен, — произнесла бабка, приходя в себя.

— Как это, Царство Небесное? А мы на что жить будем? Вот люди! — вздохнула дочь, скидывая босоножки. — Ничего знать не хотят. Жизнь для них — пустяк, недоразумение, а как на паперти стоять — так нет, и не проси... А ведь придется. Все по миру теперь пойдём!..

По поводу Царствия Небесного это она правильно сказала, об этом всегда нужно помнить. А есть ведь еще и другое, арунгвильта-прана, например. Как с арунгвильтой-то быть?

— Что у Фили? — спросила Вулена Петровна из ванной, невнимательно прислушиваясь к сладкому треску жареной картошки, что вместе с дымом заползал во все поры их неказистой квартиры.

— По-старому. Два,— скупо отозвалась бабка, защепляя волосы заколкой.

— Неприятный какой-то день,— рассудила вслух Вулена.— Одного завалило, второй двойку получил...

Но вышла из ванной оттаявшей, несколько даже румяной и сравнялась своим поздоровевшим видом с печеной девой.

Филипп тем временем накладывал в тарелки жареной картошки. Вулена Петровна чмокнула его в щеку, но, отпробовав первый кусочек, помрачнела, насупилась.

— Что ты получил за сочинение?

Филипп сделал вид, что не может прожевать пережаренный кусок. Бабка нервно вздохнула и устала в тарелку.

— Я слышала, что оценка... невысокая,— с трудом подбирая слова, пробормотала мать.

— Да,— подтвердила бабка с какой-то скрытой гордостью.

— Но ведь могла бы быть и ниже,— предположил Филипп и, заметив мы, совершенно логично предположил.

— Значит, два,— удовлетворенно вывела Вулена Петровна и отложила вилку в сторону.

— Да,— согласился сын.

— Сколько? Я что-то не слышу,— сказала мать.

— Ну двойка... Два очка.

— Не слышу. Громче! — потребовала она.

Сын на это показал ей два пальца, чтоб уж не было никаких сомнений. Вулена Петровна вытащила из замшевого мешочка очки и внимательно уставилась на этот знак, напоминавший то ли викторию, то ли заячьи уши.

— Двойка? — переспросила она, как бы не веря.

— Пара! — закричал Филипп, теряя терпение.

И прорвал этим криком плотину.

— Вон! — вскричала мать.— Вон!! Чтоб духу твоего не было в этом доме!!

Волны мутного Нила хлынули в цветущую долину. Филипп отскочил в сторону, как бильярдный шар.

— Двоечник!! Двоечник!! Мама! Да что же это делается?!

Это была смыта волнами Нила какая-то достойная цивилизация, ну, предположим, нубийская.

— Два балла! И всего лишь — на одного человека! Вон!!

С дымящейся сковородкой, к днищу которой прилипли пережаренные остатки, сын выбежал на кухню, сунул сковородку под струю воды, чтобы она оттаяла, и начал быстро надевать в прихожей ботинки.

— Что у тебя с обувью?! Где ты был?! Во что превратил ты новые ботинки?! Эти ботинки ты носишь только год...

— Два,— уточнил сын.

— Опять два?! Раздевайся! Никуда ты не пойдешь!

Это была смыта волнами мутного Нила последняя египетская пирамида.

Филипп покорно разделся.

— В угол! На полтора часа! — скомандовала мать.

Для гарантии, чтобы ничего не сорвалось, она насильно взяла его за руку и поставила, длинного, нелепого и сутуловатого, в большую комнату, за телевизор, поближе к грязным, вечно засыхающим цветам.

Вытерла пот со лба, дунула на упавшую прядь волос и с сознанием выполненного долга, с чувством разрядившейся электрической батареи ушла в свой кабинет, вернее, в выгородку, которая была отделена от всего остального пространства тонкой фанерной стеной.

Села за письменный стол. Снова дунула на прядь, что норовила залезть ей в самый рот.

Воды мутного Нила спали и ушли в песок.

Но все равно, она была раздражена. Что-то не клеилось, не соединялось. И будущее представилось вдруг ужом, который выскальзывает из рук, оставляя на ладонях мерзкую слизь.

Она забарабанила пальцами по большой синей папке. В ней лежал черновой вариант пьесы «Весеннее половодье», автор которой находился теперь, против своей воли, глубоко под землей.

Вулена Петровна закурила. Это были длинные слабые сигареты без фильтра, носившие соответственное название «Фемина». Теперь уже таких сигарет нету. Они исчезли вместе с последней белой и чуть раньше, чем исчезли консервированная кукуруза и леденцы в круглых железных коробочках.

Открыла шкаф... Боже мой! Сколько рукописей, сколько документов! Нет, похороненный под землей был все-таки хуже Гоголя. Тот, во всяком случае, все за собою сжигал, потому что боролся за чистоту и был брезглив. А этот, наоборот, сохранял и прищипливал всякую дичь, например, приветствие пионерской организации по случаю сорокалетнего служе-

ния литературе и свой, на это приветствие, ответ.

Гоголь, например, и это бы сжег. Но зато секретарша при том же Гоголе умирала бы от скуки. Может, только бы Италия ее развеселила, если бы классик взял ее с собой... А если не взял?...

Все эти смутные мысли промелькнули в голове у Вулены Петровны стремительно. Она не отдала даже себе отчета в том, что к Гоголю в эти мгновения отнеслась с гадливой жалостью, будто он от нее извечно зависел, будто она сама знала, что Гоголю важнее и чем именно кончать второй том «Мертвых душ».

Но мгновения унеслись и сгнули в черной дыре, куда улетает все. Окидывая взглядом бесконечные папки, она внезапно ощутила себя богатой. При трезвом уме и твердой памяти все эти бумажки можно было бы обрратить себе на пользу. Если, конечно, погрешенный писатель не воскреснет из мертвых.

Она вдруг улыбулась впервые за этот суматошный день. Ей представилось, как он входит к ним в дом полумертвый, а она обнимает и плачет от радости у него на плече. Вероятность такого оборота была совершенно мала. И это прибавило ее улыбке какую-то особую сокровенность.

5.

По поводу же арунгвильты-праны и всяких других штук я бы хотел отметить, что хотя эти штуки невидимы, то есть пребывают в мире идеальных эйдосов, то здесь, так сказать, в пещере, куда заброшены мы по воле Планетарного Логоса, пути которого, как известно, неисповедимы, то есть немыслимы и являются вещами в себе, то есть трансцендентными, закрытыми, непознаваемыми, и только один человек в мире, имя которому Маркс, старался превратить эти вещи в себе в вещи для себя, но которые, между прочим, мстили за такое к себе отношение...

То есть душно в этой пещере. Как-то сперто. Воняет капустой, будто в детском саду. И никакая арунгвильта-прана не ощущается. Вот, собственно говоря, и все, что я хотел сказать по этому поводу.

Хорошо, что еще на свете есть минеры. Есть мазут, запах бензина, который так приятно нюхать в детстве, горюче-смазочные материалы, промасленная ветошь и тяжелые железные колеса, которые оставляют в почве неизбывный археологический след.

Они приехали, эти минеры, со всей сво-

ей аппаратурой, с гарью, от которой щипало в носу, но от одного их вида хотелось вытянуться по струночке, утром следующего дня.

Заложили в завал взрывчатку, оцепили живым кольцом круг диаметром этак в полкилометра. Конечно, понаехала милиция, люди в штатском, которые, по своему обыкновению, никого не впускали и не выпускали. Одна лишь Вулена Петровна, как особа приближенная к заживо шхороненному, мерила песок нервными шагами и потягивала свои сигареты «Фемина».

Мальчишки, эти продувные бестии, эти взъерошенные воробьи с откусанными крыльями, то и дело прорывали цепь и старались залететь в самое нутро, чуть ли не к самой взрывчатке, но взрослые, урча и чертыхаясь, хватали их на самом краю от погубели.

А вот девочкам все было до фени. Инстинкт продолжения рода, неотчетливо игравший в молодых жилах, гнал их подальше от всякой мертвечины, и они проходили мимо, спеша по своим делам. Лишь тревожно оглядывались, подобно жене Лота, когда кордон оставался позади.

Ведь на свете есть дела поважнее мертвцов. Например, филателия. Марки с загнутыми углами, марки рваные, склеенные с изнанки канцелярским клеем, марки отмоченные и размытые, потерявшие товарный вид, марки неизвестных стран, которых и не сыщешь на карте, марки, даже непохожие на марки, а похожие на какие-то плевки, осколки черт знает чего... Чего и не было никогда на земле.

Она и несла сейчас с собой такую марку. И была счастлива от того, что она ее похвалит, а потом, вместе с нею, растелит на полу географическую карту и будет искать неизвестную страну со старой дореволюционной лупой, вынимаемой из специальной деревянной коробочки.

И скорее всего, не найдет этой таинственной страны.

Она, худощавая и ледащая, с короткой стрижкой и прыщами на лице, похожая на мальчишку в юбке, с грязноватыми шерстяными чулками с дыркой под левой коленкой, с когда-то белыми босоножками, которые будто приросли к ее ногам и зимой, и летом, прошмыгнула в школу, которая по случаю воскресного дня была тиха, как река на закате, поднялась на четвертый этаж...

Дверь квартиры оказалась, как всегда, незапертой. Не позвонив и не постучав, девочка, которую звали из-за ее мужеподобного вида Петя-Лена, прошмыгнула в прихожую. Никого... В нос ударил едкий за-

пах краски. В большой комнате спиной к ней стоял Филипп и красил кистью подоконник.

- Привет!
- Привет!
- Чего ты?
- Марку принесла!
- Какую?
- Хорошую.
- Давай сюда.

Петя-Лена достала из кармана вязаной кофточки промокашку, сложенную вдвое. Семенов вытер руки о штаны и склонился над промокашкой, вытянув тощую шею. Внутри оказалась марка в довольно скверном состоянии. Верхний правый угол был оборван. В центре, который изображал каменный рельеф неизвестной местности, расплылось рыжее пятно клея. Только человеческий профиль в правом верхнем углу был более или менее ясным: мужское лицо, лишенное приятности, выдающийся вперед подбородок, хищный нос с необыкновенным горбом. Какой-то тюрбан на голове, в общем мрак...

— Король,— предположила Петя-Лена.

— Это хорошо,— сказал Семенов,— у нас теперь их три.

Из шкафа он достал альбом. На специально отведенной странице за прозрачными полосками целлофана, как за окнами электрички, виднелись те же два одинаковых профиля. Пейзаж за ними был столь же каменный, однако другого цвета и рельефа. Штатп неразборчив. Имя страны отсутствовало.

Семенов взял из ящика лупу и внимательно рассмотрел новую марку, сравнивая ее с уже имеющимися.

— Это не карта,— сказал он,— это разные части какого-то плоскогорья...

Подумав, он поместил новую марку между двумя старыми, потом — над ними...

— Чего ты думаешь?

— Неба,— сказала Петя-Лена,— неба не хватает.

— А по-моему, подножья,— предположил Филипп.— А если так?..

И он переместил новую марку вниз.

— Нет. Тоже не получается.

— Нужно искать,— настояла она,— еще две-три марки, и пейзаж будет полным, вот увидишь!

— Неба не должно быть,— ответил Филипп своим мыслям.— Вот увидишь, не будет неба. Не найдем.

— А если...— начала Петя-Лена, но договорить не успела.

Грохот и лязг потряс квартиру. Посуда в буфете бросилась на волю. В лицо ударил весенний ветер. Вихрь вынес из вы-

городки кучу бумаги, и она поднялась вверх, с гомоном голубиной стаи.

Что произошло дальше в этой квартире, совершенно погружено в тайну.

6.

Но зато доподлинно известно, что Вулена Петровна возвращалась домой с сознанием выполненного долга. Она не возвращалась, нет, летела, не касаясь земли ногами. Так усталая птица прилетает вечером в свое гнездо. Так Наполеон, думаю, с таким же точно лицом начинал свои веселые сто дней.

Ее везли на бронетранспортере, но не внутри, а снаружи, на носу, подобно русалке какого-нибудь пиратского фрегата. Взрыв был произведен. Порода разрушилась, открывая дорогу в шахту. Однако писатель найден не был.

Люди давали путь автоколонне и, увидев впереди Вулenu Петровну с развевающимися по ветру волосами, суеверно крестились.

Ее подвезли до школы. Помахав солдатам руками, она скрылась в парадном входе.

Дома увидела следующее: небо хлынуло в их квартиру через дыру в потолке. Стекла были выбиты. Повсюду порхали черновики покойного литератора, и Филя проворно ловил их большим сачком и записывал в папку.

«Так жить нельзя»,— могла бы подумать Вулена Петровна, если бы жила в наше время.

Но во времена прошлого так не думали. Не думали также о том, какая дорога ведет к Храму. Кому на Руси жить хорошо. Почему то, что немцу годится, для русского смерть. Консенсуса не искали. Сионизма не ведали. Но почему-то из каждого положения находили приемлемый выход.

7.

Он зарезал сам себя,
Веселый разговор!

Слышу его песню, и кровь стынет в жилах. Да, это он. Кожаный ремень. Потертые галифе в коротких обрезанных сапогах. Бреется обломком шашки. Бреется каждый день, глядясь в осколок походного зеркала. Но почему-то всегда небрит. Фатер!..

Он зарезал сам себя,
Веселый разговор!

Фатеры бывают двух сортов: те, что носят пижаму, и те, что носят галифе. Других фатеров нет — есть только отчимы. Те, кто носят пижаму, обыкновенно читают перед сном «Вечернюю Москву». Они полосаты, будто смотришь через расческу. Потягивают чай из граненных стаканов, опущенных в железные подстаканники. Оттого кажется, что они вечно сидят в железнодорожном вагоне, вечно куда-то едут, но ведут себя тем не менее неторопливо, чай пьют крупными глотками с кусками сахара вприкуску. Щурятся и пускают по лбу складку. Называют сына... ну, к примеру, дружище. «Дружище! Ты не знаешь, что такое жизнь!» или «Дружище! Как тебя зовут? Я что-то забывал...» Душатся шипром. На щеке играет неяркий румянец. И едут, едут. В самом деле, едут. От ночи до дня, от рождения до смерти.

Другие, которые носят галифе и бирюзовую майку, пропахшую махоркой, никуда никогда не едут, а, напротив, меряют комнату крупными шагами. Потому что они укоренены. Потому что ветер, вечно вылетающий из всяких щелей, не поддувает их снизу, потому что галифе заправлены в сапоги. Когда они прислоняются затылком к стене, то на обоях остается туманное пятно. Ибо в голове много мыслей. Все они сварены вкрутую, как яйцо, и выходят изо рта какими-то непроваренными сгустками. Пальцы, сжимаясь в кулак, трещат. Иногда из кончика глаза капнет слеза, но тут же пропадет. Потому и называется она скупой и стоит дороже алмаза. Хоть майка и пахнет махоркой, да и вообще он весь пахнет, но от этого не становится противно, потому что пахнут ведь многие полезные вещи, например, соленые огурцы.

Фатер! Мне страшно жить без тебя!..

Он зарезал сам себя,
Веселый разговор!..

На шашке оставалась мыльная пена. Ему казалось, что в осколке зеркала (хотя что стоило купить ему обыкновенное, круглое? Или хотя бы украсть?) отражаются степи, табуны лошадей, трепещущие на ветру юбки и исподнее.

Шашка дана для того, чтобы его рубить. Табуны, чтобы их седлать. Исподнее, чтобы заголять. Бабы, чтобы крыть. Но голова... Голова, чтоб мозговать. Допереть. Дотумкать до конца хотя бы одну мысль, одну горькую думу, один несчастный вопрос. Но что эта за дума, что за вопрос? Нету времени, чтоб дотумкать, нет возможности, чтоб домозговать. Мозг съе-

ден действиями, загнан куда-то внутрь сухими мускулами. Сабля натирает ладонь до волдырей. Фатер!..

Он зарезал сам себя,
Веселый разговор!..

Как бы, вы думали, поведет себя этот тип, этот Н. Н. Крабов, если, положим, на его жилую площадь кто-нибудь покусится? Схватится за шашку? Подавит пришельцев усилием мысли? Позовет дружанов? Как бы не так... Будет долго хлопать глазами, только и всего. Ибо свойство этих людей — не совпадать с действительностью, ибо часы окружающей их действительности шелкают посекундно, а их собственные внутренние часы то громят, как заблудившийся трамвай, то молчат, как папоротник. То-то и оно! То-то и оно!..

Хлопнула дверь. Бритва сделала рывок и подрезала очередной газон щетины. В комнате стояли две совершенно незнакомые женщины с тюками и один переросток, под потолок, лет двенадцати, с длинными бесполезными руками и дурацкой улыбкой.

И здесь Н. Н. Крабов открыл рот. Казалось бы, галифе на нем. И татуировки на нем. И соски протерты до потемневших орден. А рот открыл. До того открыл, что хоть гнездо внутри вей.

— Да замолчи ты, алкоголик! — на всякий случай прикрикнула на него Вулена Петровна, хоть Н. Н. Крабов, заметим походя, и не собирался ничего говорить.

— Довел квартиру черт знает до чего! — сказала она, начав распаковывать сумки. — Кругом грязь и блевотина. Выселить тебя к черту. На сто первый километр. С глаз долой.

Н. Н. Крабов, по-прежнему моргая глазами, вытер со щек мыльную пену. Что ему меркалось, в этих глазах? Что чернелось?

— Тряпки, тряпки... Да чего вы делаете, мама? Здесь же окно? Здесь же рукопись намкнул! Нужно их — в шкаф. А это — к черту!

И Вулена Петровна начала вытряхивать из шифоньера разную дичь — ремни без пряжек, пиджаки без пуговиц, пустые бутылки и целую кучу спичечных коробков.

Как лунатик, как сомнамбула профессора Калигари, Н. Н. Крабов подошел к женщине вплотную, пытливо заглянул в глаза.

Пальцы его сухо хрустнули оттого, что крепко сжали руюкать шашки.

— Зарублю!! — вдруг дико закричал он.— Зарублю к чертовой матери!

И занес шашку над головой Вулены.

— Руби!! — заорала Вулена Петровна.— Руби, дьявол!!

Слюна брызнула из ее губ. В голове что-то перемешалось, какой-то винтик соскочил с нарезки, она вдруг выставила вперед долговогозого Филиппа и закрылась им, как живым щитом.

— Да не меня! Его руби!! А потом — меня руби! Я без него жить не буду!! Всех руби, всех!

— Кого? — не понял Н. Н. Крабов, тупо думая про то, куда должна стечь пролившаяся кровь. Если в таз, то его надобно нести из ванной. Если на пол, то тогда протечет к соседям.

— Кого?! Кого?! — передразнила его Вулена.— Сынка своего, орленка пучеглазого! Орлика, орла!!

— Орла? — удивился Н. Н. Крабов и опустил свою шашку.— Этого?

— Этого! — подтвердила Вулена.

— Это... Это что такое? Не верю! Не верю!! — хрипло отрезал Крабов, против своей воли цитируя К. С. Станиславского.

А К. С. Станиславский, как известно, частенько выговаривал эту фразу «Не верю», например, когда Немирович общался ему, что в буфет привезли вяленую рыбу. Этим оба и вошли в историю.

Здесь раздался короткий удар. С таким звуком вылетает из «Шампанского» пробка. То печеная дева ударила по затылку Н. Н. Крабова писательской папкой.

Это было кстати. Благодаря короткому болезненному удару, внутреннее время Крабова, его, если выражаться по-народному, биологический ритм совпал, наконец, с ритмом объективной действительности, данной нам в пяти чувствах и существующей независимо от воли всяких там винтиков и гаечек из человеков, вот так я скажу.

Совпал. И мерекаться перестало. И мозг стал дышать, биться, как сердце. И мысль, содрогнувшаяся от удара, пошла.

— Сын! — сказал он проникновенно.— Сын... Как его зовут? — повернулся он к Вулене.

— Как, как... Сам, что ли, не знаешь, как... — ответила она с раздражением.

Однако раздражение было слегка наигранным. От избытка чувств она сама запомнила имя собственного сына.

— Антон! — вскричал Крабов.

— Филипп, — подкасал Семенов.

— Филя! — поправился Николай Николаевич.— В армии служил?

— Не успел, нет.

— Надо. Кавалерия. Лошади. Копчта. Навоз!

И Н. Н. Крабов крепко обнял сына.

— Уделяй время физической подготовке, — продолжил он, переходя на деловой тон.— Турник, плаванье. Легкий бег. И не гуляй! Не гуляй, говорю. А то, небось, одни девки на уме? Бабочки-капустницы? Рестораны с расстегаями? Интеллигенция?

— Интеллигенция, интеллигенция, — раздраженно пробурчала Вулена Петровна, рассовывая повсюду свои папки.

— Интеллигенция, — сразу помрачнел Крабов, — артисты, писатели.

Глаза его посинели, затуманились. На лице заиграли желваки.

— С ними вот что, вот что, слышишь?

— Ну? — переспросил Филипп, ничего не понимая.

— Вот что!! — закричал Н. Н. Крабов, напрягая руку так, что на ней обозначились все его бицепсы и трицепсы.— Давить! Давить сук. Ненавижу! Ненавижу! Они у меня жену увели.

— Да ладно тебе, хулиган, — миролюбиво произнесла Вулена, — тебе бы только с волками выть. На сто первом километре. А не с культурными людьми общаться.

— А где сто первый километр?! — подскочил он к ней, блестя глазами, как брызгами того же «Шампанского». — Где он? Здесь и таблички нет — сто первый километр. Сразу с двухсотого начинается. А далее — Сибирь!

Но здесь снова раздался короткий глухой удар — то печеная дева опять ударила его папкой. Ежик волос поднялся дыбом. Очи сдулись, как шины. Мозг, распрямившись, превратился в слизь.

Н. Н. Крабов начал потерянно озираться, будто был без штанов или потерял любимую собаку. В самом деле, комната его изменилась до неузнаваемости. Кругом лежали рукописи и папки. Даже на кровати лежали папки. Даже под столом свернулись рукописи. И ни одна из них не горела.

— Это чего такое? — спросил Крабов на ухо, отводя сына в угол.— Это кто ж такие? Татары?

— Татары, — подтвердил Филипп.— Это, как я понимаю, жена твоя.

— Да ну? — не поверил Николай Николаевич и сально захохотал.— Брось, — прервал он свой смех, — какая жена? Татары они и есть татары.

— Ну татары, — подтвердил Филипп со скукой, потому что диалог начал его утомлять.— А тебе-то что?

— Да нет. Ничего,— ретировался отец.— Это я так. К слову. Мы все, в общем-то татары. И я татарин, если смотреть в корень. Хорошо еще, что не еврей.

— А еврей, значит, не люди,— прохрихтела Вулена, засовывая на шкаф самую большую папку.

— А ну вас к шуту! — сказал отец в сердцах.— Даже пикнуть нельзя! Ничего не понимаю. Ни-че-го-шень-ки! Все. Амба.

И пошел на кухню попить водички. Ледяная вода, хлещущая из крана, привела его в чувство. От этой струи разбежались по раковине тараканы, которые до этого мирно говорили о чем-то со стоком. По вискам бежали ледяные капли. Капало с носа. Под подбородком уже висела сосулька.

Вытерев лицо куском половой тряпки, Н. Н. Крабов сел на табурет и начал сворачивать самокрутку.

— Влип я,— шептал он себе под нос,— ох, как влип!..

И был, между прочим, совершенно прав.

Отношения с женщинами в основном затруднены тем, что ими, женщинами, надобно обладать. Если, положим, ты не обладаешь женщинами, а обладаешь, к примеру, благородством или острым, как скальпель, аналитизмом, то тебе это с рук не сойдет, не простят тебе, и в доме, как говорили раньше в семьях, откажут.

А если, положим, ты обладаешь одной женщиной или обладаешь сразу тремя-четырьмя и обладаешь к тому же острым, как скальпель, аналитизмом, утонченной психикой, тем же благородством, то тебе все равно откажут в доме, как говорили раньше в семьях. Так что все равно обладаешь ты женщинами или не обладаешь, конец один. Будешь выгнан, подлец, на улицу.

Но бывает и хуже. Не выгнан, подлец, на улицу, а к тебе самому, подлецу, пришли жить. Едят из твоей же тарелки. Пользуются твоим же бельем. И требуют подспудно все того же. Ну да, я и говорю. Тут никакой острый, как скальпель, аналитизм не поможет. И дилемка эта никакому Гамлету не по плечу.

Но я не хочу, чтобы ели из моей тарелки, не хочу. У меня этой тарелки даже нет, разбила ее. Я хочу, чтобы все жили хорошо, предположим, без обладания, но, допустим, со структурализмом, с религиозным персонализмом, а то получается черт знает что, какие-то белые братья

в тюрбанах, какой-то венеризм и изломанная психика, больше ничего.

Ну, лежали все они в одной постели. Ну, делали вид, что спали, что из того? Ну, бабка да Ф. Семенов делали вид по-настоящему, то есть, бодрствуя душевно, спали физически. А эти, что с краю легли между писательских папок, наоборот поступали, то есть физически бодрствовали, а душевно наоборот, не тянули пока, не дотумкали.

Вулена Петровна дышала глубоко, как могла, одеяло вздымалось, как качели, а Н. Н. Крабов тосковал и с тоски полез обыскивать свою жену.

— Давно по голове не получал? — спросила сквозь сон бабка.

— Дура,— сказал Крабов в сердцах.

— Убийца,— заметила Вулена Петровна.— Всех нас убил.

— Чего? Чем? Чем убил?..

— Некультурностью своей, вот чем,— подобрала наконец слово жена.— До чего мать довел? Иуда. Она совсем помешалась. Двойки моему сыну ставит и ставит.

— Где? А, эта? — понял Н. Н. Крабов, заглядывая в лицо печеной деве.— Эта — нет. Я мать люблю, это мне не шей. Я падлой вербованной буду, землю козильную жрать буду, петухом на нарах, козлом перед вертухаем, сухой свороченной, тлей моченой, если мать предам. Я даже в детстве звал ее «мамо»,— выложил он последний аргумент.

— Потолок рухнул — из-за тебя,— сказала жена просто.

— Тю... Какой потолок?

— Такой. Денег не давал. Ремонт на что я делать буду? На писательские авансы?

— Ну, Вуля, слышь... Я сам — без потолка,— начал оправдываться муж,— без прикрытия. Ты ж знаешь, как было в лучшие годы. Снизу толкали, а сверху тянули. А теперь — дыра. Леха сгорел, Рубаша завязал, Боцман — в трюме. А я — на мели.

— Убийца,— не сдавалась жена, вбивая гвозди в запястья, чтобы лучше держался на кресте.— Сына упустил, сына!.. Он же у тебя...— она запнулась, подыскивая определение,— олигофрен... У него же памяти нет, он стишок про чудное мгновение, про белый парус выучить не может.

— А про дядю? — заинтересовался Крабов неожиданно.

— Про какого дядю? Степу?

— Да нет, про дядю. Скажи-ка дядя, а?..

— Замолчи! — заорала Вулена, теряя терпение.— Замолчи! Видеть тебя не могу, видеть... Вставай! — вдруг толкнула она Филиппа в бок.

Тот очумело вскочил и попытался разомкнуть веки своими длинными пальцами.

— Говори,— потребовала от него мать,— 19 июня!

— 19 июня,— отвечал Филипп, не просыпаясь,— восход солнца в 4.43. Заход в 22.20. Долгота дня 17.37...

— Куинджи...— потрясенно пробормотал отец, выражая этим странным словом высшую степень похвалы.

— Дальше! — приказала Вулена.

— Луна в первой четверти. 8.20. Заход 1.01. Восход 14.05.

— Так,— одобрила Вулена Петровна,— 30 августа.

— Восход солнца в 6.30. Заход в 20.31. Долгота дня 14.01. Луна в последней четверти. 1 сентября. Заход 13.02. Восход 21.17.

— Ай-я-яй,— закачал головой, схватившись за щеку, отец.— Ай-я-яй! Это ж... Это же не знаю, что такое! Это же Пеньковский! Летчик Пауэрс! Гений человечества...

— Кроме этого, он больше ничего не знает. Ноль. Нигил. Спать! — приказала Вулена сыну.

Тот, как загипнотизированный, не открывая глаз, рухнул на подушку.

— Не, ты погоди. Пусть он скажет, что 25 октября будет? В первой четверти, во второй... Мне это вот так надо,— и Крабов провел ладонью по шее.

— Возьми календарь и посмотри,— подсказала супруга.— А ему отдыхать надо, набраться сил... Спать.

И потом, после томительной паузы, после глухого провала в бредовый полусон, прошептала:

— Вы все хотите моей смерти! Все!..

На Н. Н. Крабова это последнее замечание не оказало ни малейшего действия. Он был раздавлен, смят, уличен. Спать он больше не мог. Пошел на кухню. Включил водопроводный кран на полную мощность, так что трубы загудели, как в «Англетере» при Есенине. И долго еще слышалось из черной глубины провальной квартиры:

— Это ж что... Это ж гений человечества!.. Ай-я-яй!.. Ай-я-яй!..

Но гении человечества часто отличаются от остальных негениев тем, что, например, стирают носки. Гладят белье. Варят каши. Травят тараканов. Готовят бульон.

Чехов травил тараканов, скажете, нет? Семашко, Тимирязев травили тараканов. Братья Черепановы стирали носки. Вернее, не носки, а портянки. А Келдыш? Спросите, что делал Келдыш! А вам ответят, объяснят. А вы все лезете со своей

нетленкой, со своей гениальной конъюнктурой. А я так скажу: кто не стирает носков, тот не гений, тот самая обыкновенная посредственность с надломленной психикой. Потому что только гений может отстирать носки до конца.

И он стирал. Стирал в начале восьмого. И варил, между прочим, кофе. Мне его не жалко, нет. Каждому свое, как выражаются артисты. Избрал этот путь, ну и иди куда глаза глядят, куда тебя ведет свободный ум. Потому что каждый путь приводит к истине, к трансцендентной сущности. А кто этого не понимает, пусть утрется и молчит в тряпочку.

Отец заглянул на кухню. Поддел клинком шашки один носок. Спросил просто, по-свойски, по-родственному:

— Ты что, Патрис Лумумба?

— Кто? — не понял Филипп, чихая.

— Кто-кто... — перездразнил его Крабов,— Манолис Глезос, вот кто.

— Я? Нет,— отрубил сын.

— Нет? А чего черный, чего черный? — подступился к нему Крабов.

Сын прижался к стене. Николай Николаевич подробно осмотрел его лицо, что-то хмыкнул, но, смирив воспитательную гордыню, как это частенько делал Макаренко, за что мы его любим до сих пор, и ФЭДы его работают исправно, а все оттого, что Макаренко наступал смирением, и смирял, наступая, вот, в общем, на этом пока и прервем фразу.

Сели они завтракать. Сидят, завтракают. Кашу едят. Трое едят. Один подает. Две женщины. Один мужчина. Он ест. Другой мужчина подает. Мужчина-подросток подает. Мужчина-мужчина ест. По-семейному. Между двух женщин. Одна ему мать. Другая жена. Две женщины и один мужчина. Другой мужчина подает. Трое едят. А всего их четверо.

И вдруг мужчина-мужчина, что ест, а не подает, вдруг говорит, то есть varejku раскрывает, в то время как хакает, и, между прочим, хакает что ни попадя:

— Это что такое?

Бывают, знаете ли, такие темные вкрапления в предметы, которые мы потребляем и с которыми, выражаясь простым языком, себя идентифицируем.

— Это что такое?!

Вулена поглядела в тарелку: ба! Хотя следовало бы сказать: чу! Итак, чу!

— Это что такое?!!

Из каши торчал носок.

— Не могу я,— сказал отец, поднимаясь,— не могу!!

Табуретка упала. Стол затрещал.

— Патриции, работорговцы! Палачи!..

— Это мы палачи?! — вскинулась на него жена.

— Душители свободы! — уточнил отец. — Вы что с малышом сделали? С мальчишкой моим? Ординарем?..

— Ах вот оно что! — сатанински усмехнулась Вулена и скрестила руки на груди. — Я этого ждала, ну, ну!

Чу!

— Из него мог бы выйти Достоевский, — сказал отец, — Ползунов, Вучетич!

— Ну-ну! — поощрила его жена. — Дальше!

Ба!

— За что мальчишку окрОВАВИЛИ?

— Сам ты мальчишка, — не выдержала печеная дева, — мальчишкой был, мальчишкой и остался.

— Хватит! — заорал Н. Н. Крабов. — Навоевались!..

Резким движением он поставил стол на ребро. Тот, секунду продержавшись на дьявольском острейшем равновесии, рухнул весь, как был, с мисками, посудой, кашей и кофе, рухнул тяжелее ньютонова яблока.

— Амба! За что Чапая утопили? За что Анку насиливали? Сволочи! Буржуины!

По лицу его катились горячие слезы. Пористая кожа дымилась.

— Вот это вот, — поднял он с пола рукопись, — из этого вот... Вот этим вот. — Он свернул рукопись в трубу и сделал ею несколько резких движений. — Все от этого... Вот.

В голове его что-то соскочило.

— Не могу! — повторил он снова.

Побросал в вещмешок, зеленый такой, с протертой материей, кусок мыла, железный короб с махрой, осколок зеркала, кусок шапки...

— Коля! — прошептала печеная дева. — На кого ты нас покидаешь?

И вдруг опустила свою тяжелую голову на руки.

— Не надо, мама, — сказала Вулена, — одумается, придет... Мы же его не выгоняем, — добавила она своим мыслям, — он сам уходит.

Отец открыл окно. Глотнул, как умирающий карп, воздуха. Окно выходило на крышу. Вылез и сразу стал больше. Подмигнул Филиппу. Сжал кулак до хруста. И бум-бум-бум... ушел, громяхая.

Как сказал поэт, антрацит похож на скопканную копирку в цитатах. Сказал, а никто не заметил. Ладно бы, антрацита не заметили, не просекли, а то ведь самого поэта с этим антрацитом смешали, и он

до сих пор вынужден поправлять свое здоровье в одном из отвратительных городищ дальнего зарубежья.

Я говорю к тому, что неохота мне описывать антрацит. Скажу только, что поднимали этот кусок на специальной лебедке, и был там не один антрацит и не одни цитаты, потому что веса он был неимоверного, размера огромного, такого, что там бы уместилось десять писателей и один поэт, однако предполагалось, что писатель там только один, что он заперт в этом куске, как джинн, и даже подает изнутри разные сигналы, стуки, скрежет и вроде бы даже свистки. А это было ни к чему, потому что к тому времени уже возник смутный слухок о некоей тени, которая выходит из шахты, как нож из чехла.

А когда спрашивается, тени не выходили? Солнца нет, погода хуже, чем в Сыктывкаре, луны не видно, ветер дует, будто из чьей-то головы, а тени никуда не разлетаются, ходят-бродят, несут околесицу, и зарубежный принц сходит с ума, бородатый царь неудачно дает нищему копеечку, на стенах возникает неприличная надпись «мене, мене, текел, фарес», а Сталин груб и неоялен. Мрак.

А кусище этот, к тому времени, пока мы сбивчиво говорили о тенях, но не ради их самих, а чтобы угодить некоторым светлым личностям, например, Платону, так вот, кусище этот при помощи раскрытой варежки экскаватора опустили прямо к ногам Вулены Петровны Семеновой, которая пришла на эксгумацию трупа в кожаной куртке со следами когтей, в какой-то круглой шапочке, напоминающей летный шлем, а больше, в чем она пришла, описывать не собираюсь, сколько бы вы меня ни просили. Потому что писали классики: «Вошел граф в чулках и башмаках», а больше ничего не писали, а классиками назывались.

Кругом нее стояли солдаты с железными ломami и отбойными молотками, в чулках и башмаках. Был еще офицер с пистолетом и натруженными, как у дворянги, глазами, в чулках и башмаках. Стояли люди кругом, простые рабочие люди в чулках и башмаках, и только корреспондент местной газеты стоял в одних чулках, но без башмаков, а куда он их дел, эти башмаки, о том нам не ведано, о том у классиков спросите. И вообще, не лезьте не в свое дело, вот.

Вулена Петровна, отбросив в сторону папироску, прижалась щекой к породе, приложила ухо к черной извилине куска, прислушалась. Тень пролетела по ее лицу.

— Да,— сказала она,— я слышу. Что?..
Всё, что было в природе, застыло и превратилось в слух.

— Газированная,— прошептала она,— с пузырьками, ударяющими в нос...

На глаза навернулись слезы.

— Пить хочет,— сказала она солдатам.

И все облегченно вздохнули, разрядились, вылились, и по рядам понеслось: «Пить хочет... Пить... Пить, говоришь? Да, да, пить...» И неслось бы вечно, неслось бы до сих пор, в прошлом бы году неслось, и в этом бы словом отозвалось, если бы режиссер не сделал бы отмашку, и массовка заткнулась.

— Давайте! — сказала Вулена.— Давайте же!

И махнула рукой. Офицер, с натруженными, как у дворняги, глазами, в чулках и башмаках, выстрелил из ракетницы.

— Начали!..

И ломы вонзились в породу, вгрызлись в нее всеми своими зубами, вернее, клинками, вернее, где клинками, а где зубами, и у всех присутствующих возникло такое же неопределенное чувство ожидания, какое возникает при чтении известной фразы: «Калитка скрипнула, и незнакомец, шурясь, вошел».

— Давайте же! Давайте, давайте! Что же вы медлите? Он хочет пить,— говорила Вулена Петровна, шурясь.

Солдаты шурились и лупили молотками. Наконец, порода раскрылась, как гречкий орех, со скрипом калитки.

Сгрудились все, наступая друг другу на пятки, шурясь. Корреспондент в чулках без башмаков поднял фотоаппарат поверх бугров голов и сделал слепой снимок.

Вдруг все стихло, сжалось, и наступило по всей земле такое безмолвие, что было слышно, как где-то скрипнула калитка.

— Что?.. Как это?..

Люди молчали, оцепенев.

Наконец офицер преодолел подкативший к горлу комок, сказал им с теплотой, шурясь:

— Шапки долой, сволочи!

И полетели шапки наземь, как груши.

— Св-о-ло-чи...

Отозвалось, отскочило эхом от вышек и застряло навсегда в отечественной истории.

Вулена Петровна держала в руках огромную кость, желтоватую, с кусками волокнистого сухого мяса, похожего на вату. Приложила к груди, и кость дошла ей до бедер. Передала кость офицеру. Наклонилась. Кроме кости в породе оказался продолговатый череп метра полтора длиной.

— Он?..

Вулена Петровна не ответила на бестактный вопрос офицера. Пошла вперед, ничего не видя. Толпа расступилась, как известные воды Чермного моря.

Порывистый ветер налетел с облаков и, смеясь и играя, растрепал белый шарф, который поднялся за ее плечами, как крылья.

Здесь пала какая-то тьма, и больше ничего не смогло выделиться из общей тьмы.

Больше ничего не смогло выделиться из общей тьмы, потому что не захотело, потому что, блин, всегда не хочет выделиться, когда это особенно необходимо, когда только и мечтаешь, чтобы выделилось, а выделяется, блин, такое, о чем и не скажешь обществу, а если скажешь, то пожалеешь.

Но человек всегда выделяется из общества, если имеет благородную душу, прикрытую рубищем или простой солдатской шинелью, под которой бьется горячее сердце, а общество ему мстит, как бы говоря: «Не выделяйся, блин! Не выделяйся, куда не следует!» Потому и называется луч света в темном царстве. И у нас этот луч готовит бутерброд. Филипп готовит бутерброд. Но он еще не знает, не оценивает, что в бутерброде заключено убиенное животное и греховно есть убиенное, ибо архетип убиенного всегда бдит и всегда с нами. Слава Богу, что архетип будет есть не герой.

Масло. Хлеб дышит. Кружок колбасы, жиринки, как телефонный диск. Сготовил. Завернул в салфетку. Вылез на крышу. Пошел.

Мир крыш. Мир мокрых крыш. Мир сухих. Мир крашенных и некрашенных. Мир чистых крыш. Мир крыш в голубином помете. В кошачьем дерьме. С чердаками. Странно. Ты идешь по изнанке потолка. А над тобой — лишь крыша мира.

Он увидел отца, что лежал на крыше, как если бы лежал в окопе. Продолжением его длинного тела была раздвижная подзорная труба из желтоватой меди с прозеленью. С ее помощью, удливив свой взгляд, насколько позволяла оптика, отец подробно, метр за метром прощупывал пейзаж, опрокинувшийся перед ним, как женщина, навзничь.

Не говоря ни слова, Филипп сел рядом, развернул салфетку и дал отцу бутерброд.

— Мы ведь с тобой не сивки-бурки, правильно? — сказал отец, не отрываясь

от трубы, будто продолжал давно начатый разговор. — Землю рыть копытами не будем. А захотим, водилу найдем, плешака на бану. Чтоб ходил, лавируя. Мы платим, а он все делает в шоколаде, разве не так?

Смачно откусив полбутерброда, Н. Н. Крабов (1920—1969) продолжил:

— Ты ведь тоже человек... в некотором роде. Тебе ведь и галстук нужен, и девочкам — на заколки, так?

Он проглотил то, что осталось от бутерброда.

Сын дал ему второй.

— Р-ваз-уж-бру..ку... — сказал отец да-вась.

Филипп провел ладонью по его волосам. Отдернул руку, потому что они кололись, словно обувная щетка.

— Так, — сказал отец, сворачивая трубу в стакан. — Пошли.

И они вдвоем загромыхали по крыше.

Но здесь нам в самую пору перенестись из экстерьера в интерьер, потому что крыша — это экстерьер, а папки с бумагой, калькуляторы, кроссворды, перекуры в коридорах, платки, что замотаны на поясище, тот же бутерброд, кипятильник, стаканы, из которых пьется чай, но почему-то всегда в них находится пепел, кабинет директора, кабинет начальника отдела кадров, неработающий огнетушитель, вывинченная лампочка, помидор в кадке, не дающий плодов, тушь, перо, чертеж — это все, уж извините меня за выражение, интерьер, хоть это слово носит в себе явно собачий привкус, не говоря уже об экстерьере.

Но ведь люди-то живут. Живут внутри этого собачьего слова. Не жалуются. Вернее, жалуются, потому что дураки. А попробуйте-ка их лишить этих калькуляторов, этих кадок и чертежей, позвольте-ка перевести их махом из инта в экс, они вам споют! Они вам так споют, кто хором, кто акапелла, что небо вспотеет и никакой экстерьер не выдержит, а разлетится к чертовой матери перед этим могучим пением.

А ведь могли бы жить, как люди.

Что видит человек в интерьере? То, что перечислено выше, и, кроме того, окна. И в окнах, между прочим, появляются иногда прелюбопытнейшие штуковины. Например, шестикрылый серафим или шкура сибирского медведя.

Плыла эта шкура, летела, ползла без точек опоры, подпернутая за шиворот железным крюком, насаженным на длинный шест.

Но шест был не видим. Видна была только шкура, мелькавшая, как привиде-

ние, то в одном, то в другом окне. В туалете. В коридорах. В окне кабинета начальника. Летела куда-то вверх, на крыши, и те, кто видели ее, чесали затылки, потому что не предполагали ранее, что шкурам тоже свойственно устремление к горнему. Особенно, если этим горним являются отец и сын.

Стоя на экстерьере, который пытался его укусить, отец подтянул к себе шкуру, и вместе с сыном они вытащили ее на поверхность стеклянного мира.

— Иди, — сказал Филиппу отец, заворачиваясь в медведя. — По шкуре ты меня всегда найдешь.

И Филипп, этот вечный переросток, ушел.

Пополам и вдребзги.

Вдребзги и пополам.

Как описать неистовство человека? Какими мазками? Древние на такие описания были мастаки. Софокл выколол глаза своему герою. Шекспир учинил бурю. Мне же приходит в голову чепуха, в мозги лезет раскаленная лава, какие-то бело-розовые пузыри, как если бы кусок пенопласта кипел, да глагол «клокотать». И больше решительно ничего не приходит. В общем, описываю кратко.

Пополам и вдребзги. Он клокотал.

Вбежал в класс. Лик его был страшен. Глаза вдребзги разбиты, борода распалась пополам.

— Где он?!

Класс встал. Учительница географии застыла с указкой наперевес.

— Где?!

На последней парте зияло пустое место.

— Так!

Красные пятна проступили на щеках. Шерсть на свитере встала дыбом.

— Прощу пани, продолжайте...

Директор, хлопнув дверью, выбежал вон. Куда гнал ветер этот осенний лист? Куда-то вверх, на четвертый, последний этаж.

Вот и знакомая квартира. В потолке — дыра. Слизь на стенах. Кусок романа, устремившийся директору прямо в руки, на котором только и можно было прочесть: «Продолжение на стр. 40». Заклокотал. Заскрипел зубами. Съехал по лестнице.

И внезапно перед учительской остановился как вкопанный. Черт знает, с каких пор задержался здесь этот бюст. Если учесть, что очень средняя школа раньше была специальным заведением для умственно отсталых, а еще раньше — доходным домом, то оставалось тайной, откуда

здесь взялся горбоносый человек из белого мрамора с венком на голове.

Вызвали искусствоведов. Искусствоведы приехали в штатском и пять минут шевелили лицом перед бюстом. Потом один из них, не в башмаках, а в сапогах, но в штатском, заявил, что бюст художественной ценности не представляет, что сделан, по-видимому, в начале века и легко передельвается под другой, если в особенности заменить лавровый венок на щетину волос. С тем и уехали.

И ведь хотел же переделать, хотел, но забывал как-то, на мелочи разменивался, на суету, а ведь слона-то и не приметил, слона проморгал! Ужо тебе!

Воровато оглянувшись, Энгр Георгиевич сорвал с головы поэта лавровый венок. Тот отделился от черепа с легким хрустом, оставив следы наподобие гвоздей.

Диктант, диктантик, дишкант... Он говорил ненавязчивым дишкантом. Или, предположим, из самолета в точку К. был выброшен военный дишкант. В общем, классический школьный диктант рождает лишь раздражение и скользкие, словно уж, ассоциации. Больше ничего он не рождает. Совершенно у учителей.

Печеная дева проверяла на кухне диктант собственного внука и содрогалась, во-первых, от глупости того, что ей приходилось диктовать, а во-вторых, от ошибок, которые допустил этот самый внук.

— Что же это такое, Господи? — спросила она в темноту, когда прочла.— «Бригадир палеводческо бригады был высокого росту».

— Два,— сказала печеная дева самой себе.— Опять двойка.

Ей вдруг представился бригадир палеводческой бригады высокого роста. Он вышел неожиданно из коры столетнего дуба и, погрозив деве пальцем, укоризненно сказал:

— Грешно смеяться над большими людьми.

Дева задумалась. Воровато оглянувшись, она взяла со стола безопасную бритву, подчистила ею букву «а» в слове «палеводческо». Пририсовала на конце «й», а туманное пятно, оставшееся после бритвы, обвела буквой «о».

Дельце было обделано на все сто, но инстинкт правды, инстинкт истины, дремлющий в каждом человеке, особенно в час вечерний, в час покоя и равновесия, когда и звука нельзя издать против совести, потому что тишина, не позволил деве вывести «3».

И рука уж поднялась. И казалось бы,

нарисовала эти женские окружности, устремленные в вертикаль, ан нет. Не осилила. Не смогла.

И рука, подчинившись категорическому императиву, вывела привычную «2». И поставила жирную подпись.

Диктант, диктантик, дишкант...

Интересно, а кто диктует писателям? Предположим, тем же дишкантом, в тишине, может быть, во сне? С крыльями? Ночью? На правом плече? Но женщина, читавшая сочинения покойного, только приговаривала:

— Ах, подлец! Каков подлец!..

И затыгивалась папиросой. Этой женщиной была Вулена Петровна, которая, в отличие от собственной матери, сидела в комнате и проверяла диктанты покойного писателя, пытаясь в уме вычислить музу, которая эти диктанты ему диктовала.

— Где это видано, чтобы у меня нижняя губа была больше верхней? Да еще и выставлена вперед наподобие арбузной дольки? Где? И вообще, что это за стиль такой — «наподобие арбузной дольки»?!

Она даже посмотрелась в зеркало. С губами все было нормально. С глазами тоже. Однако нос вдруг внушил ей какие-то смутные опасения. Вулене Петровне вдруг показалось, что он свисает вниз наподобие арбузной дольки.

— Подлец! — подтвердила она свои опасения.— Видеть не могу этого подлца...

Хотя какой уж там видеть? Разве мы можем видеть мертвых? Особо когда их тела утеряны? Однако это не значит, что мертвые не могут видеть нас.

Вулена Петровна перевернула страницу рукописи. Сначала все было нормально. Там очутилось пространное описание утреннего города зимой с оттаявшими звоночками трамваев. Подчеркнув слово «оттаявшие» красной жирной полосой и поставив возле него вопросительный знак, Вулена пошла дальше... Ну вот оно! Час от часу не легче! Ей захотелось сплунуть в пепельницу.

— «В комнату вошла Ольга с вечно перекрученными чулками».

Она подняла юбку и на всякий случай посмотрела на свои чулки. Правый оказался идеален. Однако левый заставил Вулenu вздрогнуть.

— Подлец,— прошептала она, поправляя перекрученный чулок.— Ведь ничего не прощал, лауреат хренов!..

Глаза ее затуманились и поползли вверх, в темное окно, которое выходило на пусты

крыши. Роман, который она читала, был еще не издан. Вследствие полной гибели покойного литератора, вечная ему память, о мертвых или хорошо, или ничего, сие произведение, сей пасквиль с оттаявшими звоночками можно было вообще не издавать. Однако Вулена Петровна вдруг смутно замеркался иной путь. Не со звоночками, а с сильным женским образом, указывающим на свой реальный жизненный прототип. Не с перекрученными чулками, а, например, с высокой грудью, под которой билось такое же высокое сердце гражданина и матери. Но как, как воплотить эту божественную идею, это идеальное создание, указывающее на свой реальный жизненный прототип, не искажая личный замысел покойного мертвеца? Как? Вулена Петровна не знала, но интуиция опытной секретарши уже начала нашептывать ей свои ядовитые песни, вливать свою, так сказать, цыкату, которая была крайне соблазнительна, как и любая цыкута, особенно если перед ней принять противоядие.

В дверь позвонили.

А двери, как известно, открывают слабаки. То есть совершенно ничтожные люди, без предопределения, без крыльев, без вечности за плечами, без спасения впереди. Вот, к примеру, та же Вулена Петровна ведь не пошла открывать, потому что была тверда в принципах, в правилах, в категорическом императиве что ли. Потому что внутренне была сильна, потому что знала, что в квартире есть бабка, что она, эта бабка, сдрейфит и уж, как максимум, с третьего звонка побегит, кряхтя, побегит, переваливаясь утицей, гусем. И я вам советую наперед: никогда не открывайте дверь первыми, пусть это делают другие.

Так и вышло. С третьего звонка, обливаясь ужасом и потом, побежала печеная дева открывать, ибо боялась, ибо знала, кто звонит три раза, тот просто так не уйдет, тот знает себе цену и уж точно входит в число избранных, как сказал бы, предположим, Ковен Кальвин или тот же предподобный Мун.

Открыла и р-раз. Четыре пары, четыре розовые пары слабых, как воск, розовых ручюнок, вцепились в ее платье. В прихожей возник галдеж вороньева гнезда. Печеная дева рухнула навзничь. Тут же на ее груди оказались цветы жизни в возрасте от четырех до восьми лет, а их мать, во всем черном, в черной шляпе, сняв черные перчатки с рук, пошла вперед, как черный танк, как таран, переступив через поверженное тело старухи и оставив на нем

копошиться неумных детей. Протаранила квартиру насквозь, до кабинета, в котором сидела женщина в красном и задумчиво потягивала свою «Фемину».

— Так вот вы какая! — хищно сказала женщина в черном. — Именно такую я и представляла!

— Что такое? — вскинулась женщина в красном, скомкав окуроч.

— Я — жена писателя Свешникова, — заявила черная.

— Вдова, — поправила ее Вулена Петровна, вкладывая в это слово какой-то тайный презрительный смысл, мол, выпускай, выпускай коготки, чертовка, а птичка-то ты-то, улетела.

— Так я и думала, — сказала вдова, падая в кресло, — маленькая, вертлявая, с шестимесячной завивкой... Тьфу! Нахалка! Нахалка!..

— А ты на себя-то погляди! — посоветовала ей по-дружески, по-теплому, как человек человеку, как отец брату, как свекровь деверю, женщина в красном. — У тебя... У тебя чулки перекручены!

И сама задохнулась от этого счастливого открытия.

— Чулки перекручены!

— Где?! Где?!

Вдова выпрыгнула из кресла и, как мертвец, лязгнула зубами: увы! Эта низкая секретарша с шестимесячной завивкой оказалась совершенно права: перекрученными были оба, оба чулка!

Можно было б за это дать, предположим, в морду наглой бабе с «Феминкой», можно было б побить зеркала, если б они находились здесь, но вдова писателя Свешникова поступила не по-мелкому, а достойно, смело и достойно, как, предположим, Жанна Д'Арк, садясь на жеребца. Закатала юбку и, выставив ногу, неплохую, кстати, ногу, упитанную, но в меру, поправила свой капрон. А потом и со второй сделала то же самое, но с меньшим успехом, ибо вторая нога оказалась непарной, от какой-то другой женщины — худой, кривоногой и некрасивой.

Но не смутилась. Опустила занавес, взяла без спросу сигаретку и бухнулась в кресло, перекинув непарные ноги самым фривольным образом.

— Мне наплевать, — сказала она, выпуская колючий дым, — мне за мертвеца обидно: такой крупный классик и такой дурной вкус!

— Неважно, — отрезала Вулена Петровна. — Ему виднее. Подумаешь, конский волос, коса до задницы... Не в этом счастье, не в этом! — Ей внезапно стало до боли обидно.

Не усидев за письменным столом, она встала и прошлась вокруг кресла.

— А косу ты зря обрезала. Это было твоим единственным достоинством.

— Какую косу? Что вы мелете? — насупилась вдова. — Сроду косы не носила!

— А как же?... — Вулена осеклась.

Что-то смутное, тревожащее, нарушающее картину мира, как ангел, вылетевший из дымоходной трубы, уязвило ее гордое существо. Это уязвление было более глубоким, чем какой-то приход перекрученной, как чулок, супруги.

— «Ее коса, доходившая до круглых бедер,— прочла вслух Вулена Петровна по рукописи,— раскачивалась в такт трамваю, и Василию захотелось уткнуться лицом в эту конскую поросль».

Замолчала. Подняла глаза на вдову. Та нервно покусывала нижнюю губу.

— Ладно,— произнесла она после паузы,— мне наплевать, что вы срезали свою косу. Маскируетесь? Бойтесь? В конце концов, это дело вашей совести, Бог вам судья. Я пришла за рукописями, ибо по закону они принадлежат мне.

— Нет у меня никаких рукописей,— на всякий случай соврала Вулена Петровна, но мысль ее крутилась сейчас вокруг другого щекотливого предмета.

Этот щекотливый и крайне важный предмет уже выступил из мрака и начал подмигивать им обоим всеми своими углами.

— Так у вас... в самом деле не было косы?

— Не было, не было! — раздраженно отрезала вдова. — Хоть бы устыдились говорить... Отрезали, так и молчите!

— Я отрезала?! Да вы что! — фыркнула секретарша. — Какая коса? Опомнитесь! — И она схватила за свои редкие волосы, раскрыв их, как веер. — С такой-то шевелюрой? Тю!..

— У кого же тогда была коса?! — в полном недоумении произнесла перекрученная вдова.

Вулена Петровна отрывисто хохотнула.

— Нет, в самом деле? Это же очень важно!

— Тра-ля-ля,— было ей ответом, и, чтобы подчеркнуть серьезность ситуации, Вулена добавила: — Ку-ку!..

Вдова вскочила.

— У него же в каждом рассказе коса,— простонала она, мечась по комнате,— в каждом романе... В пьесе этой дурацкой... Везде!

— Мне ли не знать, милая, мне ли не знать! — с сатанинской мудростью подтвердила секретарша.

— Это что же... любовница?

Супруга произнесла страшное слово, как некромант произносит свое заклинание.

— Любовница?!

— Со всеми вытекающими,— успокоила ее секретарша,— с мемуарами, с выступлением по радио... И это еще ничего. Это еще куда ни шло.

— А что может быть хуже?!

— Особое расположение. Тайная Воля. Например, Завещание. Или что-то еще, что передает часть прав этой чертовке.

— Вы думаете? Но это же... Это же против закона. Нет... Не может быть!

— Надо посоветоваться с юристом,— сказала Вулена Петровна. — Во всяком случае, мемуаров-то ее лишить мы не сможем... Вас как зовут?

— Вообще-то... Меня называли Ифигенией. Но можете называть меня просто Дусей... — Вдова зарумянилась, как блин.

Вулена Петровна молчала, как папоротник. В ее голове происходил мучительный процесс дознания, доискивания причин и осознания следствий.

Вдова была красной, как блин. Молчавшая, как папоротник, Вулена Петровна дала вдове конфетку.

— Я вам всё отдам, всё,— пообещала она. — Вот это — его новый роман, еще нигде не опубликованный. — Она щелкнула ногтем по рукописи. — Можете публиковать, ради Бога. Очень хороший роман, очень. Положительный образ — женщина с косой. Отрицательный — женщина с перекрученными чулками. Печатайте. Например, в «Новом мире». Ваши знакомые будут в восторге.

Пятна пошли по лицу Вулены. Она краснела, как папоротник.

— Вы с ума сошли! — промолчала, как блин, Авдотья. — Разве можно? Стыд-то какой?

— А мне-то не стыд?! Мне-то какво? Тридцать лет вместе и — ни одной строчки мне, ни единой! — вскричала несчастная Вулена, красная, как папоротник.

— Что же делать? — выдавила Авдотья Кирилловна, промолчав, как блин.

Алея, как папоротник, Вулена Петровна сказала:

— Сами думайте, что... Тут выход один. Нам надо объединиться!

— Против этой чертовки? — догадалась вдова, а дальше замолчала, как блин.

— Умница! — И Вулена жирно поцеловала ее в щеку, поцеловала в сердцах, как папоротник обычно целует блин.

— А что же с рукописью? — Блин от этого поцелуя зарумянился, как папоротник.

— Рукопись? Рукопись — не преграда! У рукописи ведь тоже... есть черновики! — выдохнул из себя папоротник и дальше, давая ей время на обдумывание своей тайной мысли, замолчал, как блин.

Так бывает, что между двумя субстанциями, будь они хоть папоротником, хоть блином, пробегает какая-то искра, какой-то ток, и дай Бог, чтоб еще не убил, не прихлопнул, как комара, чтобы не просто искрило, а чтоб, выражаясь символически, лампочка зажглась.

В комнате зажегся свет. Взявшись за руки, как два комара, они вышли в кухню.

Там происходило следующее: бабка стояла на одной ноге и проверяла тетради. А вокруг нее цветы жизни, эти безвинные малые души, которые являются олицетворением чистоты, предположим, у писателя Ф. Сологуба, жрали рассыпанную по полу крупу.

— Какие хорошенькие, — сказала Вулена Петровна, давая одному цветку подзатыльник. — Неужели все от вас?

— И не говорите! — вздохнула Дуся. — Рожала ему, рожала, а он — перекрученные чулки.

— О мертвых — только хорошее, — напомнила Вулена. — Ты бы, что ли, чай заварила, мама, — сказала она бабке, — гости все-таки у нас.

— Поясница что-то... того, — пыталась открутиться печеная дева, однако, отложив тетрадь, взялась за чайник.

— Значит, черновики, — связала Дуся прерванную тему.

— Черновики, — подтвердила секретарша, сгребая со стула еще один цветок жизни. — Например, отрицательный образ женщины с косой.

— А что эта женщина может делать?

— Вредительство, — подсказала Вулена Петровна, — взрыв завода, плотины... Ну мало ли что...

— Это — правильно. Это — верно, — согласилась вдова.

Бабка, насыпав чаю в маленький чайник для заварки, пошла в комнату. Дети тут же сыпанули в чайник крупу.

— А почерк? — спросила Дуся.

— С этим, конечно, проблема, — занялась секретарша. — Но... но ведь он мог диктовать, верно?

— Ну?

— А записываю-то я!

— Правильно! — хлопнула себя по лбу вдова. — Какая же вы все же... — Она замаялась, подбирая слово.

— Что? — насторожилась секретарша, ожидая подвоха.

— Симпатичная! — И вдова улыбнулась, как солнце.

Женщины поцеловались. На этот раз — в губы.

Что-то засвистело. То большой чайник давал знать, что вода от кипения просится наружу.

Печеная дева, выйдя из комнаты с обвязанной головой и поясницей, заварила чай.

— Каша готова, — сообщила она и налила в чашку густую желтую жижу.

Что-то мы все-таки проморгали. Профурили, прохлопали, это я точно знаю. Едешь ли ночью по улице шумной или просто идешь, а чего-то не хватает. Пустота какая-то, минус-корабль, что ли, минус-магазин, черт его разберет. Будто изъяли кого-то самого главного из нашей жизни, например, преподобного Муна, вот и ищешь его повсюду, в подвале, в консерватории, а нет его, нет этой заносчивой скотины Муна, а мы все живем и делаем вид, что есть или что нам этого не надо.

Но все-таки сам факт нашей жизни говорит о том, что еще не все потеряно, что некоторые личности, желающие нам добра, не окончательно пропали с небосвода, что Муна нет, а положим, Проханов есть, а ведь это как посмотреть, от кого тебе больше пользы, как посмотреть. Вот гонят все Проханова, клянут, мучителей толпа, а ведь, возможно, за счет него существуют, и тогда получается, что он не Проханов, а романтический герой Чайльд Гарольд. И вообще от людей больше пользы, чем вреда. Главное, не подставлять им шею под секиру.

А этот подставил шею под секиру, подставил. Тут получается у нас оборотец «в то время, как...» В то время, как перекрученная вдова выясняла свои отношения с оранжевой феминкой, в то время, как прогрессивные силы мира боролись против регрессивных, в то время, как отжившие свое клетки заменились не жившими еще и совсем зелеными, сидел Ф. Семенов, по своему обыкновению, на школьном унитазе и смолил, переросток, чинарик.

Подбросил к потолку так, что чинарик прилип, спустил воду и вышел вон.

И был тут же схвачен директором за волосы.

Это, конечно, была засада. Самая обыкновенная, вероломная и т. д. Так хватают какого-нибудь кабана или рысь. Слезы брызнули из глаз Филиппа. Ему показалось, что скальп с легким хрустом отделился от черепа, а главное, было обидно,

за что, за что?!. Из-за какой-то шкуры? Но кто же знал, что она принадлежала Энгру?

Воровато оглянувшись и удостоверившись, что никто не видел этой короткой расправы, охотник за черепами, старина Хенк, большой ловец своего маленького счастья, сняв скальп с Чингачгука, покинул поле брани широкими тяжелыми шагами, будто вырывал ноги из сугроба.

В то время, как старина Хенк покинул поле брани широкими тяжелыми шагами, хрустальный ангельский голос произнес фразу, от которой, смею вас уверить, еще совсем недавно, каких-нибудь лет тридцать назад, кружилась голова и закипала кровь:

— ... дожестивенный фильм «Чапаев». В главной роли...

— ... дети, дети! «Чапаев»!

— А-а... А-а-а!!!

— Мама! Будешь смотреть?!

— Буду, буду!

— Ты бы чай пережаварила!.. А то получилась какая-то каша!

— А после кино можно?..

— Опять «Чапаев»? Его же на прошлой неделе показывали...

— А-а!!! А-а-а!!!

— Чапаев! Чапай!!

За считанные секунды увеличившаяся до размеров Вавилона семья сгруппировалась около телевизора. Были здесь четыре цветка жизни, печеная дева, оранжеевая фемина и перекрученная вдова. А что? И я бы сейчас с удовольствием пересмотрел эти подвиги, но обратно, вспять не попадешь, а вперед, в грядущее что-то не особо хочется.

Однако в то время, как я вам рассказывал про грядущее, уже пошли первые кадры, и семья прилипла к ним, как оса к меду.

Показались река и мост. В реке мокрые красноармейцы искали брошенное оружие. Чапай стоял на мосту.

При первом же его появлении бабка стала одергивать на себе кофту, поправила под ней белый воротник блузки и гребень в конских своих волосах крепче закрепила.

Вулена же Петровна решила покапризничать, показать свою культурную высоту и процедила с томной брезгливостью:

— Что-то не хочется его смотреть.

— Это не мы. Это он на нас смотрит, — пробормотала бабка.

Подождал здесь язвительный Фурманов и спросил в своей облегченной манере:

— А что это они делают, Василий Иванович?

— Купаются, — желчно ответил Чапай.

Бум-бум-бум... — раздался какой-то металлический звук. Вулена Петровна поглядела в окно и сначала опешила: по крыше полз медведь. Но, приглядевшись, поняла, что это ползет ее законный супруг, подонок и подлец, который хочет ее смерти, загубивший всю ее жизнь, лучшие годы, свежесть и чистоту. Николай Николаевич Крабов. Вулена хотела встать на дыбы и сбросить подлеца с крыши. Но поняла вдруг, что Н. Н. Крабов даже и не видит ее. Он шел на телевизор, как бабочка идет на свет. Оскаленная медвежья морда за спиной клацала клыками. Выражение остро-го интереса и гипнотического восторга впечаталось в его лицо, как каблук.

— Где должен быть командир? — спросил Чапаев, наклонившись над столом. — Впереди, на лихом коне!

Николай, глядя на него через окно, одобрительно крякнул.

Здесь раздался скрип, шорох, и в комнату, словно тень, прошмыгнул Филипп. Вулена Петровна скосила на него глаз и сразу поняла, что с сыном что-то случилось. Но не стала при всех выяснять причину столь бледного вида, пусть посидит в углу, успокоится, переварит, так сказать, вновь обретенную пару.

— Василий Иванович?

— А?

— Ты за большевиков али за коммунистов? — спросил Чапай хитрый фарисей, который только прикидывался подкулачником, а на самом деле был книжник, порождение ехидны. Книжник и фарисей.

— Я — за Интернационал, — обрубил его учитель, и за этим послышалось вдруг не менее знаменитое «Кесарю — кесарево...»

Дети, цветы жизни, захлопали лепестками и загалдели, потому что возрадовались, что искушение не прошло.

— Вуль, а Вуль, — подал вдруг голос Николай с крыши, — ты ведь образованная, должна знать... Это настоящий Чапай или нет?

— Конечно, нет, — отрезала Вулена Петровна, крепко сжимая руку Дусе. — Это — народный артист Бабочкин!

Раздался звонок в дверь. Филипп, как подброшенный вверх пружиной, побежал открывать. Скосив другой глаз, Вулена Петровна просекла, что к сыну пришла его давняя подружка Петя-Лена. Это было еще полбеды: ну, дружат, ну, собирают эти бумажные клочки, называемые почтовыми марками, ладно. Но сейчас вместе с Петей-

Леной приперся какой-то инвалид на костылях, который, зайдя в комнату, смущенно осклабился:

— Чапая смотрите?..

Забились они к Филиппу в угол и стали втроем шушукаться:

— Шу-шу-шу... Шу-шу-шу!..

Трах-тарарах-тах-тах!! Это Чапай разбил вдребезги табуретку.

— Не может артист так играть! — застонал от восторга Н. Н. Крабов.— Это — хроникальные кадры!

— Это — Бабочкин! — решила не сдаваться Вулена Петровна.

— Какой, к шуту, Бабочкин?! — закричал с крыши Николай.— Ты же видишь, он табуретку разбил! Это Чапай. Мне ребята говорили... Тут много хроникального. А Бабочкина написали на всякий случай, чтобы с рук сошло!

— Может, правда, Вуля, это не Бабочкин? — решила поддержать сомнительную версию чувствительная вдова.

— Может, и не Бабочкин,— задумчиво пробормотала оранжевая фемина.

Но все-таки, опомнившись вовремя, крикнула:

— Вы все меня с ума сведете!

А инвалид в то время, как они обсуждали достоинства бессмертной иллюзии, доказывал Филиппу, что марка, которую он принес, выпущена в прошлом веке.

Филипп только недоверчиво мял губами. На марке был изображен все тот же профиль в терновом или лавровом венке на фоне какой-то голы, невразумительной, как луна, земли. Филипп наклеил принесенную марку на темное стекло окна, а к ней добивал рядом уже имеющиеся: две марки с хищным профилем на голых безлюдных холмах.

— Пейзаж один и тот же,— заметил инвалид.

— Нет,— не согласился Ф. Семенов.— Тут не хватает какого-то звена. Возможно, еще двух или трех марок...

... — красиво идут,— сказал бородатый мужик в окопе, явно не фарисей, но, может быть, саддукей.

— Интеллигенция!

— А вот это нарочно. Это — точно артисты,— сказал отец, наблюдая за психической атакой с крыши.— Разве могли они добровольно под пули идти? Вранье!

Но когда белые почта что вплотную подошли к красным окопам, когда у разбитной Анки захлебнулся пулемет, Николай пробормотал:

— Не могу! Волнуюсь.

И надел на голову личину зверя.

— А я говорю, что пейзаж совершенно один и тот же! — закричал инвалид.

И, словно в подтверждение его слов, раздалась бравурная музыка: то подоспевший Чапай занес свою шашку над бритой интеллигенцией.

— Бей их! — возопил Н. Н. Крабов через морду медведя.— Руби!

Случилось почти невозможное: Чапай, как и в прошлые показы картины, явился совершенно вовремя и начал рубить в капусту все, что попадалось ему под руку.

— Ура! — кричал Крабов истошно.— Ур-ра!

И его крик подхватили дети, поднимая над головой — кто обломок стула, кто игрушечную саблю.

Перекрученная вдова сморкалась в душистый платочек, пытаясь скрыть от людей подступившие слезы. А бабка, вообще не скрываясь, плакала навзрыд, плакала от счастья, плакала от победы.

Вулена Петровна, немного раздраженная этим шумным апофеозом, подошла к инвалиду, стучавшему об пол обоими костылями, и столь грозно на него посмотрела, что тот ретировался вместе с Петей-Леной в прихожую, продолжая, однако, приглядывать за Чапаем сквозь приоткрытую дверь. Пришлось их вытеснить из квартиры собственным телом да еще вертануть дверной замок на два оборота.

Фу, слава Тебе, Господи, хоть от них избавилась, могла бы подумать Вулена Петровна, если бы ее взгляд не остановился на ботинках сына. Кровь прилила к вискам, в глазах потемнело,— ужасно! Сравнительно новые ботинки Филиппа были вымазаны в каком-то цементе полами с грязью. Причем цемент находился не только снаружи, но и внутри, на когда-то белой байковой подкладке.

В режиме начинающего закипания Вулена возвратилась в комнату. А там уже была тишина.

Уставший Чапай вместе с уставшим Петькой лежали на нарах и пели странную, терзавшую душу песню:

Он зарезал сам себя,
веселый разговор?..

Бабка вытащила из груди железную баночку валидола и положила таблетку под язык.

— Вуль, а Вуль,— послышался с крыши надломленный голос мужа,— ты ведь образованная, ты должна знать... Зачем на свете столько зла?!

Но Вулена Петровна лишь отмахнулась,

потому что сама не знала ответа на столь серьезный вопрос.

— Выключить надо,— предложила бабка, жуя вторую таблетку.

— Не, мамо. Ты погоди, не волнуйся,— возразил Николай, наблюдая, как белые пробираются окольными тропами к сторожке Чапая.— Может, отстреляются. Знаешь, как бывает... Счастье — на их стороне, а фортуна — на нашей.

Однако голос его звучал слабо и неуверенно. Дети же вообще от предчувствия роковой развязки забрались под платье перекрученной вдовы.

Вулена Петровна, как тень, пробралась в угол, к Филиппу, который продолжал изучать принесенный ему лунный пейзаж. Бесшумно приблизилась, разглядела на лбу сына кровоподтеки, синяки... И не нашла ничего лучше, как спросить с отчаянием:

— Ты можешь мне объяснить, что здесь происходит?!

Филипп вздрогнул.

Во двор сторожки Чапая белые вкатили гигантскую пушку.

— Не выстрелит! — предположил с крыши отец и на всякий случай снова надел на себя медвежью морду.

Но пушка выстрелила.

Истекающего кровью Чапая Петька поволок во двор.

И здесь Н. Н. Крабов поднялся на крыше во весь свой исполинский рост.

— Врешь,— сказал Чапай, входя в ледяную воду.— Не возьмешь!..

К этому времени в комнате плакали почти все: бабка, дети, перекрученная вдова... Слезы Николая скатывались на шерсть и дымилась, прожигая шкуру насквозь. Голова Чапая скрылась под водой.

Все дальнейшее уже не имело значения. Какие-то красные. Какие-то белые. Огромный взрыв. Смерть пулеметчика-убийцы. Полный крах.

Бабка выдернула телевизор из розетки и начала громко сморкаться. Филипп лежал на диване лицом к стене. Даже сама Вулена Петровна, присевшая рядом с сыном, была какая-то опущенная, без своего обычного нервного завода, будто только что сама неудачно переплыла далекую реку Урал.

— Не утонул он,— вдруг страшно прошептал отец.— Не утонул!

По плечам Вулены Петровны прошел мороз, и она зябко передернулась.

— Если бы люди знали,— произнес Крабов со звериной тоской,— где Чапай теперь! Если бы только знали!..

Народ безмолвствовал.

Окончание в следующем номере.

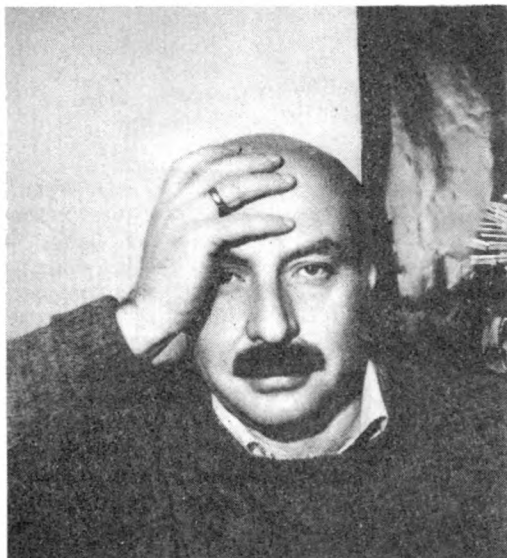
В связи с крайне затруднительной пересылкой наших изданий по почте, просим желающих приобрести журналы «Киносценарии» и книгу Червинского изыскать возможности выкупить их непосредственно в редакции.

Н а ш а д р е с: Москва, Воротниковский пер., д. 12

Проезд до станции метро «Маяковская».

Т е л е ф о н ы: 299-11-78, 299-47-47 — в рабочее время, 209-60-23 — в нерабочее время, вахта.

АЛЕКСАНДР БОРОДЯНСКИЙ:



СЧИТАЮ СЕБЯ НОРМАЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

АЛЕКСАНДР БОРОДЯНСКИЙ один из ведущих отечественных кинодраматургов. Его перу принадлежат сценарии фильмов «АФОНЯ», «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ», «СМОТРИ В ОБА», «ИНСПЕКТОР ГАИ», «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ», «НАЧНИ СНАЧАЛА», «МЫ ИЗ ДЖАЗА», «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ», «КУРЬЕР», «ШУРА И ПРОСВИРНЯК», «ГОРОД ЗЕРО», «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА»

— Стала привычной формула в титрах: сценарий — Бородянский, Шахназаров, режиссер — Шахназаров. На этот раз, в «Снах», вы и сценарист и режиссер. Что случилось?

— Сначала мы с Кареном написали «Сны», а потом либретто другого сценария. А «Сны» лежали. Тут попросили сценарий комедии. Я вспомнил о «Снах». Поговорил с Каре-

ном, он предложил, чтобы я сам и ставил. Так что с 16-го февраля я — режиссер.

— Ваш с Шахназаровым дуэт — с пятнадцатилетним стажем. Любопытно сама природа совместного творчества, ведь это довольно редкое явление. Как вам работаетея вместе, почему; что это — привычка, необходимость?

— Мы очень похожие люди, внутренне, по мировосприятию, у нас одинаковая реакция на какие-то события, одинаковое отношение... Карен не из тех режиссеров, что просто воплощает на экране чужой сценарий, он сам придумывает, он вообще может все сам придумать. То есть мы с ним соавторы на самом деле, на равных... Если мы считаем, что в сценарии чего-то не хватает, то — оба это чувствуем и оба ищем.

— И как это происходит?

— Мы разговариваем, наговариваем... Карен, как правило, пишет. Режиссеры, я заметил, вообще любят писать. Вот однажды у нас происходил такой творческий процесс с Николаем Досталем, мы тогда делали «Маленького гиганта большого секса», у него дома, на кухне. Там диван такой стоит... А по квартире бегали его маленькие дети. И Коля их постоянно одергивал: не мешайте, мол, мы работаем. А им же любопытно! Коля отлучился на минутку — в дверь тут же всунулась детская головка... И через мгновение я уже слышу из комнаты: «Папа, а дядя Саша не работает, он на диване лежит!»

— А если серьезно, как происходит творческий процесс, как рождается сценарий, образ?

— По-разному. Закономерности тут нет. Иногда кто-то подсказывает. Часто режиссер. У меня есть — не теория, нет, ощущение, может быть, но я в него верю — что сценарий существует в реальности, вот как мы с вами. Моя цель — его найти, увидеть. Если в сценарии что-то не складывается — значит, я его недостаточно хорошо «разглядел». Я просто знаю, что сценарий существует, он есть. Почему Пушкин воскликнул: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!»? Потому что иногда пишешь и не знаешь, откуда все идет. Само.

— Остается просто сесть и записать? А как же железные законы жанра, выверенные схемы действия, конструкция сюжета и так далее?

— Вот вы сказали «конструкция»... Я ведь до двадцати девяти лет работал строителем в Воркуте, техникум окончил...

— В Воркуте?..

— Так бы, наверное, и работал — мне нравилась моя специальность, и до сих пор нравится... Так вот, сценарий — это проект, а режиссура — строительство. Но я, скорее, конструктор — есть и такая строительная профессия. Я должен связать какие-то узлы в будущем здании, чтобы они не развалились, совместились разные блоки.

— Извините, что отвлекаемся, но, если можно, немного про Воркуту. Как же вы оттуда попали в кино?

— Я понимаю, почему вы спрашиваете, вы, видимо, думаете, что это связано с пятьдесят восьмой статьей... Когда я во ВГИК поступал, там на собеседовании мне тоже задали этот вопрос. Но Василий Иванович Соловьев, упреждая мой ответ, как бы защитил меня, сказав, что теперь это не важно... Так вот, никто из моих родителей не сидел. Мама была вывезена в Воркуту из блокадного Ленинграда, и там познакомилась с отцом, который попал туда... по комсомольской путевке. Правда, нашу семью, естественно, окружали отсидевшие люди или поселенцы, мы дружили... Надо сказать, что и они, прошедшие лагеря, и моя мама, да что говорить, и я сам — плакали, когда умер Сталин... В шестидесятых я был еще мал, чтобы считать себя настоящим шестидесятиником, но тогда появились уже всякие журналы, кое-какая непривычная литература. Я, как всякий молодой человек, очень интересовался всем этим. Тогда же произошел для меня и качественный скачок в отношении к кинематографу. То есть, прежде, я, как все любил ходить в кино. Но тут вышел фильм «Летят журавли», который просто перевернул мое сознание. Это было чудо, и чудо, к которому я как зритель был приобщен... В то время я писал уже какие-то заметки, рассказы — для себя, не думая их когда-нибудь опубликовать. О моих литературных опытах знали друзья. Я тогда проделал один эксперимент, хотел проверить силу печатного слова, как оно воздействует... Переписал один из рассказов Ирвина Шоу, переделал все имена на русские и дал прочесть ребятам. И они стали делать разные замечания, говорили, что рассказ «мой» не очень получился... А рассказ на самом деле был классный! Так вот... Один из моих приятелей, Сева Иванов, совершенно неожиданно (для меня) поступил во ВГИК. Я и не подозревал, что он тоже пишет. А он поступил, прошел конкурс, и подбил меня послать свои рассказы. Я такого и в мыслях не держал! Но вот — вызвали в Москву. Человек я не робкий, но как видите, не такой уж нахальный. И во ВГИК я никогда бы не решился просто поступать, если б не этот мой техникумовский товарищ.

— Ну а дальше? Как вы с Кареном познакомились?

— После ВГИКа пришел работать на «Мосфильм», мне прописку обещали — видите, какой я меркантильный! — там и познакомился с Кареном. То есть знакомы-то были раньше, а тут попробовали вместе работать — получилось. Так и пошло.

— Вот мы и вернулись к творческому процессу. Значит, вы собираетесь, наговариваете на магнитофон...

— Нет! Мы однажды попробовали на магнитофон, так потом полдня искали на пленке, где то самое, нужное, место проскочило. Вместо того, чтобы работать... Просто разговариваем...

— Хорошо, разговариваете, сочиняете свой сценарий-проект, так сказать, общий вид, а затем начинаете вычислять, увязывать «узлы»?

— Какие-то вещи «вычислить» нельзя, невозможно. Они как бы сами приходят, как догадка, озарение. Или вспоминаются неизвестно откуда... Вот, помню, мы были как-то в пивбаре, в Одессе. Шум, гам, мусор — ну, словом, обычная забегаловка. И вдруг хозяин этого заведения достает из кармана невиданную по тем временам штуку — калькулятор! И что-то начинает подсчитывать... Настолько это было «не отсюда», не из той оперы... Мы посмеялись и забыли. И вдруг, через несколько лет нам понадобилась сцена в баре — и мы вспомнили. Как, откуда? В нужный момент это само возникает, вспоминается... Когда пишу, я как бы проигрываю образ про себя, живу им. Наверное, каждый мой персонаж — это то, кем я хотел бы, или мог бы стать... Музыкантом из «Мы из джаза», сантехником Афоней... Даже манеры меняются на это время, вживаешься в образ, какие-то черты принимаешь на себя. Кроме женских образов — но они, если вы заметили, мне и не удаются... Господь обделил... Ну и кроме, конечно, исторических — цареубийцы, например... Но это — совсем другое дело, очень серьезное дело. Мы тогда больше полугода сидели в архивах, и это тоже было нескучно, было интересно. Вообще, в работе самое главное, чтобы самому было интересно. Даже когда переписываешь, переделываешь. Иначе ничего не получится.

— Ваш тезка Червинский советует представлять себе заранее в роли вашего персонажа какого-нибудь известного артиста...

— Очень помогает! При этом совершенно не обязательно, что именно тот актер, которого ты представлял, будет играть эту роль. Если она, конечно, не специально для него написана. У меня так было, и не раз. Не буду сейчас называть, кого в какой роли я представлял, а играли совершенно другие люди — и правильно, и лучше, они собой обогатили образы, создали свои, новые...

— А если образ уже задан — экранизация, скажем?

— Я вообще не понимаю, зачем люди делают вольные экранизации... Хочешь ска-

зать что-то на эту тему — напиши свое. Зачем тебе ломать, коверкать Толстого, скажем, или Достоевского, показывать через них себя, свое восприятие — насилие какое-то получается над другой личностью, ее миром... А он и защититься не может. Возьми, и сам сделай. Так же и с историческим материалом — это я к «Цареубийце». Это же очень ответственно, тут твоего «я» должно быть как можно меньше...

— А как же тогда быть с формулой «искусство для искусства»?

— Мы сейчас с вами в такие дебри зайдем... Искусство для искусства — иначе, авангард, — открывает новые, скрытые возможности. Оно необходимо. Для художников. Для их роста. Проблема в том, что некоторые думают, что творят искусство для искусства, а на самом деле делают и не искусство и ни для кого.

— К вопросу: «для кого». В одной из статей промелькнула фраза о том, как итальянцы восприняли нашего «Афоню»: один сантехник терроризирует целый микрорайон — потрясающая фантазия авторов!

— А японцы заметили другое: с этим «террористом» нанчатся аж полгода! Вот, мол, оно — гуманное социалистическое общество!

— Значит, «Афоня», например, — исключительно для нашего советского зрителя?

— Н-да... Когда я предложил «Афоню», его не хотели принимать, посчитали антисоветским. Хотя чего там такого антисоветского? Или — в фильме «Дамы приглашают кавалеров» героиня, приехав на море, бежала на пляж и радостно кричала: «More! More!» Попросили эту сцену вырезать, как издевательство над советским народом — «вы хотите сказать, что советские люди не имеют возможности поехать на юг»...

— На то она и цензура...

— Цензура была страшна своей вкусовщиной и многоступенчатостью. Слишком много осторожных людей вычеркивало то, что, на их взгляд, могло не пройти. Но этого на определенной стадии можно было избежать, пройдя напрямую, например, к Николаю Трофимовичу Сизову. Его многие ругают, но нам с Досталем, когда мы принесли ему показать сценарий «Шура и Провирняк», он сказал: «Если не снимать все то, что мне не нравится, то вообще не было бы советского кино. Этот материал мне не нравится, но скажите, что я одобрил». И все замолкли. Я уверен, что многие, критикующие сейчас бывших начальников, окажись на их месте, были бы в сто раз жестче, злее и хуже.

— У вас сейчас бывают ситуации, когда

вы довольны своей работой, а ее не принимают? Чье мнение вам важнее — свое собственное или других людей?

— Получится, что я такой самоуверенный... Самая первая рецензия на «Афоню» была разгромная. Я понимал, что фильм — не великое произведение искусства, но статья была несправедлива. И я долго переживал. Как и не раз потом, именно от несправедливости. Но вот последние пять лет вообще не читаю рецензий. Честное слово. Ни ругательных, ни хвалебных.

— Из самозащиты?

— Нет. Просто неинтересно. Я подумал: почему оценка критика Н должна быть для меня важнее мнения дворника Петрова?

— Выходит, критика — ненужная профессия?

— Нужная. Только критик должен относиться к произведению с точки зрения произведения. Предъявлять же требования «из другой оперы» — бессмыслица. Критик часто просто хочет увидеть и видит то, что он любит, но чего может и не быть. И если не находит...

Для меня очень важны оценки тех людей, которые думают, как я. Все-таки я считаю себя нормальным человеком. Может, заблуждаюсь, но мне так кажется. Поэтому я полагаю, что юмор мой, мысли попримут такие же люди. И если похожим на меня нравится то, что я делаю — все в порядке. А если хотя бы пяти из них не нравится, стоит задуматься. Человек, живущий параллельно мне жизнью, не услышит ни одного моего слова. Ну так что ж? Я не умею, не могу угождать всем подряд. У меня один критерий: стыдно — не стыдно. Даже если фильм не очень удачен, но нет этого сжигающего чувства, то — Бога ради.

— Говорят: реальность вокруг тебя такова, как ты ее воспринимаешь...

— Совершенно верно. От того и все непонимания между людьми. Когда-то я удивлялся, почему между ними столько скандалов, недоразумений, когда, кажется, все очевидно. Но никого нельзя переубедить, потому что каждый живет в своей реальности. Я, например, не помню цвет глаз собеседника, как он одет, хотя могу проговорить с ним час. Не замечаю люстр. Потом мне все доказывают, что притворяюсь. А я не могу вспомнить. Зато помню другое. И образ человека у меня есть. Это ведь тоже реальность. Моя.

Недавно вот с удивлением увидел — вокруг другая жизнь. Тут приехал французский режиссер, предлагает совместный проект. Долг беседовали, кончились сигареты. Пошел купить и... поразился, какие товары продаются в ларьках, что у нас в Москве происходит. Ведь на машине туда-сюда, многого

не замечаю. Оказалось, француз — он уже не первый раз здесь — лучше меня знает эту жизнь.

— А как же суперсовременные «Сны»?

— Ну я же не полный идиот — знаю, что сейчас носят не камзолы пятнадцатого века. Газеты читаю, телевизор иногда включаю. Но тут — гротеск. Интересней придумать то, чего нет.

— Ваши «Сны» не просто актуальны, а очень актуальны, как говорит «Селдом»... Как вы сами считаете, есть у сценария политическая направленность, вернее, задана ли она сознательно?

— Иногда я не писал политических сценариев, не был членом ни коммунистической ни какой другой партии. Я сценарист, а не политик. Беда нашей страны, больших городов во всяком случае, — ищут во всех произведениях политику. Как болезнь какая-то... Пример: после первых просмотров «Города Зеро» зрители задавали вопрос: повар Николаев, который убил, это же вы намекаете на Николаева, который убил Кирова? И когда мы говорили, что нет, отвечали: вы, мол, специально скрываете..., когда мы «Сны» писали, у нас в головах не было никакой политической идеи, но так как этот сценарий о современной жизни, а на нее политика какое-то влияние оказывает, то, наверное, можно сказать, он политический... Дело в том, что мы просто искали абсурдные вещи, которые всем очевидны, которые все привыкли сразу забывать, абсурдные вещи в нашей жизни. А показались они политикой, — ну, значит...

— Наш номер выйдет после референдума, поэтому на следующий вопрос вы можете не отвечать, но все-таки...

— В смысле, как я буду голосовать, что ли? Я, в принципе, за закон.

— А там нет такого вопроса...

— За конституцию. Моя позиция простая — хоть раз страна должна пожить по закону. Избран Президент народом — он должен проработать до конца, избран парламент — нравится, не нравится — он должен проработать до конца. Потому что мы привыкли жить так: не нравится Хасбулатов — давайте его переизберем, другим Ельцин не нравится — и его переизберем!.. В этом все дело. Надо привыкнуть жить как живет большинство стран мира: избрали сами — давайте доживем с этим. В Америке тоже могут переизбрать Президента, если он, допустим, совершил уголовное преступление и это доказано. Но не иначе. Я считаю, что миллион бед наших — именно от этого, от симпатий-антипатий, которые возникают сиюминутно, во всей жизни нашей в России. Вот, скажем, Столыпина почему убили? По-

тому что не нравился ни левым ни правым. А надо было просто его тогда снять с работы, и все...

— Как вы думаете, а сейчас он бы мог справиться с ситуацией?

— Кто?

— Столыпин.

— Трудно так сказать, гипотетически...

Я этой фигурой интересовался, старался читать о нем... Он был человеком, который не рвался к власти. Беда в том, мне так кажется, что сейчас, увы, у власти большинство людей, которые стоят у власти ради самой власти. А у Столыпина был ряд идей, которые он пытался реализовать. Можно было с ними не соглашаться, можно также говорить что он, например, общины хотел разрушить, это также как разрушить сейчас колхозы, он хотел в России насадить, — капиталом, причем, — в сельском хозяйстве капитализм. Так что трудно сказать — справился бы, не справился... А что ситуация? Ситуация очень нормальная. Весь мир проходит эту ситуацию. Что, в Америке сразу установилась такая система? Да двести лет прошло! А в Англии?.. Если брать исторические отрезки... Мы почему-то думаем, что это мы такие страдалцы, что нам так не повезло — это везде так было. Я считаю, что все это закономерно. И от того, что переизберут президента или переизберут Верховный Совет — ничего не изменится на самом деле. Нужно время, чтобы люди привыкли жить по-другому.

— В ваших сценариях, почти во всех, присутствует момент светлой, доброй сказочности...

— Мне трудно говорить о себе. Я не могу «выйти из себя», чтоб посмотреть со стороны. Серьезно. Я себя так не воспринимаю.

— А как?

— Да никак. Мне некогда о себе думать, я все время работаю. Когда начинаешь работать в кино, становишься профессионалом, то начинаешь жить практически только им. И, конечно, реальную жизнь не воспринимаешь во всем объеме. Первые годы было по-другому. Было время сходить в пивбар, с друзьями встретиться...

— Жалеете?

— Моя жизнь сложилась так как сложилась, и я вообще-то фаталист в этом смысле. Каждый должен делать то, что ему предназначено. Мне, видимо, предназначено писать сценарии, по крайней мере на данном этапе. Но я хотел бы заниматься этой работой и дальше, всю жизнь...

— А в гороскоп вы верите?

— Да. По знаку Водолей, а по году то ли обезьяна, то ли еще кто-то... Ведь

восточный новый год как раз и наступает в феврале, в Водоле. Все никак не соберусь посмотреть, когда он наступил в мой год рождения...

— А конструировать характеры героев, опираясь на гороскоп, вы не пробовали? Ведь так удобно — уже задан характер, судьба...

— Вы знаете, я как-то прочел американскую книгу гороскопов и поразился, насколько их определение моего знака совпадает со мной! Но писать — нет, я вообще характеры не конструирую... Я их чувствую, что ли... Несмотря на весь мой конструктивизм, в этом я... Да, это интуиция, в общем.

— Говорят, наступает век Водолея, вы это на себе ощущаете?

— Как наступление своего — моего — времени — нет, мое, пожалуй, уже уходит... Говорят и Россия — под знаком Водолея, вот тут мы совпадаем, то есть я полностью совпадаю с нашей страной.

— То есть вы, как это делают сейчас многие, не примериваете мысленно, не прикидываете на себя эмиграцию?

— Нет! Вот я сказал «с нашей страной», а знаете, как сейчас говорят: «с этой страной», «я не могу жить в этой стране» — вы когда-нибудь слышали, чтоб американец или там англичанин так сказал о своей Родине? А мы — «в этой стране»! Меня бесит. Это уже какая-то внутренняя эмиграция, отделение. Нет, это моя, наша страна, я здесь живу и буду жить, и работать, и так далее! И что бы тут ни произошло, это произойдет с нами.

— А в плане творческом — не хотели бы поработать на Западе?

— Я просто знаю, что это бессмысленно, все равно ничего не выйдет. Они нас считают людьми, ну, не второго, а просто другого сорта. И это так и есть. Мы однажды большой делегацией поехали в Штаты, наша гильдия кинодраматургов в гости к их гильдии. И нас прекрасно принимали, искренне старались нам помочь в чем-то, все показать, рассказать, поделиться... И коллеги наши тоже вполне искренне размышляли о возможностях контракта с Голливудом, и вполне серьезно надеялись, сутились... Но я знаю, что наш сценарист, пусть он будет даже самым гениальным, пусть на порядок выше их профессионалов, все равно никогда там свой фильм не сделает. Мы разные. В Лондоне как-то приехали по поводу одного совместного проекта. Тоже нас прекрасно приняли, вроде обо всем договорились. И вдруг их режиссер говорит: перед началом работы вам не мешало бы посмотреть американские фильмы. Наш директор возмущился: за кого, мол, вы нас принимаете, за неандер-

тальцев? Да мы видели все лучшие ленты мирового кино! Наш директор обиделся. А я нет. Ведь они смотрят наши фильмы и не понимают их — естественно, они думают, что мы также не понимаем их кинематографа. И мы, наверное, не все понимаем...

— А чего бы вы, в таком случае, хотели? В смысле — о чем мечтаете, какие планы?

— Во-первых, снять «Сны»...

— Когда съемки?

— Тьфу-тьфу-тьфу... в конце мая-июне. Сейчас только начинаем, натуру выбираем, актеров ищем. Теперь же времена такие — надо все быстро делать.

— Это ближайшие планы, а дальнейшие?

— Всю жизнь хотел писать детективы, сценарии детективов. Я их очень люблю.

И все никак не удается. В «Снах» была детективная линия, мы ее выкинули, остался один намек, и в «Городе Зеро»... Но это — моя ближайшая задача. И еще я хотел бы жить в деревне. Раз в год уезжаю на север к тестю с тещей. У них там дом есть. Сын охотится, а я люблю дрова колоть, за грибами ходить. Среди местных даже знатоком считаюсь... Кто-то скривится — пейзаж... Но я хотел бы жить в деревне, честно. И писать детективы... Хотя, может быть, через год бы и сбежал...

Интервью вел Т. РЫБАКИНА
М. СЕРГИЕНКО

КИНОКОМЕДИЯ

АЛЕКСАНДР БОРОДЯНСКИЙ КАРЕН ШАХНАЗАРОВ

СНЫ

— Так что же вас беспокоит, графиня? — спрашивает мужчина в строгом черном сюртуке.

Перед ним сидит женщина в длинном платье, в шляпе с вуалью. Они находятся в красивом кабинете красного дерева.

— Меня беспокоит сон, доктор, — говорит графиня. — Он преследует меня вот уже несколько дней. Один и тот же сон... Будто я работаю в столовой номер девять в Москве в тысяча девятьсот девяносто втором году...

— В столовой, вы сказали?.. — вскидывает брови доктор. — И что же это такое?..

— Ну, это, как кафе... только очень грязное... И очень много пьяных.

— А-а, трактир, — кивает доктор. — И кем же вы там работаете?

— Посудомойкой, — говорит графиня. — Меня зовут Маша Степанова, мне двадцать лет. Я — лимитчица, живу в общежитии...

— Можете ли вы припомнить детали, которые вы видите в этом сне?..

Графиня морщит лоб.

— А, да!.. Там у нас пропали четыре килограмма сахара... Семену Борисовичу при-

слали его с проводником из Киева, он спрятал его в сейф, и вот он пропал...

— Кто такой Семен Борисович? — заинтересовывается доктор.

— Семен Борисович — наш бухгалтер. Довольно мерзкая личность. Он все время пристаёт ко мне.

При этих словах графиня густо краснеет.

— Гм... — хмыкает доктор.

— Еще там все время приходит какой-то тип в пальто, тоже довольно неприятный субъект... Он всегда слегка пьян и предлагает стать его любовницей... — Графиня понижает голос и признается доктору: — Говорят, что он очень крутой...

— Какой? — глаза доктора становятся круглыми, как бильярдные шары.

— Крутой!.. Ну, такой... разбойник! У него большое авто, очень красивое. Он катает на нем валютных проституток...

— Кого?.. Каких проституток? — не понимает доктор.

— Ну, таких проституток, которые работают за доллары, франки, — объясняет графиня. — Не за рубли в общем...

— Отчего же они не берут рубли? — изумляется доктор.

— Да кому они нужны, деревянные, — презрительно улыбается графиня.

— Однако... — доктор молчит. Наконец говорит: — Да... Я полагаю, графиня, что у вас венус десторогиус. Нервное переутомление, — поясняет он, заметив встревоженный взгляд графини. — Я вам рекомендую отдых в Крыму...

— Мы как раз собираемся с мужем ехать туда. — Графиня встает.

— В таком случае, привет графу, — галантно провожает ее до двери доктор.

На улице кучер помогает сесть графине в карету и спрашивает:

— Куда прикажете ехать, графиня?..

— К портному.

Графиня стоит перед зеркалом и разглядывает в нем себя в вечернем элегантном платье.

Около нее суетится пожилой лысоватый человечек с сантиметром на шее.

— Ну и что вы думаете? — спрашивает графиня.

— Превосходно!.. Это платье будто рождено для вас!

Графиня не может сдержать довольной улыбки.

— Благодарю вас, господин Штокман... Не могли бы вы прислать мне это платье завтра не позднее одиннадцати утра?..

Портной учтиво склоняет голову в знак согласия.

В этот момент в салон входят двое подмастерьев. Они несут манекен с надетым на него платьем изумительной красоты.

Графиня застывает.

Подмастерья осторожно ставят манекен и уходят.

Графиня подходит к платью, замороженно разглядывает причудливое шитье на лифе и плечах.

— Что это за платье, господин Штокман? — спрашивает она.

— Это платье принадлежит княгине Полонской.

— Как? Варе Полонской?! Отчего же вы не предложили мне этот фасон? — расстроено произносит графиня.

— Этот фасон княгиня получила от знаменитого Версальского мастера мсье Ришара.

Графиня чуть не плачет.

— Значит княгиня придет в нем на бал...

— Полагаю, да, — говорит господин Штокман.

Особняк графа Призорова.

По длинной анфиладе комнат идет графиня. Она возбуждена.

Войдя в просторный кабинет, графиня говорит с порога:

— Димитрий!..

Сидящий за массивным письменным столом граф Призоров, мужчина лет 60-ти, обобщается.

— Димитрий... — повторяет графиня и раздражается рыданиями.

— Что случилось, графиня? — поспешно встает из-за стола граф.

— Граф, я не могу быть завтра на бале!..

— Но это невозможно. Вы прекрасно знаете, что бал дается в честь Великого князя. Не присутствовать на нем — значит оскорбить императорскую фамилию...

— Но присутствовать на нем только для того, чтобы своим убогим туалетом оттенять блеск княгини Полонской — нет, увольте! Это выше моих сил!..

— Отчего вы так решили? — спрашивает граф.

— Оттого, что я только что видела платье, в котором княгиня будет завтра!..

— А-а, вот в чем дело, — слегка улыбается граф. — Поверьте, графиня, вы сами по себе такой бриллиант, который не нуждается ни в какой оправе!

Граф целует графине руку и звонит в колокольчик.

Входит слуга.

— Степан, вели подать мне кофий сюда, — говорит граф. — Мне необходимо закончить доклад императору...



— Может, его мыши съели, Семен Борисович? — спрашивает в бухгалтерии столовой № 9 дородный повар в колпаке.

В бухгалтерии перед распахнутым сейфом кроме него стоят: бухгалтер Семен Борисович, невысокий лысеющий мужчина, Маша Степанова, девушка лет 20-ти, уборщица тетя Клава и еще какой-то тип — не то грузчик, не то посетитель.

— Да какие мыши! — отмахивается Семен Борисович. — Как могли мыши сейф открыть?!

— Зачем же вы его в сейф положили, Семен Борисович? — спрашивает повар.

— А куда мне его класть, когда кругом воруют!..

— Да, беда... — вздыхает тетя Клава. — Подумать только — четыре килограмма сахара сперли...

— Если никто добровольно не вернет до 12-ти часов — я заявлю в милицию! — угрожающе объявляет Семен Борисович.

Все расходятся.

— Степанова, стой-ка, — останавливает Машу Степанову Семен Борисович. — Хочешь фильм по видео посмотреть? — предлагает он, глядя на Машу мяслянистыми глазами.

— Нет, — сухо отказывается Маша.

— Ну чего ты такая?.. Поедем! Коньячку выпьем... — Семен Борисович тянется рукой к машинному бедру. Маша бьет его по руке.

— Вот дура! — расстраивается Семен Борисович. — Я же тебя люблю.

Маша выходит в зал, начинает собирать со столов грязную посуду.

Зал пуст. Только в самом углу сидит седовласый мужчина лет 60-ти богемного вида, небритый, в пальто и кроссовках. Он ест курицу. Мужчина так же удивительно похож на графа Призорова, как Маша Степанова — на графиню.

— Поди-ка сюда!..

Маша подходит.

— В кино сняться хочешь? — предлагает мужчина.

Маша задумывается.

— А что за кино?

— Да я начинаю фильм о путче. По заказу Британской компании. Политический триллер, — объясняет мужчина.

— А кого ж я играть буду?

— Будешь играть главную героиню. Героиня — студентка университета, защитница Белого дома, — объясняет мужчина. — Президент поручает ей пробраться в расположение 48-й воздушно-десантной дивизии и узнать время, назначенное путчистами для



штурма Белого дома. Командир дивизии генерал-майор Росторгуев — убежденный коммунист обещает студентке сообщить час икс, но только в том случае, если она отдастся ему. Студентка — невинная девушка, к тому же за ней ухаживает студент-демократ с филфака, но ради победы демократии она готова вступить в половую связь с путчистом. Ну что, согласна? — спрашивает режиссер.

— Согласна, — говорит Маша.

— Ну, тогда сейчас поедем на съемки.

Из дверей бухгалтерии Семен Борисович злобно смотрит, как Маша с режиссером уходят из столовой.

Возле Белого дома. Вечер.

Вцепившись друг в друга локтями, стоят цепочкой молодые люди и девушки с противогазными сумками.

Издали, со стороны Белого дома доносится рок-музыка.

Кое-где видны плакаты «ПУТЧ НЕ ПРОЙДЕТ!».

Перед цепочкой появляются два депутата РСФСР.

— Товарищи, нужен доброволец для опасного задания! — выкрикивает один из них. — Кто согласен пойти?..

— Я!.. Я!.. — поднимается лес рук.

Депутаты переглядываются.

— Замечательная все же у нас молодежь, Олег! — говорит один улыбаясь. — Кого же выбрать?

— А вот девушка в мини-юбке. Мне кажется, она подойдет для этого задания, — кивает второй на стоящую среди добровольцев Машу.

— Как вас зовут, девушка? Подойдите, — говорит первый депутат.

Маша подходит.

— Меня зовут Маша Степанова, — говорит она.

— Президент поручает вам проникнуть в расположение 48-й десантной дивизии, — объявляет депутат. — Вы должны разузнать там, на какой час путчисты назначили штурм Белого дома.

— Вы должны вернуться не позднее 6-ти утра, — добавляет второй депутат. — Помните: судьба демократии находится в ваших руках.

Утро. Ранний рассвет.

По лесной дороге энергично шагает Маша Степанова, то и дело поглядывая на часы.

— Стой, кто идет! — звучит грозный окрик. Из кустов появляется увешанный гранатами десантник.

— Мне необходимо увидеть командира дивизии,— говорит Маша.

Десантник щелкает тумблером радиации:

— Сокол! Я — Ястреб! Тут красивая девушка в мини-юбке хочет видеть командира дивизии.

— Пропустите! — командует радиация.

Штаб десантной дивизии.

В просторной комнате, увешанной картами и портретами членов ГКЧП, молодцеватый генерал алчно разглядывает машину фигурку, эффектно подчеркнутую мини-юбкой.

— Значит, вы хотите знать время, когда мы пойдем на штурм? — говорит он.

— Да, генерал,— говорит Маша и кокетливо улыбается.

— Что ж, я скажу вам это, но только в том случае, если вы вступите со мной в половую связь,— говорит генерал.

Маша опускает глаза. Потом начинает раздеваться.

Генерал алчно смотрит на нее.

Маша уже почти обнажена.

— Только имейте в виду, генерал, я — девушка,— говорит она, бросая лифчик на карту.

Генерал смотрит на ее молодые груди, потом вдруг резко отворачивается.

— Оденьтесь,— хрипло говорит он.

Маша недоуменно смотрит на генерала.

— Передайте Президенту, что штурм не будет,— говорит генерал.— Десантные войска против народа не пойдут.

— Спасибо! — Маша бросается генералу на шею и целует его.

— Спасибо тебе, девочка,— говорит расстроганно генерал.— И поспеши в Белый дом — Президент ждет.

Лесная дорога. По ней, все время поглядывая на часы, торопливо идет Маша.

Вдруг навстречу ей из-за поворота выходит мужчина с рюкзаком за плечами, в шипованных туристических ботинках и с альпенштоком в руке.

Увидев Машу, он останавливается как вкопанный.

— Степанова?! — изумленно вскрикивает он.

— Семен Борисович?.. — Маша тоже удивлена.— Что вы здесь делаете?

— Я отдыхаю. Здесь на турбазе неподалеку,— говорит бухгалтер и, горячо задышав, придвигается к Маше.— Какая ты эффектная в этой юбочке! Пойдем ко мне...

— Мне некогда!..

Маша пытается обойти Семена Борисовича, но тот цепко хватается ее за руку.

— Ну чего ты! Пойдем на полчаса — не пожалеешь!..

— Нет!

Маша отталкивает Семена Борисовича и бежит по дороге.

С криком: «Ах, проститутка!» — Семен Борисович бросается за ней, догоняет, хватается сзади и валит на обочину.

— Пустите, пустите! — вырывается Маша, но Семен Борисович ловко задирает ей подол мини-юбки.

— Попалась, демократка! — торжествует он.

— Пустите, пустите, коммунист проклятый! — выкрикивает графиня.

Она просыпается и видит графа, который, открыв рот от изумления, склонился над ней.

— Что с вами? — спрашивает он.— Вам что-то приснилось?

Графиня проводит ладонью по лицу, словно пытаясь согнать остатки кошмарного сна.

— Мне приснилось, что мною пытался овладеть Семен Борисович,— говорит она.

— Какой Семен Борисович? — вскидывает граф брови.

— Бухгалтер из нашей столовой...

— Бухгалтер! Из столовой?! Графиня, о чем вы говорите?!

— Ну, это все во сне, граф... Я спешила в Белый дом, чтобы предупредить Президента, что штурм не будет, а Семен Борисович встретил меня в лесу...

— Графиня,— обрывает графиню граф.— Вы были у доктора?

— Да, вчера. Он сказал, у меня небольшое переутомление, необходимо ехать в Крым...

— Прекрасно! Полагаю, чем скорее — тем лучше! Как только я выступлю с докладом на Государственном Совете — мы тут же выедем в Ялту! — решает граф.

Входит служанка. В руках у нее большая коробка.

— От господина Штокмана прислали платье,— говорит она.

— А, то самое,— вспоминает граф.— Покажи-ка мне его, Параша.

Служанка достает из коробки платье. Граф с видом знатока осматривает его и удовлетворенно произносит:

— Превосходное платье!

Графиня при этих словах морщится.

— Вы не видели платье Полонской,— говорит она.

Граф пожимает плечами и обращается к служанке:

— Параша, вели Тимофею подать мне ко-

фий в кабинет. Мне необходимо завершить доклад императору...

Граф уходит. Параша не двигается с места.

Графиня встает с постели.

— Поддай мне платье, Параша...

Она берет платье, прикладывает его к плечам и задумчиво смотрит на себя в зеркало.

— Знаешь, Параша, принеси-ка мне ножницы, — вдруг говорит она.

— Ножницы?..

— Да-да, ножницы!

Георгиевский зал Кремля.

Сверкают бриллианты и обнаженные плечи дам в вечерних туалетах, ордена в петлицах фраков и на военных мундирах.

А представители высшего света все прибывают.

— Князь и княгиня Полонские! — объявляет распорядитель бала.

В зал входит красавица-княгиня в сногшибательном платье с молодцеватым гвардейским офицером.

Десятки лорнетов, моноклей устремляются на них.

— Полонская сегодня хороша необыкновенно! — шамкает беззубым ртом носатая старушка, разглядывая княгиню через лорнет. — Несомненно, она будет сегодня фавориткой — посмотрите, какое платье на ней.

— Подождем ее соперницу, графиню Призорову, — говорит скрипучим голосом ее подруга, такая же древняя старушка.

— Граф и графиня Призоровы! — объявляет распорядитель бала.

В зал входят граф и графиня.

На графине длинная накидка до пят, скрывающая ее платье.

Все лорнеты и монокли перемещаются от Полонской к ней.

Графиня знаком подзывает лакея и сбрасывает накидку ему на руки.

По залу проносится гул. Обе старушки роняют лорнеты — графиня оказывается в мини-юбке, которая обнажает ее стройные ножки.

Не замечая экстравагантного наряда супруги, граф Призоров по-своему истолковывает реакцию зала.

Отвешивая по сторонам поклоны, он шепчет графине:

— Ты произвела настоящий фурор... Посмотри на Полонскую — сейчас она упадет в обморок!..

Под взглядами пребывающих в шоке участников бала они подходят к Великому князю.

— Позвольте засвидетельствовать наше

почтение, Ваше сиятельство! — произносит граф и осекается, заметив немигающий взгляд Великого князя, устремленный мимо него вниз.

Проследив за этим взглядом, граф поворачивается, слегка наклоняется и застывает, остолбенев.

Графиня же, как ни в чем не бывало, кокетливо улыбается Великому князю.

Кабинет доктора.

— Однако, это настоящий скандал. — говорит доктор.

— Не то слово! — восклицает граф. — Можете представить: Великий князь, Великая княгиня, весь свет и моя супруга вот в такой юбке!..

Граф проводит рукой выше колен.

— Однако, почему ей пришла в голову такая мысль? — удивляется доктор.

— Дело в том, что в своих снах она ходит именно в такой юбке.

— Однако, у графини довольно странные сны, — замечает доктор.

— Странные?! Не то слово, доктор! Это просто кошмар! Знаете, этой ночью графиня увидела во сне меня! И знаете, чем я там занимаюсь?

— Чем же?

— Торгую на Арбате порнографическими фотографиями!..

Доктор изумленно смотрит на графа.

— Да, да, доктор! — кивает граф. — Графиня позирует мне совершенно обнаженная в непристойных позах, я ее фотографирую и потом продаю эту мерзость на Арбате по 120 рублей за штуку.

Доктор не сразу обретает дар речи.

— Но помилуйте, ваше сиятельство, за чем же вы это делаете?

— Жить-то надо как-то, — говорит граф и поясняет: — Я ж на пенсии, а цены сумасшедшие. Хлеб двенадцать рублей стоит!

— Что, пуд? — изумляется доктор.

— Булка! Одна булка! Колбаса останкинская — сто восемьдесят шесть рэ! Причем далеко не первой свежести. Яйца по тридцать рублей десятком!

Граф вдруг осекается, поймав взгляд доктора.

— Простите, я, кажется, тоже не в себе, — говорит он. — Однако эта обстановка ужасно действует на нервы!..

Доктор встает, проходится по кабинету.

— М-да... Весьма и весьма странно... Вот что, граф, я дам вам микстуру, — решает он. — Это новейшее германское средство. Мне прислал ее мой коллега профессор Розенберг из Берлина. Она наверняка избавит графиню от ночных кошмаров... Давайте

ей две столовые ложки каждый вечер перед сном.

Граф встает, берет у доктора стеклянный флакон.

— Благодарю, доктор...

Он идет к двери.

— Держите меня в курсе дела,— говорит ему вслед доктор.

Кабинет в особняке графа Призорова. Ночь.

Граф работает за письменным столом.

Часы бьют двенадцать.

Граф встает, берет канделябр, выходит из кабинета.

Пройдя по анфиладе комнат, граф входит в спальню, подходит к кровати под розовым балдахином, склоняется над изголовьем и смотрит на безмятежное, спокойное лицо спящей графини.

Бросив взгляд на стоящий на столике початый флакон с микстурой, граф удовлетворенно выходит из спальни.

В своей опочивальне он тушит свечи в канделябре, ложится в постель и закрывает глаза.

Спальня графини.

Графиня спит с безмятежным выражением лица. Вдруг на лице ее появляется кокетливая улыбка.

Комната в коммунальной квартире.

— Бедро покруче, покруче! — говорит граф, прильнув к визиру фотоаппарата.

Совершенно обнаженная Маша Степанова пытается принять необходимую графу позу.

— Ножку чуть левее!

— Я больше не могу...

Маша раздражается слезами. Набросив халатик, садится на стул.

— Значит, ты хочешь, чтобы я умер голодной смертью?! — восклицает граф.

— Нет, не хочу,— говорит Маша.— Но сниматься голой я больше не буду...

— Пойми: каждая твоя фотография идет по сто двадцать рублей! — убеждает ее граф.— Если бы не это, мы давно бы умерли с голоду... Черт бы побрал этих реформаторов! — в сердцах восклицает он.

— А вы не пейте мартини по пятьсот рублей за бутылку и не курите сигары...

— Что ж ты хочешь, чтоб я пил эту молдавскую кислятину, которую ты купила на рынке? — обиженно кивает граф на полупустую трехлитровую банку.

— Но вы же говорили, что фотографируете меня для шоу в Калифорнии, а сами торгуете ими на Арбате...

— В Калифорнию я уже послал. Жду ответа,— говорит граф.

Звонок в дверь.

— Это, наверное, опять из жека,— решает граф.— Меня нет дома.

Маша идет в прихожую, открывает дверь.

— Вам кого? — спрашивает она старичка в потертом пальто и шляпе.

— Я по объявлению,— сообщает старичок.

— По какому объявлению?

— В «Московском комсомольце» — Старичок разворачивает газету читает вслух: — «Бисексуал ищет обеспеченного друга-спонсора или подругу с причудами. Оплата в СКВ». И тут ваш адрес.

Маша заглядывает в газету, затем оторопело смотрит на старичка.

— Это какая-то ошибка,— говорит она.

— Как ошибка? Адрес-то ваш!..

— Что тут происходит? — появляется в прихожей граф.

— Да вот какой-то маньяк-сексуал дал объявление на наш адрес,— говорит Маша.

— Заходите, заходите! — оживляется граф.

— Так я ошибся или нет? — уточняет старичок.

— Нет, нет... Вы минус или плюс? — осведомляется граф, когда старичок входит в комнату.

— Я — плюс,— говорит тот.

— Значит я — минус,— понимающе кивает граф и спрашивает: — Валюта у вас при себе?

— Валюты у меня нет,— говорит старичок.— Я в рублях, по коммерческому курсу...

— Здравствте! — Улыбка сползает с лица графа.— Там же русским языком написано: оплата в СКВ.

— Но я готов платить по сто семьдесят,— говорит старичок.

— Нет, нет, милейший! Нам деревянные ни к чему! Давай-ка отсюда.

Граф бесцеремонно выталкивает старичка за дверь и, захлопнув ее, возвращается к Маше:

— Вот жулик!..

— Граф,— обрывает его Маша.— Вы что, совсем сбрендили?..

— А что делать? — разводит граф руками.— Нужда заставит, Машенька... Это ты к нашему правительству дорогому! Довели пенсионеров до ручки! — возмущается он.— Ладно, ты займись ужином, а мне пора на работу...

Граф надевает пальто и уходит.



Арбат. Вечер.

Граф прохаживается между торговыми лотками и, время от времени приоткрывая полу пальто, демонстрирует свой товар — прикрепленные к подкладке фотографии обнаженной Маши.

Фотографиями заинтересовывается мальчик лет 10-ти.

— Почему? — спрашивает он.

— По сто двадцать!

— И эта?

— Ты либо покупай, либо проваливай! — говорит граф.

— Давай вот эту, за доллар, — решает мальчик.

Проверив на свет, не фальшивый ли доллар ему всучили, граф вручает мальчику фотографию, и тот удаляется.

— Позвольте взглянуть? — раздается приятный мужской голос.

Граф оборачивается.

Перед ним стоит чернявый мужчина с бородкой.

— Какая эффектная девушка, — с видом знатока отмечает он. — И почему?

— По сто двадцать.

— Необыкновенно хороша, — не может

налюбоваться фотографиями мужчины и обращается к своему товарищу-блондину: — Вот кого нам надо в правительство...

— Да, — кивает головой его товарищ.

— А вы, простите, откуда будете? — оробев, интересуется граф.

— Мы члены правительства. Прогуливаемся тут по Арбату... — объясняет блондин. А чернявый добавляет:

— Нам как раз нужен министр экономики... Молодая, эффектная женщина...

— Тогда это именно то, что вам надо! — объявляет граф.

— Да мы и смотрим: хорошая девушка! Нельзя ли с ней познакомиться?

— Ноу проблем! Мы тут неподалеку живем!

— У нас лимузин, — говорит чернявый, и все направляются к стоящему неподалеку «зилу».

— Да я же не справлюсь, — говорит Маша, поспешно наводя порядок в тесной комнатенке, где они живут с графом. — Я же простая посудомойка...

— А мы что, академики что ли? — говорит чернявый. — И ничего, справляемся...

— Вина не хотите? — предлагает граф.

— Можно по стаканчику...

Граф разливает вино по стаканам. Мужчины, чокнувшись, выпивают. Крякают.

— Но почему вы выбрали именно меня? — недоумевает Маша. Она успела, скрывшись за занавеской, переодеться в нарядное платье.

— Дело в том, что главная задача министра экономики — выбить кредиты из Запада, — объясняет чернявый. — А кто это может сделать лучше красивой обаятельной девушки?..

— Банкиры, вы знаете, какие все? — говорит блондин.

— Знаем, — понимающе кивает граф и предлагает: — Еще по стаканчику?

— Нет, нам пора, — отказывается чернявый. — У нас совещание у Президента...

Просторный кабинет с видом из окон на башни Кремля.

— Позвольте вам представить нового министра экономики, товарищи, — говорит сидящий к нам спиной председательствующий.

Маша встает.

Члены правительства — десятка два мужчин — с удовольствием разглядывают ее стройную фигуру.

— Отводов, вопросов нет? — спрашивает председательствующий.

— А Верховный Совет утвердит? — с сомнением говорит кто-то.

— Утвердит, — уверенно говорит чернявый.

— Гнать надо этот Верховный Совет! — запальчиво говорит худощавый мужчина.

— Тише, тише, Эдуард, — успокаивает его председательствующий и обращается к членам правительства.

— Ну что, нет больше вопросов к Степановой?..

— Нет! Пусть работает! — дружно галдят члены правительства.

— Поздравляю, товарищ Степанова, — говорит председательствующий. — Есть у нас еще что по повестке?

— Хохлы вот бузят, — сообщает чернявый.

— Чего они там опять хотят? — хмурится председательствующий.

— Сахар нам не дают.

— Почему?

— Не хотят!

— Вот черт! — с досадой говорит председательствующий. — Что будем делать, товарищи?

— Надо послать им телеграмму, — предлагает худощавый. — Пусть дадут сахар!

— Правильно, — решает председательствующий. — Пошлем им телеграмму... Еще что-нибудь есть?

— Завтра прилетает представитель Международного валютного фонда барон Доменик, — сообщает чернявый.

— Вот это важно, — говорит председательствующий... — Как бы так сделать, чтобы они нам денег дали побольше, а?..

— Для этого-то мы и назначили министром экономики Степанову, — объясняет чернявый.

— Вы уж постарайтесь, товарищ Степанова, — просит Машу председательствующий. — Чтобы как можно больше они нам дали, ладно?

Маша кивает.

— Этот барон — такая лиса! — говорит один из членов правительства. — Я с ним в Париже переговоры вел — трудно его будет расколоть.

— Степанова расколеть! — уверенно говорит чернявый.

— Хорошо. Ну что, все? — спрашивает председательствующий.

— Тут телеграмма пришла, — говорит секретарь. — Из Казани.

— Из Казани? — Председательствующий настораживается. — И чего там?

— Хотят, чтобы мы с ними в футбол сыграли. Правительство на правительство.

— Вот черти! — с досадой говорит председательствующий. — Что будем делать, товарищи?

— Придется играть — никуда не денешься... — мрачно говорит худощавый.

— Они нам накостиляют! — уверенно говорит член правительства, который вел переговоры в Париже. — Татары, они ужас какие здоровые.

— Что же делать? — Председательствующий обводит взглядом членов правительства.

— А пускай с ними Верховный Совет играет! — предлагает худощавый.

— Правильно, Эдуард! — одобряет председательствующий. — Пусть Верховный Совет отдувается!

Черный правительственный лимузин выезжает из Кремля.

Милиционеры отдают ему честь.

Лимузин мчится по пустынному загородному шоссе. Затем сворачивает в лес и, въехав в ворота в зеленом заборе, останавливается возле изящной двухэтажной дачи.

Из лимузина выходят Маша с графом. К ним тут же подходит подтянутый мужчина в элегантном костюме.

— Позвольте представиться, товарищ ми-

нистр: начальник охраны майор Пантелеев!

— Степанова,— протягивает Маша руку майору.— Мой супруг — граф Призоров,— представляет она графа.

В просторном холле начальник охраны знакомит новых хозяев с дачей:

— Кабинет... Гостиная... Столовая... Кухня... Комната кухарки-повара... Правительственная связь,— показывает он на шеренгу телефонов...— Спальни — на втором этаже.

— Милейший, а речка здесь есть? — осведомляется граф.

— Бассейн. Если я вам понадобится — нажмите вот эту красную кнопку.

Показав на одну из пяти разноцветных кнопок, вделанных в дубовую панель, начальник охраны уходит.

— По-моему, неплохо,— говорит граф.— Государство создало все условия, чтобы ты могла плодотворно трудиться.

— Материальные блага для меня не главное,— говорит Маша.— Главное — оправдать доверие Президента и вывести нашу экономику из глубокого кризиса.

— Совершенно с тобой согласен, Маша,— кивает граф.

В дверь стучат.

— Разрешите?

В холл входят трое мужчин. Один — в костюме с бабочкой, второй — коренастый крепыш в спортивной куртке, третий — дородный, солидный, в ковбойке с короткими рукавами и хозяйственной сумкой в руке.

— Вы новый министр экономики Степанова? — спрашивает мужчина с бабочкой.

— Совершенно верно,— говорит Маша.

— А мы ваши соседи. Это — замминистра обороны генерал-полковник Клочков,— кивает мужчина на крепыша в куртке.— У него дача слева от вашей. Это министр сельского хозяйства Иван Иванович Курочкин,— представляет он мужчину в ковбойке.— Его дача справа от вашей. А я — министр культуры Брондуков-Букеев. Моя дача как раз позади вашей.

— Очень приятно,— говорит Маша.— Это мой супруг граф Призоров.

— Очень приятно!

Мужчины по очереди жмут руку графу.

— А мы вот шли мимо,— говорит Брондуков-Букеев,— думаем, дай как зайдем, познакомимся...

— И правильно сделали,— одобряет граф.— Присаживайтесь.

Все рассаживаются в креслах.

— Мы как раз с графом обсуждаем

проблемы кризиса нашей экономики,— говорит Маша.

— Это очень серьезная проблема,— кивает министр сельского хозяйства.

— Мы тоже только что об этом говорили,— добавляет замминистра обороны.

— Безусловно, нужны срочные меры по выводу экономики из кризиса,— говорит Брондуков-Букеев.— Я вот был недавно во Франции — у них в магазинах всего навалом, а у нас ничего нет!

— Это потому, что падает производство,— веско говорит генерал.

— Это верно! — подтверждает министр сельского хозяйства.

— Многое зависит от нас, товарищи,— говорит Маша.— Мы должны много работать, отдавать все силы, чтобы оправдать доверие народа.

Звонит телефон. Маша берет трубку.

— Да, это я. Соединяйте. Президент хочет со мной поговорить,— сообщает она присутствующим, прикрыв ладонью трубку.— Здравствуйте, товарищ Президент. Спасибо, дача прекрасная! Да, я знаю, что ситуация очень сложная. Мы как раз обсуждаем это с коллегами. Кто? Генерал Клочков, товарищ Курочкин и Брондуков-Букеев. Вице-президент? Нет, не заезжал. Хорошо, если заедет, я обязательно передам.

Маша кладет трубку.

— Президент передает всем вам привет,— говорит она.

— Президент работает не покладая рук,— замечает Курочкин.

— Вице-президент тоже работает не покладая рук,— говорит генерал Клочков.

— Мы должны брать с них пример,— говорит Брондуков-Букеев.

— Им сейчас очень трудно,— говорит Маша.— Мы должны им помочь!

— Вся надежда на нас — чем больше мы будем работать, тем лучше будет жить наш великий народ,— говорит Брондуков-Букеев.— Да, можно работать еще лучше,— соглашается генерал.

— Надо отдавать все силы работе,— добавляет Курочкин.

Входит горничная.

— Ужин подан.

— Давайте перекусим, товарищи, а потом продолжим нашу беседу,— предлагает Маша.

— Давайте,— соглашаются все, рассаживаясь за сервированным для ужина столом.

— Кто что будет пить, товарищи? — спрашивает Маша.

— Я — джин с тоником,— говорит Курочкин.

— Я — виски,— говорит Брондуков-Букеев.

— А я — водку,— говорит генерал.

— А вы, граф? — разливая напитки, спрашивает Маша.

— Я коньячку дерну, — говорит граф.

— А я выпью стакан сухого вина, — решает Маша и, наполнив свой стакан, поднимает его: — Давайте выпьем за возрождение нашей России! Давайте!

— Давайте! — дружно соглашаются все. Выпивают.

— Закусывайте, — гостеприимно предлагает Маша.

Все начинают закусывать.

— До революции Россия производила больше всех хлеба, — говорит Курочкин. — А сейчас мы хлеб закупаем в Канаде.

— Это потому, что мы недостаточно производим зерна, — говорит генерал.

— Это очень серьезная проблема, — говорит Маша. — Надо производить зерна гораздо больше, чем сейчас, тогда у нас будет много хлеба. Как до революции.

— Мы должны поддерживать фермеров, — говорит Брондуков-Букеев.

— Совершенно верно, — соглашается Курочкин. — Но при этом должны сохранить колхозы и совхозы.

— Это важнейшая задача, — говорит генерал. — Но пока мы ее не решили — нам необходимы западные кредиты!

— Да, — соглашается Курочкин. — Если Запад даст нам кредиты, мы купим на них зерна и накормим наш народ.

— Народ у нас очень хороший, — говорит Маша.

— Нигде нет такого народа! — кивает Брондуков-Букеев.

— Мы должны оправдать его доверие, — говорит генерал.

— Для этого мы должны очень много работать! — говорит Маша.

— Вы и сейчас работаете немало, — говорит граф. — Но должны работать еще больше!

— Вы правы, граф, — говорит Брондуков-Букеев. — Я, например, к вечеру валюсь от усталости, но все равно с досадой чувствую, что сделано еще очень мало!

— Я тоже устаю к вечеру очень сильно, — говорит Курочкин.

— И я, — говорит генерал, — но все равно работаю в штабе до 4-х часов утра.

— А я просыпаюсь ночью и тоже работаю до 5-ти, — говорит Курочкин.

— Я тоже часто просыпаюсь, — говорит Брондуков-Букеев, — и тоже работаю до половины шестого.

— И все равно этого недостаточно! — говорит генерал. — Мы должны работать как минимум до шести.

Горничная вносит поросенка на блюде.

— Какой поросенок аппетитный! — отмечает Брондуков-Букеев.

— Давайте выпьем под поросенка, — предлагает Маша.

— Давайте! — соглашаются все.

Выпивают. Начинают есть поросенка.

— До революции Россия занимала по поголовью свиней второе место, — говорит Курочкин, — а сейчас поголовье свиней резко сократилось.

— Это потому, что их нечем кормить, — замечает генерал.

— Если Запад даст денег, мы купим зерна, будем кормить поросят, и у нас вырастет поголовье свиней, — говорит Курочкин.

— И наш народ сможет хорошо питаться, — говорит Брондуков-Букеев.

— Когда наш народ будет хорошо питаться, он будет хорошо работать, — замечает генерал.

— А тот, кто хорошо работает, тот хорошо живет, — говорит Курочкин.

— А кто хорошо живет — у того на душе весело, — говорит Брондуков-Букеев. — Он не пьет водку, а ходит в музеи, театры... Тогда начинается развиваться культура!

— А когда развивается культура — становится меньше хулиганства на улице! — говорит генерал.

— Сейчас у нас еще недостаточно много культурных людей, — говорит Брондуков-Букеев. — Поэтому много людей пьют водку, варят самогон и многие дерутся на улице!

— И воруют все, что плохо лежит! — добавляет Курочкин.

— Все это происходит от недостатка культуры, — говорит Брондуков-Букеев. — Если Запад даст нам кредиты — мы можем пустить их на развитие культуры, и у нас будет больше культурных людей.

— Так что, как ни крути, все упирается в кредиты, — говорит генерал.

— Да, — соглашается Брондуков-Букеев. — Одна надежда на Степанову.

— Мы с вами находимся в аэропорту Внуково, — говорит в камеру Александр Гурнов. — С минуты на минуту здесь должен приземлиться самолет с представителем Международного валютного фонда бароном Домеником. Он проведет переговоры с министром экономики России Степановой.

Гурнов поворачивается к стоящей тут же Маше:

— Мария Ивановна, что вы ждете от предстоящих переговоров?

Вместо Маши Гурнову отвечает граф. Он выглядит очень вальяжно, в руках — кейс.

— Мы предполагаем получить максималь-

ные кредиты под минимальные проценты,— объявляет он.

— Ну что ж, ни пуха, ни пера! — говорит Гурнов.

— К черту! — весело говорит граф.

— Александр Гурнов, специально для «Вестей», — объявляет Гурнов.

Камера отъезжает, и мы видим Семена Борисовича, впившегося взглядом в экран телевизора в бухгалтерии столовой № 9.

— Ну, Степанова! — говорит он. — Теперь не уйдешь!

Сдернув сатиновые нарукавники, Семен Борисович выбегает из бухгалтерии.

Ресторан гостиницы «Международная».

Ресторан пуст. Только за одним из столиков сидят барон Доменик, импозантный мужчина с бородкой, в пенсне, Маша и граф.

Перед ними, среди закусок и бутылок — государственные флажки России и Франции.

— Барон, мы хотели бы знать, на какие кредиты мы можем рассчитывать? — обращается Маша к барону.

— Ни на какие, — говорит барон. — Пока старые не отдадите — новые не получите.

— Как же мы вам отдадим старые, ежели новых не получим? — вступает в разговор граф.

— Как хотите — так и отдавайте! — твердо говорит барон. — На вас не напасешься. У нас, знаете, денег тоже нету.

— Вот те раз! — удивляется граф. — Приехали! У нас нет, и у вас нет! Где же деньги-то, куда они подевались?

— Не знаю, — нагло говорит барон и густо намазывает белый хлеб икрой.

— Ну, ладно, — говорит граф и, подмигнув официанту, предлагает: — Давайте еще по рюмочке!

При этом он знаками показывает официанту, чтобы тот наливал водку барону не в рюмку, а в фужер. Но барон прикрывает фужер ладонью.

— Мне достаточно, — говорит он.

— Ну, хорошо, — не настаивает граф и встает. — Извините, мы покинем вас на время, нам позвонить срочно надо.

— Угу, — кивает барон.

Граф с Машей выходят из-за стола и прячутся за колонну.

— Что же делать? — Маша очень расстроена. — Денег-то у них нет.

— А ты и поверила?! — удивляется граф. — Да у них там денег куры не клюют!

— Ну, а как же получить?

— Как, как! — передразнивает ее граф. — Ты должна ему понравиться! Видишь, ка-

кой он авантажный? — Граф выглядывает из-за колонны.

Барон Доменик ест бутерброд с икрой.

— Да он на меня и не смотрит, — расстроено говорит Маша.

— Да ты ж сидишь, как чучело огородное! Ты ему подмигни, коленку покажи. Глядишь, он и клонет!

— А если не клонет?

— Не клонет — мы его на весь мир ославим! — решает граф. — За изнасилование!

— За какое изнасилование? — не понимает Маша.

— Сейчас я закажу музыку, ты его пригласи на танец, — говорит граф. — Как почувствуешь, что он возбудился — зови в номер. Зайдет — ты сразу раздевайся и кричи: «На помощь! Насилуют!» А уж я буду наготове с фотоаппаратом! Потом пусть выбирает: либо фотографии в «Нью-Йорк Таймс», либо кредиты!

— Но это же мерзко, граф, — говорит Маша.

— Мы же это не ради себя делаем. Для Родины! — говорит граф. — Иди приглашай, а я побегу музыку закажу!

Граф исчезает.

Маша возвращается к столу.

Барон смотрит на нее.

Маша мило улыбается ему, присаживается на стул.

— Ну что, позвонили? — спрашивает барон.

— Позвонили, — говорит Маша.

— А где граф? — с подозрением спрашивает барон.

— Граф уехал домой. У него мама заболела. Теперь мы одни, — говорит Маша многозначительно и игриво улыбается.

Барон приподнимает брови.

Входит оркестр, начинает играть.

— Потанцуем? — предлагает Маша, оголяя колено.

У барона вытягивается лицо, он встает. Они начинают танцевать. Маша прижимается к барону.

— От русских женщин я теряю голову, — признается барон.

— Может быть, тогда поднимемся к вам в номер? — предлагает Маша.

— Вот ключ. Поднимайтесь, а я вина возьму и лечу за вами! — Вручив Маше ключ, барон спешит к бару.

Выйдя из ресторана, Маша идет к лифту. Нажимает кнопку, двери лифта открываются, и Маша видит перед собой Семена Борисовича.

— Попалась! — радостно восклицает он и, схватив Машу за руку, втягивает ее в кабину лифта. Быстро нажимает кнопку верхнего

этажа и, тяжело задышав, набрасывается на Машу.

— Пустите, пустите! — пытается вырваться Маша.

Семен Борисович только сопит, пытаясь задрать ее мини-юбку.

Лифт вдруг останавливается. Входят два японца.

Воспользовавшись замешательством Семена Борисовича, Маша выскакивает из лифта. Семен Борисович бросается за ней.

Пробежав по коридору, Маша быстро открывает ключом одну из дверей и успевает захлопнуть ее прямо перед самым носом бухгалтера. С криком: — Врешь, не уйдешь! — Семен Борисович вышибает дверь.

Маша пытается скрыться от него в ванной, но Семен Борисович настигает ее там и прижимает к умывальнику.

— Теперь не уйдешь! — торжествует он, расстегивая молнию на штанах. — Я тебе покажу, где раки зимуют!

Маша пытается сопротивляться, но силы ее явно на исходе.

— А ну, не егози! — прикрикивает на нее бухгалтер. — Не егози, говорю!

— Хоть бы шампанским угостили, — жалобно говорит Маша.

Семен Борисович отпускает ее.

— Вот это другой разговор! — довольно говорит он. — А то строи из себя пионерку! Давай выпьем по стаканчику.

Он ведет Машу в номер, открывает свободной рукой мини-бар, достает бутылку шампанского и, одним движением откупорив ее, разливает по бокалам шипящий золотистый напиток. При этом он приговаривает:

— Ох, задам я тебе перцу, Степанова! Ох, задам!

Он одним махом выпивает свой бокал. Воспользовавшись этим, Маша вырывается и бросается к двери.

Опешив на секунду, Семен Борисович с криком: — Ах ты, проститутка! — настигает Машу, сгребает ее в охапку, тащит к широкой кровати. Повалив Машу, он начинает рвать на ней платье.

— Ну, держись, Степанова! — сопит он.

— На помощь! — кричит Маша. — Насилуют!

Тут же из одежного шкафа выныривает граф с фотоаппаратом. Прильнув к визиру, он начинает лихорадочно щелкать затвором, кружа вокруг кровати.

Маша уже почти совсем обнажена. Еще мгновение, и бухгалтер добьется своего.

Но тут Маша дотягивается до бутылки шампанского, стоящей на столике у изголовья, и бьет ею Семена Борисовича по

макушке. Не издав ни звука, бухгалтер падает на пушистый ковер.

— Всё! — потирает руки граф. — Теперь он у нас на крючке!

И вдруг замирает.

— Что за черт?! — растерянно разглядывает он бездыханное тело. — Кто это?!

— Это Семен Борисович, — говорит Маша. — Наш бухгалтер.

Кабинет доктора.

— И что было дальше? — спрашивает доктор.

Графиня молчит. Взглянув на нее, граф говорит:

— Судя по словам графини, потом был большой скандал. Пресса, как у нас водится, подняла невообразимый шум. Графиню вывели из кабинета министров.

— Доктор, избавьте меня от этого кошмара! — восклицает графиня.

— Успокойтесь, дорогая, — говорит граф.

— Граф, не мог бы я с вами переговорить наедине, — встает доктор. — Прошу прощения, графиня.

Граф с доктором выходят в соседнюю с кабинетом комнату.

— Присаживайтесь, — говорит доктор.

Граф присаживается в кресло.

— Доктор, право, меня тревожат эти кошмары, которые беспокоят мою жену, — говорит граф.

Доктор внимательно смотрит на него.

— Скажите, граф, разумеется, между нами, вы никогда не замечали за графиней некоторых странностей?

— Что вы имеете в виду?

— Ну, видите ли, в ее снах постоянно присутствует образ некоего бухгалтера, который маниакально пытается овладеть ею, — говорит доктор.

— О, нет, доктор! Поверьте: графиня — абсолютно нормальная, здоровая женщина!

— А вот эти фотографии в двусмысленных позах. Кстати, вы сами никогда не увлеклись фотографированием?

— Что вы имеете в виду?

— Ну, эти невинные мужские шалости. Журнальчики с фотографическими открытками фривольного содержания вас никогда не интересовали?

Граф вскакивает.

— Помилуйте, доктор! Я в жизни не смотрел никаких подобных журнальчиков! Отчего вы это спрашиваете?

— Видите ли, граф, сны не являются плодом нашей фантазии. Это, в конечном счете, отражение реальности, которая окружает нас, — говорит доктор. — И что меня удивляет больше всего, так это то, что в окру-

жающей действительности я не вижу никаких аналогов тому, что графиня видит в своих снах.

— Я не совсем вас понимаю, доктор.

— Ну, если графиня видит вас во сне торгующим непристойными открытками на улице, следовательно, у нее должны быть какие-то основания для этого.

— Доктор, вы забываетесь! — вспыхивает граф.

— Исследования подобных явлений...

— Избавьте меня от подобных исследований, доктор! — холодно говорит граф.

— Видите ли, граф, я все больше начинаю подозревать, что случай с графиней совершенно необычный, — говорит доктор. — У меня есть некоторые соображения на этот счет, но мне необходимо показать графиню мсье Ренуару.

— Кто это такой? — настораживается граф.

— Мсье Ренуар — крупный исследователь в области снов и сновидений. Действительный член Парижской, Лондонской и Петербургской Академии наук...

— В таком случае, не будем медлить, доктор!

По вечерней Москве едет экипаж. В нем сидят граф с графиней и доктор.

Все молчат.

Экипаж сворачивает в глухой переулочек и останавливается у обшарпанного дома.

Дверь прибывшим открывает мрачный одноглазый слуга.

— Ступай, доложи, что доктор Собинов приехал, — властно приказывает доктор.

Они проходят в небольшую комнату, уставленную колбами и ретортами.

Графиня вздрагивает, увидев прикрепленный к стене человеческий скелет.

Входит согбенный седой старичок с бородкой.

Он пожимает руку доктору, раскланивается с графом, подходит к графине.

— Ну-с, приступим, — весело говорит он. — Не бойтесь, графиня, и старайтесь делать то, что я вам буду говорить. Закройте глаза...

Старичок мягко проводит рукой над головой графини:

— Сейчас вы уснете. Вы уже засыпаете. Вы спите...

Граф с интересом наблюдает за манипуляциями мсье Ренуара, который продолжает:

— Вы спите, графиня... Вы видите сны... Что вы там видите?

— Не хватай меня за задницу, мент поганый! — произносит графиня.

Граф подается к доктору:

— Не понял, что она сказала?..

— Тише, господа! — просит мсье Ренуар и спрашивает спящую графиню:

— Что вы еще там видите?..

— Я просто тащусь от тебя! — объявляет графиня и начинает петь: — Ксюша, Ксюша, Ксюша... Юбочка из плюша!

Граф испуганно смотрит на графиню.

— Это что ж такое? — говорит он растерянно.

— Это монстры рока в борьбе за мир! — сообщает графиня.

— Кто-кто? — не понимает мсье Ренуар.

— И я — Маша Степанова, — продолжает графиня. — Секс-герл! Кто меня хочет, мальчики?!

Мсье Ренуар пятится от графини и, вытирая испарину, шепчет:

— Поразительный случай...

— Бухгалтер, милый мой бухгалтер! — начинает с чувством петь графиня.

— Да что же ей снится? — спрашивает граф.

— Наша тусовка продолжается! — сообщает графиня. — И вместе с нами тусуется Дима Призоров!

— Кто?! — вздрагивает граф.

— Дима Призоров! — объявляет Маша Степанова на сцене Дворца спорта. Она в высоких сапогах, красных чулках с подвязками.

Под свист и восторженный рев зрителей на сцену вылетает на мотоцикле по пояс голый, перетянутый кожаными ремнями граф, в пиратской косынке и с огромной серьгой в левом ухе.

Лихо спрыгнув с мотоцикла, он, подпрыгивая, как лягушка, хватая микрофон и рычит:

— Я здесь, ребята! Делай, как я!.. Кто хочет меня, девчонки?!

С истошным визгом несколько десятков поклонниц откликаются на его призыв.

Наряд милиции пытается сдержать их. Завязывается потасовка.

— У-лю-лю! У-лю-лю! — весело кричит граф в микрофон и ловит брошенную ему гитару.

Гремит музыка. Граф с Машей начинают петь:

— Девчонка со второго этажа, меня ты полюбила не вчера!

Мсье Ренуар, доктор и граф смотрят на самозабвенно поющую графиню.

— Девчонка, девчонка, девчонка. Девчонка со второго этажа! Ата! Веселый рабочий класс! — переходит вдруг на прозу графиня.

— Прекратите! Прекратите же! — в отчаянии просит граф.

Мсье Ренуар делает пассы над головой графини. Графиня перестает петь на полуслове и открывает глаза.

Секунду она недоуменно смотрит вокруг, затем начинает рыдать.

— Дорогая, — бросается к ней граф.

— Успокойтесь, успокойтесь, — говорит старичок, делая пассы над головой графини.

Графиня затихает.

— Посидите здесь, графиня, — говорит ей мсье Ренуар. — А вы пройдите со мной, господа.

Мужчины выходят в соседнюю комнату.

Мсье Ренуар закуривает папироску.

— Господа, можно с уверенностью сказать, что мы имеем дело с редчайшим случаем: во сне графиня живет в 1992 году, то есть — через сто лет, — объявляет он.

— Ясновидение? — уточняет доктор.

— В какой-то степени. Видите ли, есть люди, которые обладают даром ясновиденья и вполне осознанно владеют им, как, например, Нострадамус, который в XVI веке предсказал Наполеона. Есть люди, у которых эта способность проявляется во сне. Тогда их сны отражают не ту реальность, в которой они живут, а ту, которая произойдет через 100 или 200 лет. Это чрезвычайная редкость, — сообщает мсье Ренуар, — но подобные примеры известны науке. В частности, преподобный Бенвенутто Кавуаро...

— Слушайте, как вас там, — обрывает его граф. — Мсье Ренуар! Но это же какой-то бред! Это не может быть никакой реальностью ни через сто, ни через двести, ни через тысячу лет!

— Увы, — говорит мсье Ренуар.

— Ксюша, Ксюша, Ксюша — юбочка из плюша! Я тащусь! Это что: реальность?! — восклицает граф.

— Однако сто лет — это большой срок, — дипломатично говорит доктор.

— Весьма вам признателен, господа! — холодно произносит граф. — Честь имею!

Экипаж с графом и графиней едет по ночной Москве. Графиня молчит. Молчит и граф. Затем, покосившись на графиню, осторожно спрашивает:

— Дорогая, а что там за страна у вас?

— Что?

— Что за страна, которую вы видите во сне?

— Эс эн гэ, — говорит графиня.

— А что это такое?

— Да не знаю. Они сами не знают.

— Однако же там есть правительство? — уточняет граф.

— Там много правительств...

— Что значит много? — недоумевает

граф. — Кто-то же руководит державой? Царь там есть?

— Нет. Они давно без царя живут.

— А куда ж он подевался? — озадачивается граф.

— Не знаю. У них какая-то революция произошла, и они стали без царя жить.

— Значит демократическая республика, — догадывается граф. — Как у французов.

— Не знаю, — говорит графиня. — Они сами ничего не знают.

— Но какое-то устройство должно быть у государства! — восклицает граф. — Какой-то порядок существует в стране?

— Нет там никакого порядка, — говорит графиня.

— Как же может такая держава существовать? — недоумевает граф.

— А вот существует!

Особняк графа. Ночь.

Граф ходит, заложив руки за спину, по кабинету.

Видно, что он о чем-то напряженно размышляет.

Часы бьют два часа.

Граф подходит к портрету Николая II. Задумывается.

Входит слуга Тимофей.

— Ваше сиятельство, он здесь.

— Зови, — приказывает граф, не отводя взгляда от портрета императора.

В кабинет входит мсье Ренуар. Граф поворачивается к нему.

— Извините, господин Ренуар, что беспокоил вас в столь поздний час, но дело мое не терпит отлагательства, — говорит он.

— Всегда к вашим услугам, — склоняет голову старый ученый.

— Мсье Ренуар, нельзя ли сделать так, чтобы я сам мог увидеть то, что снится графине? — произносит граф.

Мсье Ренуар задумывается. Потом говорит:

— Это весьма и весьма затруднительно...

— Господин Ренуар, это архиважно для меня.

— Что ж, я попытаюсь, — говорит мсье Ренуар. — Графиня спит?

— Да, она в спальне.

— Пройдемте к ней.

Пройдя по анфиладе комнат, граф и мсье Ренуар входят в спальню графини.

Графиня спит спокойным, безмятежным сном.

— Сядьте у ее изголовья, — шепотом приказывает мсье Ренуар.

Граф садится в кресло у постели графини.

— Смотрите ей в лицо,— все так же шепотом приказывает мсье Ренуар и, когда граф выполняет его указание, продолжает: — А теперь закройте глаза. Сосредоточьтесь. Сейчас вы увидите сон графини. Вы что-нибудь чувствуете?..

— Яркий свет...— говорит граф.— Он бьет мне в глаза.

Граф стоит на сцене огромного, до отказа забитого людьми зала, шурясь от бьющих в лицо лучей прожекторов.

Он в белом смокинге, при бабочке.

— Дамы и господа! Начинаем наш конкурс на лучший бюст СНГ! — объявляет он.— Сиськастые и грудастые — ваш час пробил!

Под звуки бравурного марша на сцену выходит десяток девиц в трусах. Помахивая объемистыми бюстами, они весело маршируют, держа в руках таблички с названиями независимых государств СНГ.

С табличкой «РОССИЯ» идет девушка, в которой мы узнаем графиню.

Зал встречает девушек овацией.

Когда девушки выстраиваются шеренгой за его спиной, граф говорит в микрофон:

— Позвольте представить вам наше авторитетное жюри! Председатель жюри — советник Президента по культуре, доктор искусствоведения Брондуктов-Букеев!

В ложе с табличкой «ЖЮРИ» поднимается невысокий мужчина в смокинге.

Зал приветствует его аплодисментами, а граф продолжает:

— Члены жюри: популярный киноактер Александр Панкратов-Черный! Президент совместного российско-греческого предприятия «Галатей» Геннадий Шарапов! Американский конгрессмен-демократ Джон Смит! Председатель комиссии Верховного Совета по вопросам этики настоятель Богоявленского собора отец Владимир! Президент ассоциации «Мир — детям» писатель-сатирик Ефим Альперович! И директор концерна «Тюменьнефтегазстрой» Равиль Гизатулин!

Каждого из членов жюри зал приветствует аплодисментами.

— С особым удовольствием я хочу вам сообщить,— говорит граф,— что в нашем конкурсе принимают участие джаз-оркестр 7-й дивизии Бундесвера под управлением Ганса Майера, а также самая крутая рок-группа СНГ «Ржавые гвозди»!

На сцену с левой стороны выходят четким строевым шагом германцы в форме, а с правой вываливается компания довольно оборванных и немых молодых людей с гитарами.

Зал восторженно встречает их.

Граф поднимает руку, призывая публику к тишине.

— Но прежде чем первая участница предстанет на суд жюри,— говорит он,— я хочу предоставить слово проповеднику евангелистской церкви штата Миннесота предодобному отцу Брауну!

На сцену выходит благообразный старичок в строгом костюме. За ним гуськом тянутся пять дородных негритянок.

Проповедник подходит к микрофону и обращается к залу:

— Братья и сестры! В детстве я был очень нехорошим мальчиком. Я курил, пил джинс с тоником, воровал и занимался онанизмом. Я доставлял очень большое горе моим родителям. Но вот однажды, выпив в очередной раз бутылочку джина, я смотрел телевизор и вдруг увидел, как диктор обращается прямо ко мне: «Все, Боб! Хватит! Кончай все эти дела, иначе будет плохо» — сказал он, и я понял, что это не диктор обращается ко мне, а сам Господь предупреждает меня об опасности моего поведения! В тот же день я бросил курить, перестал пить и возлюбил Господа, ибо на меня снизошло озарение: «Христос — вот тот ковчег, вот то спасение, которое Бог предлагает человеку в наше время!» Аллилуйя, братья и сестры, господа Богу и Сыну Его Иисусу! — Аллилуйя! Аллилуйя! — весело запевают негритянки.

«Ржавые гвозди» и джаз-оркестр Бундесвера тут же подхватывают мелодию. Граф берет микрофон:

— Мне также приятно сообщить, что отец Браун подарил каждой участнице нашего конкурса по «Библии» и по две бутылки калифорнийского вина!

Под аплодисменты публики на сцену выносят стопку книг и два картонных ящика. При этом отец Браун собирается снова что-то сказать в микрофон.

— Спасибо, святой отец! — оттирает его граф.— Всё, всё, хватит!

— Дамы и господа! — говорит он, овладев, наконец, микрофоном после короткой схватки с проповедником.— Мы начинаем наш конкурс. Я приглашаю на сцену участницу под номером один! Мария Степанова, Россия!

Под бравурную мелодию на авансцену, покачивая бюстом, выходит графиня.

Зал бурно приветствует ее.

— Здравствуйте, Маша,— говорит ей граф.

— Здравствуйте, граф,— говорит графиня.

— Скажите, Маша, вы работаете или учитесь?

— Я работаю в столовой номер 9,— говорит графиня.— И учусь на вечернем отделении Педагогического института.



— Прекрасно! — одобряет граф. — А скажите, Маша, вот ваши груди представляют Россию. Вы чувствуете ответственность?

— Да, конечно, я чувствую большую ответственность, — говорит Маша. — Мне очень бы хотелось победить в этом конкурсе.

— А скажи по секрету, пока нас не слышат остальные участницы, ты боишься кого-нибудь из них? — спрашивает граф.

— Нет, не боюсь. Но мне нравятся бюсты девочек из Таджикистана и Молдовы!

— Я тоже обратил на них внимание, — говорит граф и объявляет: — Напоминаю, уважаемая публика, что все средства от нашего конкурса пойдут на восстановление Храма Христа Спасителя, а тот, кто сделал наибольший взнос, получит право поцеловать понравившуюся ему девушку в грудь! Итак, кто желает поцеловать в грудь Машу?! Стартовая цена — тысяча рублей! — Граф зорко глядявается в зал. — Тысяча пятьсот! Две тысячи! Две тысячи девятьсот! Пятнадцать тысяч! Пятнадцать тысяч — раз! Пятнадцать тысяч — два! Пятнадцать тысяч — три! Итак, господин, назвавший цифру пятнадцать тысяч, может подняться на сцену!

В полумраке зала появляется идущий по проходу мужчина.

— Поприветствуем победителя! — призывает граф публику.

Под аллодисменты мужчина поднимается на сцену. Он в маске и длинном плаще до пят.

— Ого! — говорит граф. — Таинственный незнакомец! Кто же вы, мистер икс? — обращается он к мужчине.

Незнакомец срывает с лица маску.

— Семен Борисович?! — Маша испуганно пытается от двинувшегося к ней с плотоядной улыбкой Семена Борисовича.

— Да, это я! — и Семен Борисович впиивается в Машину грудь.

Джаз-оркестр Бундесвера и «Ржавые гвозди» начинают играть мелодию шлягера «Бухгалтер, милый мой бухгалтер». Зал ревет от восторга.

— Какая страсть! — комментирует происходящее граф, подмигивая залу, но заметив, что страстный поцелуй затягивается, трогает бухгалтера за плечо: — Хватит, хватит, молодой человек!

Но Семен Борисович, лягнув его ногой, валит Машу на пол.

— Ох, и задам я тебе перцу! — торжествует он.

— Пустите, пустите! — кричит Маша, пытаясь вырваться.

Зал ревет от восторга.

Граф хватает Семена Борисовича за ноги,

пытаясь оторвать его от Маши, но бухгалтер присосался к ее груди, как пиявка.

Зал ликует.

Спальня графини.

Граф открывает глаза. В ужасе смотрит по сторонам.

— Пустите же, пустите! — мечется на кровати графиня.

Граф бросается к ней. Начинает будить ее.

Графиня просыпается. Секунду смотрит на графа, потом обнимает его:

— Граф! Граф! Это какой-то ужас! Мне опять приснился ужасный сон!..

— Успокойтесь, успокойтесь, дорогая! Что вам приснилось?

— Мне приснилось, что я принимаю участие в конкурсе...

Рыдания душат графиню.

— Грудастых и сиськастых? — подсказывает граф.

Графиня, кивнув, начинает горько рыдать:

— Боже, Боже! Какой кошмар!..

Граф поднимается, оборачивается к мсье Ренуару, который бесстрастно наблюдает эту сцену.

— Неужели все это будет? — тихо спрашивает граф.

— Увы, — пожимает плечами мсье Ренуар.

— И нет спасения?

— Я не знаю.

Мсье Ренуар поворачивается и уходит, растворяясь в темноте анфилады комнат.

Санкт-Петербург. Зимний дворец.

Знакомое нам по картине Репина Заседание Госсовета.

В глазах рябит от золота эполет, орденов, украшающих мундиры государственных мужей. В кресле с высокой спинкой сидит под гербом Российской империи Николай II.

На трибуну поднимается граф Призоров.

— Ваше Величество! Господа!.. — обращается он сперва к императору, потом к залу. — Будущее России темно и туманно. Если представить себе человека, способного заглянуть в ее будущее лет этак на сто, что откроется его взору? Всеобщее падение нравов, распад великой державы, обнищание населяющих ее народов, рыскающих, подобно диким зверям, в поисках куска хлеба, массовое впадение в идиотизм!..

Члены Госсовета, дремавшие до этого, открывают глаза, дружно уставившись на графа, который продолжает:

— Для несчастных российских женщин самой престижной профессией станет профессия валютной проститутки! Да, да, госпо-



да! — заметив некоторое возмущение в зале, восклицает граф. — Проститутки, которая будет торговать своим телом даже не за рубли, а за германские марки и доллары Северо-Американских Штатов.

— Отчего же не за рубли? — удивляется кто-то в зале.

— Да кому они будут нужны, деревянные! — в сердцах восклицает граф. — Ведь рубль будет дешевле бумаги, на которой его печатают!

— Но позвольте, Дмитрий Николаевич, — говорит император. — Отчего столь мрачные картины возникли в вашем воображении?

— Оттого, Ваше Величество, что если мы сегодня не произведем необходимых перемен в нашем обществе, не произведем их разумно, под надзором правительства и государя, то скрытые от нашего взора противоречия приведут к неминуемому

взрыву, к революции, а следовательно — к хаосу и беспорядку!..

— И какие же перемены вы считали бы необходимыми произвести? — спрашивает император.

— Прежде всего, передать землю крестьянам, привлечь рабочих к управлению заводами и фабриками...

Слова графа тонут в протестующих возгласах, криках вскочивших со своих мест членов Госсовета.

— Да вы социалист! — кричит тучный генерал, ища рукой отсутствующую саблю на боку.

— Далее, — продолжает граф, — следует дать низшим сословиям возможность участия в управлении государством...

Договорить графу не дают.

— Это неслыханно! Революционер! Долой! — кричат члены Госсовета.

— Я — патриот России! — говорит граф и покидает зал.

Особняк графа Призорова.

Граф и графиня обедают.

— Граф, вы произвели настоящий скандал, — говорит графиня. — Все газеты сообщают о вашей отставке.

— Слепцы, — с горечью говорит граф. — Они погубят Россию.

Бросив салфетку, он встает из-за стола.

— Что вы намереваетесь делать? — с беспокойством спрашивает графиня.

— Не знаю...

Граф подходит к окну, останавливается в задумчивости. Графиня подходит к нему сзади, ласково обнимает за плечи.

— Граф, милый мой граф, — говорит она. — Давайте уедем в деревню. Представьте: лес, поле, река... Мы так давно не были в нашем имении...

Граф оборачивается, смотрит на графиню...

— Может быть, там мне перестанут сниться кошмарные сны, — говорит графиня.

По пронизанному солнечными лучами лесу едет коляска. В ней граф и графиня. Лица у них веселы и беспечны.

Коляска катится по полю, потом опять въезжает в лес. И вот деревья словно расступаются, и перед их глазами открывается красивый дом с колоннами на берегу озера.

Коляска останавливается у парадного входа, граф спрыгивает на землю, помогает сойти графине.

— Ну вот мы и дома, — счастливо улыбаясь, говорит графиня.

Черный лохматый пес, заливаясь радостным лаем, бежит к ним.

— Джим, Джим! — смеется графиня.

— Степанова, ты спишь что ли? — звучит мужской голос.

Маша Степанова открывает глаза. Она сидит в подсобке столовой № 9.

— Иди посуду собери, — говорит Семен Борисович. — Закрывать скоро...

Маша идет в зал, начинает собирать со столов посуду в тележку. Зал пуст. Она не замечает, как сзади к ней приближается Семен Борисович. Он останавливается в нерешительности, словно боясь начать разговор. Потом, решившись, говорит:

— Степанова, а я дачу купил.

Маша оборачивается.

— Да?.. Поздравляю. Хорошую?

— Хорошую. Старая, правда, — говорит Семен Борисович. — Но я там ремонт сделаю, будет дворец, а не дача. Хочешь, поедem посмотрим?

Маша задумывается.

— Приставать ведь будете...

— Клянусь: пальцем не трону! — божится Семен Борисович.

— Ну, ладно, — соглашается Маша. — Поехали...

По лесу катит «москвич». За рулем — Семен Борисович, рядом с ним Маша.

Машина выезжает из леса, едет по полю, снова въезжает в лес.

Деревья словно расступаются, открывая стоящий на берегу озера дом.

Хотя дом очень старый — с выбитыми стеклами, с прохудившейся крышей, — мы узнаем тот самый красивый дом, в который приезжали граф и графиня.

Озеро перед домом заросло травой, и в нем весело квакают лягушки.

Семен Борисович и Маша выходят из машины.

— Вот, видишь, какая дача, — говорит Семен Борисович.

Маша смотрит на дом.

— А кто здесь раньше жил? — спрашивает она.

— Туберкулезный диспансер был... — говорит Семен Борисович.

Они входят в дом.

— Здесь я вагонкой обошью, — говорит Семен Борисович в просторном холле с широкой лестницей, ведущей на второй этаж. — А крышу железом покрою — мне Славка уже обещал 50 листов...

Маша идет следом за Семеном Борисовичем по пустынным комнатам, где валяются на полу обрывки старых газет, битое стекло...

Они входят в большой зал. Маша останавливается.

В углу зала стоит прислоненная к стене почерневшая от времени картина в разбитой раме.

Маша подходит к ней. Всматривается в лицо женщины, изображенной на картине.

Это портрет графини.

Из соседней комнаты доносятся гулкие шаги Семена Борисовича, его голос:

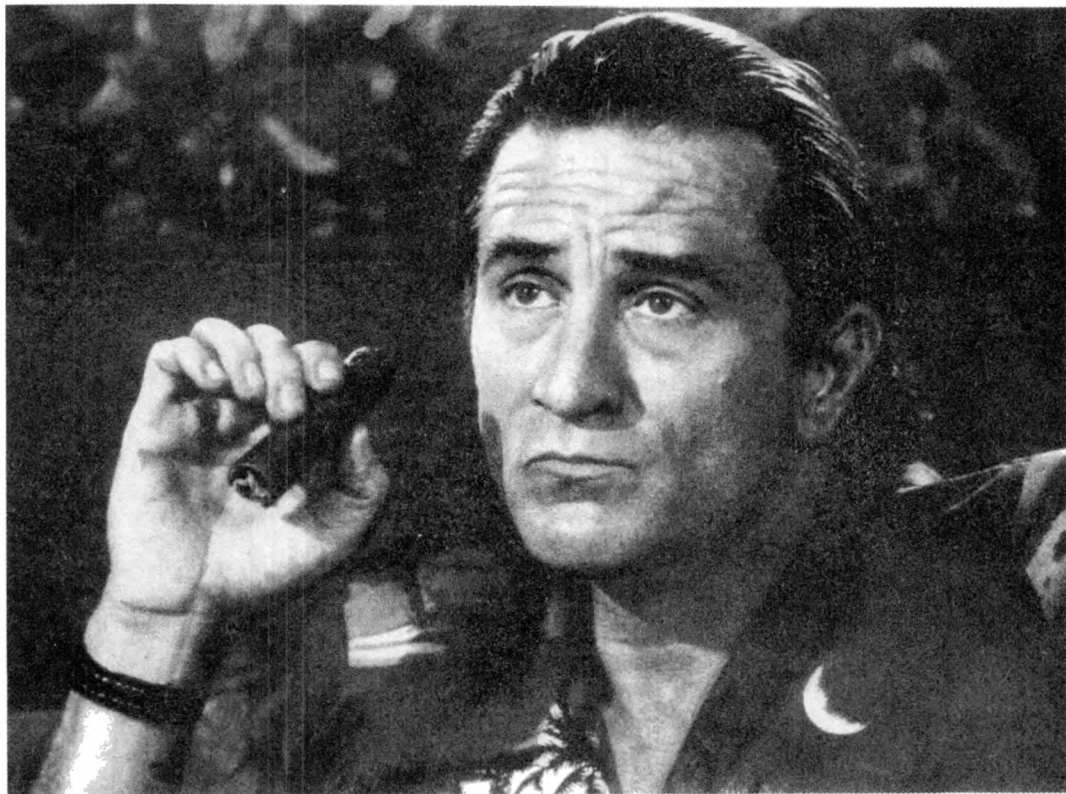
— Тут я камин сделаю...

Маша смотрит на портрет графини.

О Боже, как она похожа на Машу Степанову.

РОБЕРТ ДЕ НИРО

Знакомый незнакомец. В фильме «Мыс страха» он появляется с татуировкой, мускулистый, кривляющийся в роли беснующегося рецидивиста, для которого охота за жертвами становится навязчивой идеей. Автор этого триллера — Скорсезе.



ОБМАНЧИВОСТЬ УТРЮМОГО ОБЛИКА

Профессия: возмутитель спокойствия. Это — визитная карточка Роберта де Ниро, поведение которого заставляет говорить о нем как о человеке, чей имидж неизменен: он невидим. Как свидетельствует

Брайан Де Пальма, его партнер в течение двадцати лет: «Де Ниро — человек-невидимка. В Нью-Йорке он ездит в метро, теряясь в толпе, никем не узнаваемый». Актер редко дает интервью. Журнал



Кадры из фильмов:

1. «Злые улицы». 2. «Крестный отец-2». 3. «Таксист». 4. «XX век». 5. «Последний магнат». 6. «Нью-Йорк, Нью-Йорк». 7. «Охотник на оленей». 8. «Бешеный бык». 9. «Однажды в Америке». 10. «Сердце Ангела». 11. «Миссия». 12. «Неподкупные». 14. «Освобожденные».

«Ярмарка Тщеславия» два года назад посвятил ему ведущую статью в несколько страниц, где сам он отсутствует. Даже когда он соглашается на встречу с журналистами, он высказывает им массу неоконченных фраз, неясных мнений, ничего не значащих оценок, ничего определенного. На экране его роли на виду. В жизни он неуловим. Гениально? Несомненно. Марио Пьюзо, автор «Крестного отца», даже уточняет: «Де Ниро не может играть в пьесах Шекспира, равно как выступать в комедийных ролях».

В фильме «Мыс страха» Де Ниро влезает в шкуру Макса Кэди, страшного рецидивиста, который добивается единственной вещи — мести. Эта месть принадлежит ему целиком, она делает его Богом. Начертав девиз мести по всему телу, Кэди выдает себя за Большого Босса. Он возвращается в маленький городок, где живет его бывший адвокат, и начинает его терроризировать. Угрожает изнасиловать сначала жену, а затем и дочь. Все это заканчивается плохо, гораздо хуже, чем в фильме «Мыс страха» 1962 года, где эту роль играл знаменитый актер Митчем.

С самого начала Де Ниро страшен. Камера медленно скользит по его обна-

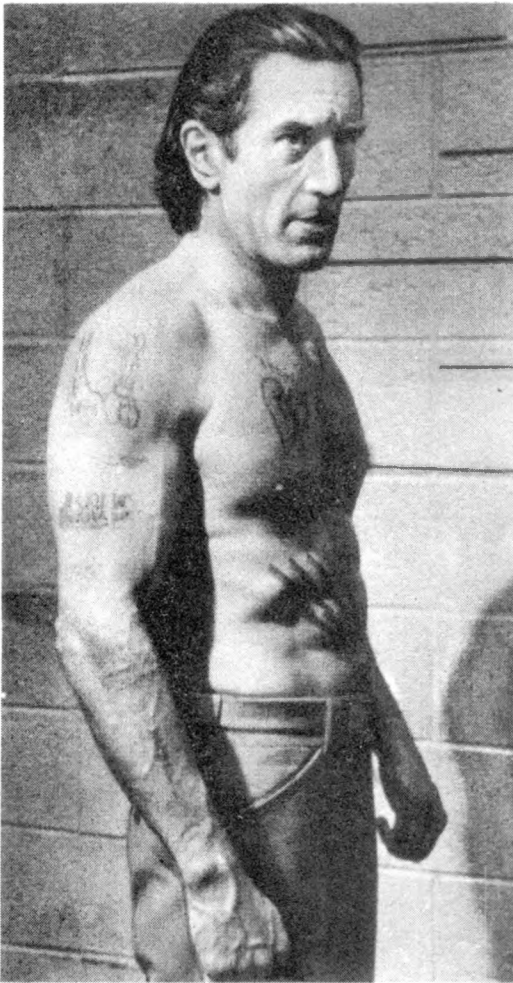
женному сухому торсу, пока он разминается, отжимаясь. При этом его татуировка деформируется. Камера удаляется, Де Ниро одевается, приглаживает длинные жирные волосы и покидает место заключения, входя в мир ужасов. Фильм заканчивается, а чувство страха остается. Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро здесь на высоте: они умеют вызвать трепетную дрожь, от которой страх только усиливается. Они забавляются, и это заметно. В зале люди кричат, молоденькие девушки визжат, матери тяжело вздыхают: фильм «Мыс страха» действует как заразная болезнь, и Де Ниро этим наслаждается.

Несколько лет актер был в тени: в фильме «Бразилия» он сыграл весьма незначительную роль. В фильме «Стэнли и Айрис» он разделил известность звезды с Джейн Фонда. В «Освобожденных» его имя стоит вторым в составе исполнителей. Во «Вновь призванном» у него проходная роль. Его требовательность в отношении выбора ролей стала теперь менее строгой; когда-то ему приходилось раздумывать неделями и месяцами, чтобы решить, брать или нет за сценарий. С той поры он снялся в фильмах «Черный список», «Пробуждения» и «Мы не ангелы». Он был против ком-



мерческого подхода к успеху в кино, а сейчас устраивает, хотя и редко, пресс-конференции, где измеряет свою репутацию актера по шкале «кассовости» фильма, по которой его успехи более чем скромны. Говорят, что он сбíт между пятью и десятью миллионами долларов. Но стоит ли он столько же продюсерам? Для Скорсезе его стоимость — все золото мира:

«Я едва знал его, мы как-то встретились в моем районе давным-давно. Однажды в порыве вдохновения я предложил ему роль Джонни Боя в фильме «Злые улицы». Он явился в смешной маленькой шляпе на голове, и я сразу понял, что именно он мне подходит...» Здесь и начинается легенда Де Ниро, никчемного сына разведенных родителей — матери, которая



В фильме «Мыс страха» Де Ниро играет Макса Кэди, осужденного за насилие и изнасилование. В образе Макса Кэди есть что-то от Терминатора, одержимого идеей мести. Но Де Ниро играет необычного садиста. Последний также полагает, что он выполняет миссию чуть ли не божественного предназначения: спасти свои жертвы через их страдание.

Преисполненный ненависти Кэди ожидает освобождения

зарабатывала несколько долларов за печатание пёс Пискатора (для несведущих читателей сообщая, что для театра Пискатор значил то же, что и Брехт. Если вы не знаете, кто такой Брехт, нам с вами не о чем разговаривать), отца, художника-авангардиста, в некотором роде представителя богемы. В молодости Де Ниро прославился тем, что стал хулиганом под именем Бобби Милк. Понятно, что об этом периоде он никогда не рассказывает. Иногда он согласен поговорить о работе актера и только. Для Джереми Айрона, английского актера, получившего образование в английской школе с характерным английским акцентом, «артисты из Студии Актеров акцены. Они тратят массу времени на то, чтобы вжиться в образы своих персонажей, ломая над этим голову, в то время как весь мир замер в ожидании». Лучшего актера, чем Де Ниро, в Студии Актеров трудно представить: вместе с Айроном он снялся в фильме «Миссия».

Правда, что Бобби несносен. Он отработывает каждую деталь до мелочей, вплоть до того, как носить шелковые кальсоны, как это делает Аль Капоне в фильме «Неподкупные», и только потому, что их носил Балафре. Для более тщательной отделки образа кюре в фильме «Кровавые признания» он целый день прогуливался, надев на себя сутану. Он настаивал на том, чтобы ему сохранили пижаму для сцен в «Пробуждениях». Он научился играть на саксофоне для участия в фильме «Нью-Йорк, Нью-Йорк», фехтованию для фильма «Миссия». Он поправился на тридцать килограммов, чтобы сыграть роль Джека Ла Мотта в «Бешеном быке», истории о том, как происходит разложение человека изнутри. К счастью, он отказался от роли Иисуса в фильме «Последнее искушение Христа»: ему пришлось бы тренироваться неделями, чтобы научиться тому, как умножить скудные хлеба. Возможно, ему пришлось бы самому шагать по воде и говорить на арамейском языке.

«Я растворяюсь полностью», — говорит он, прежде чем исчезнуть. Его преследуют фанатичные болельщики, телевизионщики, окружив его, снимают, и больше ничего. Он любит негритянок, и он прав. Из этого не надо делать рекламу. У него дочь, которой 21 год, и сын 15 лет. Сына зовут Рафаэл, поскольку в гостинице с именно таким названием в Италии он и был зачат. Лишь случайно это не произошло в Каннах в отеле Гонне или Рейне. В течение многих лет Де Ниро предполагал создать свои собственные фильмы, но это

ему еще не удалось. Ему потребовались месяцы, чтобы начал функционировать его ресторан в Нью-Йорке — Три Би Са Грилл — и то после долгих колебаний, когда он чуть не свел с ума своих партнеров по бизнесу вопросами типа того, что предпочтительнее: японское блюдо из рыбы с рисом или неаполитанская пицца? крестьянский салат или бефстроганов — сыр или десерт? В конце концов, актер закупил все содержимое для студии (включая дом, в котором недоставало хозяина). Де Ниро — сорок восемь лет, он иногда наезжает в Париж, чтобы посидеть в ресторане Ла Купол. «Я веду обычный образ жизни, иногда прихожу в раздражение от сына или закрываюсь у себя, чтобы насладиться музыкой, или сажусь в такси». Для тех, кто видел фильм «Таксист», это не пример для подражания.

Он прошел длинный путь, этот актер Де Ниро. Его первая роль, снятая в лицо, была ролью Лиона Труйарда в фильме «Повелитель Оз». По воспоминаниям его участников, он был застенчив. Но именно робость помогла ему решиться прочесть театральные монологи перед Де Пальма, который подбирал молодых актеров для своего фильма «Свадьба». Это произошло в 1963 году. Первый фильм, первый гонорар: пятьдесят долларов. Двадцать пять лет спустя его партнер по фильму «Пробуждения» Робин Уильямс сказал о нем с пылкостью: «Играть с Де Ниро — все равно что сражаться на ринге с Майком Тайсоном. Он подобен лазеру. В нем есть что-то от приверженца буддизма. По причине этого он может напугать, но у него

также есть горячность и сердечность, что нечасто встречается».

Он не любит Богарта, что заставило его отказаться от съемки в фильме Майка Николса; высоко ценит Спенсера Трэйси; его самого сравнивают с Марлоном Брандо. Где он гениален, так это в умении создать напряжение, видимость тревожности, подспудную атмосферу ярости. Достаточно вспомнить его Люцифера в фильме «Сердце Ангела». Солдата с ожогами в «Охотнике на оленей». Гангстера-еврея в «Однажды в Америке». Опустившегося боксера в «Бешеном быке». В середине фильма «Мыс страха», когда он предстает в сцене, происходящей в заброшенном амфитеатре, перед дочерью Ника Нолте (в исполнении Жюльетты Льюис) и заговаривает с ней, это напоминает явление самого демона. Когда он приближается к ней и проводит рукой по ее лицу, это выглядит обворожительно. Когда она сосет его палец, это по своему эффекту равносильно концу света, что никогда ранее не наблюдалось в кино. Тем, кто его хвалит, Де Ниро чуть улыбается, а затем предлагает на выбор что-либо из меню своего ресторана. «Здесь предлагают массу всего самого разного», — заявляет он, и только для того, чтобы сказать хоть что-то.

ФРАНСУА ФОРЕСТЬЕ

Перевод М. Петрухиной

В редакцию поступил тираж книги Александра Червинского

«КАК ХОРОШО ПРОДАТЬ ХОРОШИЙ СЦЕНАРИЙ»

Приобрести эту книгу вы можете
ТОЛЬКО

в редакции журнала «Киносценарии»
по адресу: Москва, Воротниковский пер., д. 12
проезд до станции метро «Маяковская»
т е л е ф о н ы : 299-11-78, 299-47-74, в рабочее время
и 209-60-23 — в нерабочее время, на вахту.

ПОЛ ШРЕДЕР ТАКСИСТ

В основе всех моих жизненных убеждений теперь лежит понимание того, что одиночество, далеко не редкое и мало привлекательное явление, есть центральный и непреходящий факт человеческого существования.

Томас Вулф

Трэвис Бикл, двадцати шести лет. Он носит джинсы, ковбойские сапоги, клетчатую рубашку и поношенную армейскую куртку желто-коричневого цвета с нашивкой «Рота Кинг Конг, 1968-70», Худощавый, крепкий, с первого взгляда кажется привлекательным, даже красивым; у него спокойный пристальный взгляд и обезоруживающая улыбка, вдруг неожиданно освещающая лицо. Но за этой улыбкой прячется зловещая напряженность, вызванная жизнью, в которой царит тайный страх и одиночество.

Угрюмой тенью среди прочих мрачных теней странствует Трэвис по ночной жизни Нью-Йорка. Он полностью сливается с ней. Его сразу не заметишь. Да и кому замечать?

В нем чувствуется не находящая выхода сексуальность, неостребованная, не знающая удержу мужская сила. Никто не знает, куда она его несет. Но пружину часов нельзя сжимать бесконечно. Так же неотвратимо, как земля поворачивается к солнцу, Трэвис Бикл движется навстречу жестокости и насилию.

Трэвис устраивается на работу

Действие фильма начинается у гаража таксомоторов на Манхэттене. То и дело въезжают и выезжают из гаража машины. Снег сугробами лежит у края дороги. Завывает ветер.

В гараже рядами стоят такси. Слышны гулкие звуки моторов, работающих на холостом ходу, голоса водителей.

Коридор конторы таксомоторной компании. На приоткрытой двери надпись:

ОТДЕЛ НАЙМА

Компания Мейвис Кэб
Компания Бело-голубые Кэбы
Эмки Тэкси
Дешендабл Тэкси Сервисез
Компания Джей-Ар-Би Кэб
Спидо Тэкси Сервис

В конторе кипит работа. В отделе найма теснота и беспорядок. Листы с фирменными заголовками: Мейвис, Бело-голубые Кэбы, Эмки и т. д.— прикреплены к стене, с которой осыпается штукатурка. Письменный стол завален бланками, отчетами, тут же громоздится старинная пишущая машинка.

Сидящий за столом служащий отдела найма разговаривает с молодым человеком. Это Трэвис Бикл. На нем, как всегда, джинсы, сапоги и армейская куртка. Он курит сигарету без фильтра. Его напряженный холодный взгляд, отрешенный вид могут вывести из себя даже привыкшего ко всему служащего отдела найма. Но тот настроен дружелюбно, и в вопросах его — желание лучше понять Трэвиса, разгадать его.

Служащий отдела найма (за кадром). В Бюро извоза к тебе нет претензий?

Трэвис (за кадром). Нет, сэр.

Служащий отдела найма (за кадром). Разрешение есть?

Трэвис (за кадром). Имеется.

Служащий отдела найма. А почему ты хочешь стать таксистом?

Трэвис. По ночам не спится.

Служащий отдела найма. Сходил бы в порнокинотеатр. Говорят, помогает.

Трэвис. Я знаю. И это пробовал.

Служащий отдела найма. А чем ты сейчас занимаешься?

Трэвис. Езжу по ночам туда-сюда. В подземке, на автобусах. Жизнь наблюдаю. Вот я и подумал, почему бы мне за это еще и деньги не получать?

Служащий отдела найма. Слушай, нам тут «лишь бы кто» не нужен.

Трэвис (с едва заметной ухмылкой). Да бросьте... Неужто найдется много желающих ездить ночью по Южному Бронксу или Гарлему?

Служащий отдела найма. Ты, что ли, хочешь там работать по ночам?

Трэвис. Я готов работать где угодно, в лю-



бое время. Мне выбирать не приходится. **Служащий отдела найма** (немного поразмыслив). С правами у тебя все в порядке?

Трэвис. Все чисто. Я серьезно. (После паузы, с ухмылкой.) И совесть у меня чиста.

Служащий отдела найма. Слушай, дорогой, если ты пришел выпендриваться, то можешь сразу катиться отсюда.

Трэвис (извиняясь). Простите, сэр. Я не хотел.

Служащий отдела найма. Здоровье как? Судимости были?

Трэвис. С этим тоже все в порядке.

Служащий отдела найма. Сколько тебе лет?

Трэвис. Двадцать шесть.

Служащий отдела найма. Образование?

Трэвис. Когда-то чего-то где-то учил.

Служащий отдела найма. Как дела с военной службой?

Трэвис. Уволился честь по чести в мае семьдесят первого.

Служащий отдела найма. Ты хочешь подрабатывать?

Трэвис. Нет, я хочу работать полные смены.

Служащий отдела найма (как бы невзначай, про себя). У нас многие подрабатывают.

Трэвис. Я слышал.

Служащий отдела найма. В какой-нибудь колонне работа всегда найдется. (Роется в ящике письменного стола и достает оттуда розовые, желтые и белые бланки.) Заполни эти бланки и оставь их у девушки вон за тем столом. Да, не забудь оставить номер своего телефона. У тебя есть телефон?

Трэвис. Нет.

Служащий отдела найма. Тогда загляни завтра.

Трэвис. Хорошо, сэр.

(На фоне сцен ночной жизни Манхэттена на экране появляются титры).

Весенняя дождливая, промозглая ночь в районе театров на Манхэттене. Прилично одетые прохожие спешат остановить такси. Избранная публика толпится у театраль-

ных подъездов в недоумении от того, что дождь без разбору хлещет и по ним, и по беднякам. Беспрестанные автомобильные гудки, выкрики людей сливаются со звуками бесконечного дождя. Отблески желтых, красных и зеленых огней играют на тротуарах и автомобилях.

«Когда идет дождь, таксист в городе царь и бог», — говорят водители такси. И сегодняшняя ночь подтверждает это. Кажется, что только такси не замечают происходящего. Они мягко скользят под дождем...

В верхней части Манхэттена людской поток редет и блекнет. Здесь дождь поливает уличных бродяг и нищих стариков. Но наркоманы так и стоят на перекрестках улиц, продолжают выискивать клиентов проститутки. Такси обслуживают и их.

Пока идут титры, внешние звуки приглушены, как будто они доносятся из магазина за углом, но тем не менее все хорошо слышно.

Показав зрителю жизнь ночного Манхэттена, камера постепенно наплывает на машину, за рулем которой Трэвис Бикл. (Титры заканчиваются.)

Мы знакомимся с Трэвисом

Желтый автомобиль Трэвиса останавливается на Пятой авеню. Дождь не унимается. Пожилая женщина складывает зонтик и забирается в машину. Трэвис ждет некоторое время, а затем резко отъезжает от тротуара.

Такси Трэвиса мчится по мокрой улице, и мы слышим его голос — Трэвис читает отрывки из своего дневника.

Трэвис (монотонным голосом за кадром). 10 апреля 1972 года. Слава Богу, что дождь хоть немного смыл с улиц всякую дрянь. Сейчас я работаю без напарника в две смены — с шести до шести, иногда с шести вечера до восьми утра, шесть дней в неделю.

Человек в деловом костюме останавливает машину Трэвиса.

Трэвис (за кадром). Суеты много, но я при деле. За неделю делаю 300—350 долларов, а с чаевыми бывает и больше.

Человек в деловом костюме (сидя на заднем сиденье). Шеф, аэропорт Кеннеди сейчас работает или нет?

Рядом с Трэвисом лежит недоеденная булка с сыром и порция жареного картофеля. Он тушит сигарету, проглатывает еду и затем отвечает:

— Почему бы ему не работать?

Человек в деловом костюме. Слушай, я толь-

ко что посмотрел на шпиль Эмпайер Стейт и не мог его разглядеть из-за тумана!

Трэвис. Тогда скорее всего не работает.

Человек в деловом костюме. Если небоскреба не видно в тумане, это говорит тебе о чем-то или нет? Так знаешь ты или нет? Какой номер твоей машины, шеф?

Трэвис. А вы по телефону не справлялись?

Человек в деловом костюме (нетерпеливо). У меня нет на это времени. Короче, ты не знаешь.

Трэвис. Не знаю.

Человек в деловом костюме. А тебе полагалось бы знать. Кому же еще знать? Останови здесь. (Указывая за окно.) Почему бы тебе разок-другой не высунуть дурью твою башку в это чертово окно и не поинтересоваться, есть там туман, будь он проклят, или его там нет.

Трэвис останавливает машину у тротуара. Человек в деловом костюме сует доллар в коробку для оплаты, выскакивает из такси и ловит другую машину.

Трэвис заполняет свой путевой лист и едет дальше. Дождь переходит в мелкую изморось.

Трэвис (за кадром). Я работаю в любой части города. Мне без разницы.

Чернокожая проститутка в светлом парике, в белых пластиковых сапогах и в мини-юбке останавливает такси. На руке у нее висит полупьяный тип.

Трэвис тормозит.

Проститутка и ее клиент забираются на заднее сиденье. Трэвис следит за ними в зеркало.

Трэвис (за кадром). Некоторые не сажают черных. Мне — без разницы.

Трэвис едет через Центральный парк. С заднего сиденья доносятся крихтенье, прерывистое дыхание: проститутка занимается с клиентом любовью.

Клиент (за кадром). Ой, лапочка ты моя. **Проститутка** (за кадром, требовательно). Ну, давай, ты.

Трэвис безучастно смотрит вперед.

Квартира Трэвиса — выдавшее виды обиталище.

Трэвис что-то пишет за столом. В смятой банке из-под кофе торчит сигарета.

Тетрадь — обычная дешевенькая тетрадь в линейку. В ней огрызком карандаша Трэвис пишет те самые слова, которые мы слышим. Прямые, аккуратные строчки. Почерк угловатый.

Мы можем рассмотреть жилище Трэвиса. У стены валяется старый истрепанный матрац. На полу разбросаны ста-

рые газеты, замызганные схемы улиц и порнографические открытки — черно-белые фотографии обнаженных женщин, перетянутых черными кожаными ремнями и бельевыми веревками. Никакой мебели, кроме расшатанного стула и стола. Старенький переносной телевизор на деревянном ящике из-под фруктов. В углу висит нерасправленная красная шелковая материя, напоминающая вьетнамский флаг. На голых отштукатуренных стенах нацарапаны какие-то цифры, слова, которые невозможно прочитать. На стене, где когда-то висел телефон, болтаются оборванные черные провода.

Трэвис (за кадром). Все они зверье и есть, вылезают по ночам: шлюхи вонючие, говнюки, гомики, наркота несчастная, психи, твари продажные. (Пауза.) Когда-нибудь настоящий дождь смоет всю эту дрянь с улиц.

Раннее утро. Воздух чистый и свежий. На улицах почти никого нет. Машина Трэвиса заезжает в гараж.

Трэвис (за кадром). Всякий раз, когда я ставлю машину в гараж, мне приходится стирать с заднего сиденья человеческие извержения, а иногда и кровь.

Трэвис ставит машину в гараж. Достает из бардачка склянку с таблетками, прячет в карман куртки. Открывает заднюю дверь и забирается внутрь. Вытряхнув сигарету из пачки, закуривает.

Спустя некоторое время Трэвис отмечает-ся в конторе. Старые подгнившие деревянные доски прикручены к серой обшарпанной бетонной стене. На них расписания, распоряжения, написанные от руки памяти водителям:

Будь внимателен! Здравомыслящий водитель всегда готов к неожиданностям;

Ночные водители, пострадавшие в результате несчастных случаев, должны немедленно позвонить по телефону 2-3410 Джадсону и срочно представить отчет о случившемся к 9 часам утра по адресу: Западная сторона 61 стрит, 43;

Помни, скорость должна соответствовать обстановке на дороге. Резко не тормози!

В конторе несколько усталых водителей. Они клюют носом, но продолжают болтать без умолку. Мы слышим обрывки их разговоров.

Первый водитель... срать хочу, как скотина. Останавливаюсь, поднимаю капот и — в мотор. (Показывает, как он это делает.) Стою со своей селедкой в руке, как вдруг какой-то парень подходит и спрашивает, не надо ли помочь. Проверка бата-

рей, говорю, а сам тем временем... (Показывает, как он отливает.)

Второй водитель. Если он думает, что я поеду на окраину города в это время ночи, пусть пойдет выкусит.

Третий водитель (разговаривает по телефону). Да пошла она, эта сраная лошадь. Нет-нет, я ставки делал не на ипподроме, а через систему связи. Еще чуть-чуть, и я бы выиграл эти говенные семь тысяч. Так, ну а как второй заезд?

Четвертый водитель. Там эта шлюха работала весь гараж. Всем им палки облизала, а они ей глотка воды не дали выпить.

Трэвис отдает свой путевой лист служащему, выходит из конторы и, засунув руки в карманы куртки, с удовольствием идет вниз по Бродвею. Тротуары безлюдны, если не считать неутомимых торговцев овощами и фруктами, устанавливающих свои лотки. Он глубоко вдыхает свежий воздух, достает из кармана белую таблетку и отправляет ее в рот.

Кинотеатр, где круглосуточно крутят порнофильмы. Красные и желтые огни, которыми расцвечен кинотеатр, кажутся неуместными в это чистое, свежее утро. Вывеска гласит: «Кинотеатр «Эдем». 16-мм звуковые фильмы».

Ниже от руки написаны названия фильмов: «Шестидневный Круиз» и «Бобровая Плотина». Трэвис покупает билет и входит в кинотеатр.

В зрительном зале Трэвис некоторое время стоит в проходе, затем идет к кондитерской лавке, здесь же в кинотеатре.

За потертым прилавком скучает продавщица совершенно заурядной внешности. На куске темно-красного бархата, накинутого на прилавок, — гипсовая фигурка Венеры Милосской. Из зала доносятся звуки фильма.

Продавщица. Что вам угодно?

Трэвис смотрит на продавщицу, облокотившись на прилавок. Он явно пытается распознать ее к себе — нелегкая для него задача. Но, видит Бог, ему необходимо с кем-нибудь поговорить.

Трэвис. Как вас зовут? Меня — Трэвис.

Продавщица. Ой, кончай, парень.

Трэвис. Нет, правда, я серьезно...

Продавщица. Ты хочешь, чтобы я позвала хозяина? Да? Ты этого хочешь?

Трэвис. Нет-нет, я ничего. Дайте-ка мне большую кока-колу без льда, большую порцию кукурузы в масле, и еще... немного шоколадного драже с сухим молоком... и коробку мармелада, ее надолго хватает.



Продащица. Мармелада у нас нет. Кока-колы нет. Есть только Ройал Краун Кола.
Трэвис. Прекрасно.

Продащица. Доллар сорок семь центов.

Трэвис кладет на прилавок два доллара. В зрительном зале Трэвис пьет колу, ест кукурузу и шоколадное драже. Он не сводит глаз с экрана, откуда доносится мужской голос:

— Иди сюда, сука. Я тебя сейчас раздери пополам.

Мужской голос уступает место рассказу Трэвиса.

Трэвис (за кадром). После двенадцати часов работы я все равно не могу уснуть. Дни тянутся бесконечно и никак не кончаются.

Мы знакомимся с Бетси

Штаб комитета «Жители Нью-Йорка за избрание Чарльза Палантайна президентом США» украшен традиционными красно-бело-голубыми флагами, лентами и плакатами.

На одном из транспарантов написано «Палантайн», на другом — «Регистрируй-

тесь перед первичными выборами в штате Нью-Йорк. Выборы 20 июля». Улыбающийся Чарльз Палантайн, человек средних лет, взирает с транспаранта на спешащих внизу прохожих.

В штабе предвыборной кампании молодые люди разбирают кипы бумаг и при этом весело болтают. В комнате пронзительно трезвонят телефоны.

Трэвис лишь издали наблюдает за этими людьми — здоровыми, энергичными, холерными, красивыми. А вот и Бетси, очень привлекательная женщина лет двадцати пяти. За внешностью девушки с журнальной обложки скрывается тонкая чувствительность. Она внимательно осматривает каждого мужчину и прикидывает, насколько он соответствует ее идеалам: политическим, интеллектуальным, сексуальным, эмоциональным, материальным. Одним словом, в мужчинах ее привлекают незаурядные качества.

Закончив говорить по телефону, Бетси подзывает к своему столу Тома — длиноволосого, долговязого славного малого. Особых качеств, интересующих Бетси, у него нет, потому нет и шансов на близкие

с ней отношения, но он все же не теряет надежды.

Бетси. Я думаю, что отчет о предвыборной работе будет вот-вот готов. Поговори с Энди и, если он даст добро, подготовь копии отчета для штабов во всех графствах. (Пауза.) И не забудь приложить фотографии.

Том. Политическая программа сенатора почти готова, Бетс. Может быть, подождем ее?

Бетси. Обычно Энди посылает такие вещи в национальные средства информации. Все равно местная печать не знает, что делать с программными документами до тех пор, пока ЮПИ или АП им все не растолкуют.

Том. Я думаю, что нам нужно постараться обеспечить самое широкое освещение новой программы обязательного социального обеспечения. Надо толкать идею.

Бетси (назидательно, как будто разговаривает с ребенком). Сначала нужно двигать человека, а потом идею. Сенатор Палантайн прежде всего энергичный человек, умный, интересный, неотразимый мужчина.

Том. Ты забыла сказать «сексуальный».

Бетси. Нет, я не забыла.

Том. А... Не успела сказать, да?

Бетси. Ну, хватит, Том.

Том. Господи, тебя послушать, так подумаешь, что ты продаешь... я не знаю... автомобиль, но не идеи.

Бетси. Ты никогда не задумывался, почему программа новостей Си-Би-Эс имеет наивысший рейтинг?

Том. Ее смотрят больше людей.

Бетси. Хорошо, но будем об этом, если ты не можешь говорить серьезно.

Том. Ну, ладно... Я слушаю. Я просто...

Бетси. Что просто?

Том. Просто пошутил...

Бетси смотрит на улицу, потом опять на Тома.

Бетси. Знаешь, если бы ты порой шевелил мозгами, может быть, из этого и вышло что-то путное.

Том. С кем вышло бы?

Бетси. Ну, ладно. Так ты хочешь знать, почему у Си-Би-Эс наивысший рейтинг? Ты думаешь, их новости чем-то отличаются от новостей Эн-Би-Си или Эй-Би-Си? Ничуть. Все одно и то же. Даже идут они обычно в том же порядке. Или ты думаешь, у них хорошие новости и поэтому все смотрят Си-Би-Эс? Так я тебе скажу, почему люди смотрят Си-Би-Эс. Кронкайт. Человек. Просекаешь? Не новости, не мысли, а человек. Если бы Уолтер Кронкайт советовал есть мыло, они бы это делали.

Да, мы действительно продаем автомобили, черт возьми.

Что-то на улице отвлекает внимание Бетси. Она надевает очки и вглядывается в противоположную сторону улицы.

Том. Хорошо, если Кронкайт такая величина, почему мы тогда не выдвигаем его в президенты?

Бетси. Всё. Я больше не могу. Точка. Кто-то может чему-то научиться, кто-то — нет. И ты еще спрашиваешь, почему мы никак не можем серьезно поговорить...

Том. Нет, правда, можно было бы его выдвинуть. Представляешь, он уже президент своего жилого квартала.

Бетси (опять смотрит на улицу). Ты ничего странного не замечаешь?

Том. Нет, а что?

Бетси. Почему вон тот таксист на противоположной стороне так пристально на нас смотрит?

Том. Какой таксист?

Бетси. Вон... Сидит и сидит там.

Том. И давно сидит?

Бетси. Не знаю, но похоже, что давно.

Холодным пристальным взглядом Трэвис смóтрит из машины, припаркованной напротив штаба избирательной кампании Палантайна. Как одинокий волк, он наблюдает издали за теплыми кострами цивилизации. Том и Трэвис обмениваются взглядами.

Том. Я пойду и спрошу, в чем дело.

Решительным шагом Том выходит на улицу, направляется к машине Трэвиса. Тот замечает приближающегося юношу, поспешно заводит машину и срывается с места.

Том озадаченно смотрит вслед быстро удаляющемуся такси. Оно продолжает свой путь вниз по Бродвею.

Еще из дневника Трэвиса

Комната Трэвиса. Он лежит на матрасе, уставившись в потолок. Рядом — несколько аптечных склянок (одна большая — с витаминами, две других поменьше — с таблетками), бутылка коньяка.

Трэвис (голос за кадром). Всю жизнь мне не хватало способности ориентироваться, ощущения того, куда надо идти. Я не верю, что человек должен посвятить жизнь нездоровому самоанализу. Человек должен быть таким, как другие люди.

Вечер еще одного дня.

Машина Трэвиса едет вниз по Бродвею, на крыше горит сигнал «Смена окончена».

Штаб избирательной кампании Палантайна. Несколько сотрудников еще продол-

жают работать. На месте, где сидела Бетси, никого нет.

Пятая авеню. Вечер того же дня. Густая толпа манхэттенцев спешит по своим делам. Трудно различить отдельных людей — это сплошная масса.

Трэвис (за кадром). Впервые я увидел ее в штабе избирательной кампании Палантайна, что на пересечении 58 улицы и Бродвея. На ней было желтое платье, она сидела за столом и говорила по телефону.

Неожиданно из толпы выделяется изящная фигурка Бетси в модном желтом платье. Толпа расступается, как Красное море, и вот она перед нами: идет совершенно одна, вне людей, вне времени и пространства.

Трэвис (за кадром). Она явилась, как ангел, из этой сточной канавы, из этой поганой толпы. Она единственная: они не смеют прикоснуться к ней.

Трэвис в своей комнате за столом делает записи в дневнике. Огрызок карандаша останавливается на слове «ней».

Разговор в грязной забегаловке

Половина четвертого утра. Ночной ресторан на западной стороне Манхэттена. В воздухе висит густой запах перегоревшего жира, дыма, пота и винного перегара. Вся нечисть, которая остается по ночам в Нью-Йорке, появляется в таких местах. Здоровенный повар, весь заляпанный жиром, стоит у плиты. В дверном проеме топчется наркоман. За маленькими столиками с пластиковым покрытием — несколько негров (они слишком хорошо одеты для такого места, в такое время), бездомные и какой-то старый марзматики, сжимающий в руках свою чашку кофе, как последнюю ценность.

В дальнем конце ресторана сидят три таксиста: Старик (ему около пятидесяти, но выглядит он старше), Доллар (молодой парень), Чарли Ти (негр лет сорока).

Старик рассказывает Доллару какую-то историю. Чарли Ти, подперев голову руками, молча уставился в тарелку с остывшей яичницей.

Старик. Сначала она занималась макияжем. Вот чего я терпеть не могу. Все-все сделала: ресницы, глаза, губы намазала, румянец...

Доллар. Не румянец, а румяна это называется.

Старик. Ну, кисточкой...

В дверях появляется Трэвис. Чтобы войти, ему приходится дверь отодвинуть наркомана — только бы самому до него не

дотрагиваться. Это ему противно. Возможно, он испытывает отвращение к этим людям и к этому месту, но не позволяет чувствам вырваться наружу.

Старик машинальным движением руки приветствует Трэвиса.

Старик. Трэвис.

Трэвис. Здорово, Старик.

Трэвис садится верхом на стул возле стола. Доллар (то ли подмигивая ему, то ли дергая глазом) говорит:

— Да, это румяна. У моей жены такие.

Старик (с иронией). Спроси у Трэвиса. Он в женщинах толк знает.

Трэвис пожимает плечами и заказывает чашку кофе.

Старик. В общем, намазалась она этой хреновиной. Затем дошло дело до спрея. Приятный такой запах... И вот проезжаем мы по мосту Трайборо, и что бы ты думал? Она начинает стаскивать с себя колготки!

Доллар. Иди ты.

Трэвис делает вид, что его это не интересует, но только делает вид.

Старик. Точно.

Доллар. Ну, ты чего-нибудь видел?

Старик. Она, конечно, юбку старалась одернуть. Но тут все ясно было, что она там делала. Слушай, Боже мой, это был час пик, движение, считай, почти парализовано.

Доллар. И что ты сделал?

Старик. Как что? Машину на тормоз, сама на заднее сиденье сиганул и отделал ее так, что мозги — вон. (Они смеются.) Что мне делать было? Тебе все нарисуй.

Доллар. Ага.

Старик. Что мне делать оставалось? Сижу, смотрю в зеркало. За движением, понимаешь, слежу.

Доллар. А она видела, что ты наблюдаешь?

Официантка приносит Трэвису кофе и стакан воды. Он просит принести еще булку с сыром.

Старик. Конечно. И что ты думаешь? Она хотела вылезти из машины. Я говорю, слушай, ты же посреди моста находишься, мать твою...

Доллар. Ты так и сказал ей? Про мать ее?

Старик. Я сказал ей: «Помилуйте, леди, мы же на мосту...»

Доллар. Ну, и что дальше?

Трэвис ждет, что ответит Старик.

Старик. Конечно, она осталась в машине. Что ей еще было делать? Но чаевых не дала. Сволочь.

Доллар. Сволочь.

До Старика вдруг доходит, что, возможно, Трэвис незнаком с таксистами.

Старик (по-отечески). Трэвис, это Доллар, Чарли Ти. Вы знакомы?

Чарли Ти сонно кивает головой, Трэвис показывает, что он знает Доллара.

Доллар. Мы знакомы. Вместе в Гарварде учились. (Смеется.)

Старик. Мы его Долларом зовем, потому что он деньги любит. За лишний доллар укатит хоть в Нью-Джерси.

Доллар. Уж ты бы помолчал. (Обводит рукой сидящих за столом.) Кто еще готов всю ночь не спать, лишь бы в утренней свалке успеть сорвать куш?

Трэвис не спеша пьет кофе. У Чарли Ти закрываются глаза.

Старик. (Трэвису). Как дела?

Трэвис (равнодушно). Какого-то водителя из компании Белл только что порезали. Сейчас по радио слышал:

Доллар. Денег хотели?

Трэвис. Да, нет. Какой-то психованный пол-уха у него взял и отрезал.

Доллар. Где?

Трэвис. В джунглях. 122-я улица.

Трэвис переводит взгляд на других завсегдатаев забегаловки. За одним из столиков — трое бродяг. Один из парней принял дозу и тупо уставился перед собой. Неряшливо одетая, но привлекательная девушка положила голову на плечо своему парню (у него густая борода и повязка на голове). Они целуются, поддразнивая друг друга. И ничего в мире в это время для них больше не существует.

Трэвис внимательно смотрит на эту пару хиппи. С одной стороны, он испытывает презрение к ним, к их образу жизни, с другой — снедаем мрачной завистью. Они могут наслаждаться любовью, которой никогда не было у него. Видимо, эти тайные переживания доставляют Трэвису наслаждение, потому что он не отрывает от этой пары глаз.

Доллар (за кадром, меняя тему разговора). Трэвис, ты ведь колесишь по всему городу?

Старик (про 122-ую улицу). Страна обезьянья, вот что это такое.

Трэвис возвращается к разговору.

Трэвис. И что?

Доллар. Я хочу сказать, что пассажиры у тебя, должно быть, ребята крутые. Так?

Трэвис (понимая, о чем речь). Бывает.

Доллар. Ты со стволом ездешь? Тебе нужен?

Трэвис. Нет. (Пауза.) Вроде нет.

Официантка шваркнула на стол плохо вымытый стакан с водой и тарелку, на которой, словно сморщенная голова на подносе, — булка с сыром.

Доллар. Если тебе понадобится, то я знаю

парня, который может устроить стоящую вещь.

Старик. Если полиция или руководство компании узнают, будет куча неприятностей.

В стакан с водой Трэвис бросает пару таблеток Алка-Зельцер от болей в животе.

Доллар. Водители грузовиков предлагают пушки вроде Гарлем Спешиаля, которые в руке взрываются. Но этот парень говном не торгует. Только качественные вещи: Если потребуется, могу познакомиться.

Старик. За определенную плату.

Доллар. За определенную плату.

Старик. Я своим никогда не пользуюсь. Но иметь не мешает. Так, чтобы пугнуть иной раз.

Доллар (вставая). Пора. Когда водители здесь закусывают, на улице скапливается много пассажиров. Пойду повкальваю.

Старик. Зачем тебе так много денег, Доллар?

Доллар. Детей кормить. Сечешь? (Пауза.) Всего хорошего, Трэвис. Пока, Старик. (Кивает Чарли Ти.) Передай от меня привет Малькольму.

Чарли Ти не шелохнется: он спит. Доллар уходит. Трэвис автоматически улыбается, затем переводит взгляд на Старика. Им явно не о чем говорить, и Старик не пытается вымучивать разговор.

Трэвис осматривает забегаловку: здесь все по-прежнему.

Бетси встречает Трэвиса Бикла

Еще один день. Внешний вид штаба по избранию Палантайна. Проезжают машины.

В помещении штаба разговаривают Том и Бетси. Она достает сигарету. Он — спички.

Бетси. Попробуй спичку держать вот так.

Том. Это что, игра?

Бетси (надевает очки). Посмотрим.

Том (обжигает пальцы). Ай!

Бетси (весело смеется). Не больно?

Том. Ничего, ничего. Я всегда пальцы обжигаю. Все в порядке. Хочешь, я тебе еще фокус покажу? Смотри, что я со своим носом делаю.

Бетси. Не надо. Я просто хотела посмотреть, можешь ли ты зажечь спичку таким образом. Парень в газетном киоске может.

Том. Да, да, парень в газетном киоске, мистер Асбест...

Бетси. Оказывается, у него нет пальцев на руке. Я впервые это заметила, когда...

Том. Он итальянец?

Бетси. Нет. А что?

Том. Ты точно знаешь, что он не итальянец?

Бетси. Он черный. Понял?

Том. Если бы он был итальянцем, то пальцы у него могли бы быть отстреланные. Иногда мафия делает это, чтобы проучить некоторых парней. Если они какое дело испортят или еще что-то.

Бетси. Я же говорю, не итальянец он. Между прочим, я думала, что они их просто убивают.

Том. Не будь наивной. Они же не могут всех убивать. За разные провинности у них разные наказания. Если, например, они убирают стукача — оставляют на теле дохлую канарейку. Это символ.

Бетси. Почему вместо канарейки они не оставляют голубя?

Том. Не знаю. Может быть, и не оставляют канарейку. Это детали. Просто я хочу сказать, что если этот парень в газетном киоске итальянец и у него недостает пальцев, он, вполне возможно, вор.

Бетси. Во-первых, он не итальянец. Во-вторых, он не вор. Я заметила, что у него нет пальцев, когда он мне отсчитывал сдачу. Причем отсчитал он все без обмана. У него не хватает двух пальцев. Обрубки вместо них. Как будто пальцы оторвало. Когда я убирала сдачу в кошелек, заметила, что он достал сигарету. Мне страшно захотелось посмотреть, как он ее будет зажигать.

Том. Другой рукой. Верно?

Бетси. Да нет, милый мой. В том-то и дело, что обрубками пальцев.

Том. Я знаю этого парня. У него рука похожа на лапу. Старый негр, его киоск находится на...

Бетси. Нет, он молодой, — правда, я никогда не могу с уверенностью определить возраст чернокожих. Но он не старый. Это точно.

Том. Покажи-ка еще разок, как он это делал.

Трэвис быстрым шагом пересекает Бродвей и направляется к штабу избирательной кампании Палантайна. Таким хорошо одетым мы его еще не видели: брюки (не джинсы) отутюжены, ботинки начищены, волосы расчесаны. Под армейской курткой свежестыранная рубашка и строгий галстук.

Наблюдая за Трэвисом, мы снова с удивлением ловим себя на мысли, что у него вполне привлекательная внешность, правда, он сильно поосунулся от недостатка сна и плохой еды.

Трэвис стремительно входит в комнату и направляется к столу, за которым сидит

Бетси. Том хочет поприветствовать посетителя, но Трэвис его не замечает.

Трэвис (у стола Бетси). Я хочу добровольно поработать.

Том (перебивая). Не могли бы вы пройти сюда?

Трэвис локтем отстраняет Тома и обращается к Бетси:

— Я бы хотел работать с вами.

Том (шепотом). Бетс.

Неприметным жестом Бетси показывает Тому, что все нормально и он может быть свободен. Том уходит.

Бетси (с любопытством). Почему именно со мной?

Трэвис в ударе. Он слегка улыбается.

Трэвис. Потому, что вы самая красивая женщина, которую я когда-либо видел.

Бетси на мгновение ошарашена, но польщена. Она чувствует что-то особенное в молодом человеке, который стоит перед ней. И к тому же — эта обезоруживающая улыбка. Как сказала бы Бетси, он — неотразим.

Бетси (улыбаясь). Неужели это так? (Пауза.) А что вы думаете о Чарльзе Палантайне?

Трэвис (мысли его где-то в другом месте). О ком, мадам?

Бетси. О Чарльзе Палантайне. О человеке, которому вы добровольно хотите помочь стать президентом.

Трэвис. Я думаю, что он удивительный человек. И из него получится великий, великий президент.

Бетси. Вы желаете участвовать в предвыборной агитации?

Трэвис. Да, мадам.

Бетси. А что вы думаете о позиции сенатора Палантайна по вопросу социальной помощи?

Этот вопрос несколько обескураживает Трэвиса. Он явно не имеет ни малейшего понятия о том, какова позиция Палантайна по вопросу социальной помощи. Более того, он вообще не думает о политике. Но совравшись с мыслями, отвечает:

— По вопросу социальной помощи, мадам? Я думаю, что сенатор прав. Люди должны зарабатывать на жизнь. Я именно так и делаю. Каждый день. Я люблю работать. Что толку держать этих старых пройдох на социальном довольствии, пусть повкальвают для разнообразия.

Бетси. Это не совсем то, что предлагает сенатор. Может быть, вы не хотите вести предвыборную агитацию, но у нас есть много другой работы. Вы могли бы заниматься конторской работой, могли бы составлять картотеки или развешивать плакаты.

Трэвис. Я хороший работник, мадам Бетси, я действительно хороший работник.



Бетси. Если вы поговорите с Томом, то он даст вам какое-нибудь поручение.

Трэвис. Если вы не возражаете, мадам, я бы хотел работать для вас.

Бетси. Сегодня вечером мы все работаем.

Трэвис. Видите ли, мадам Бетси, по ночам я вожу такси.

Бетси. Хорошо. Сами вы что конкретно хотите сделать?

Трэвис (собравшись с духом). Если бы вы не возражали, мадам, я был бы безмерно рад, если бы вы смогли выпить со мной где-нибудь чашку кофе.

Бетси не вполне понимает, как ей относиться к Трэвису. Она испытывает к нему не только любопытство, но и интерес. Ее влечет к этому человеку, и, как мотылек, она все ближе подлетает к огню.

Бетси. Почему?

Трэвис. Видите ли, мадам Бетси, я по несколько раз в день проезжаю мимо этого места в своем такси. И все время вижу, как вы сидите здесь за этим большим длинным столом с телефонами, и я говорю себе: «Эта девушка одинока. Ей нужен друг. И я готов стать ей другом».

Трэвис улыбается. Он вообще-то редко улыбается, но когда это случается, улыбка озаряет все его лицо, как будто в нем открывается неведомое ему самому очарование. Бетси совершенно обезоружена.

Бетси. Я не знаю...

Трэвис. Это здесь на углу, мадам. Днем. Все будет нормально. Я буду рядом и буду оберегать вас.

Бетси (улыбается, смягчая тон). Хорошо. Хорошо. У меня перерыв в четыре часа. Если вы подъедете к этому времени, то мы пойдем и выпьем кофе на углу.

Трэвис. Огромное вам спасибо, мадам Бетси. Я буду здесь точно в четыре часа. (Пауза.) Э... э... Бетси...

Бетси. Что такое?

Трэвис. Меня зовут Трэвис.

Бетси. Очень приятно, Трэвис.

Трэвис кивает и выходит.

Том, следивший за разговором с деланным безразличием (а на самом деле с ревностью), подходит к Бетси. Он явно хочет объясниться с Бетси по поводу происшедшего, но она просто пожимает плечами — ведь это не его дело.

Бетси. Всего-навсего я хочу выяснить, что думают таксисты.

Свидание в кафе

Трэвис ходит взад и вперед по Бродвею напротив штаба избирательной кампании Палантайна, посматривая на часы.

Трэвис (голос за кадром). 26 апреля 1972 года. Четыре часа дня. Я пригласил Бетси в кафе Мейфейр на Бродвее...

Трэвис и Бетси сидят в отдельной кабинке маленького нью-йоркского кафе. Трэвис нервно крутит чашку в руках.

Официантка приносит заказ: яблочный пирог для Трэвиса и фруктовый компот для Бетси.

Трэвис (за кадром). Себе я заказал черный кофе и яблочный пирог с кусочком плавленого желтого сыра. Я думаю, это был неплохой выбор. Бетси заказала кофе и порцию фруктовой смеси. Она могла бы выбрать все, что пожелала.

Бетси перебивает рассказ Трэвиса.

Бетси. На сегодняшний день мы зарегистрировали в Нью-Йорке уже 15 000 добровольцев, готовых агитировать за Палантайна. Мы сталкиваемся с колоссальными организационными проблемами.

Трэвис. Я хорошо понимаю, о чем вы говорите. У меня те же трудности. Никак не могу организовать свои дела. Я имею в виду все эти мелочи: свою комнату, вещи. Я должен повесить у себя табличку, на которой было бы написано: «На днях я обязательно организируюсь».

Трэвис неправильно произносит слово, и на лице его появляется заразительная улыбка, которая заставляет сердце биться чаще. Бетси не может не плениться такой улыбкой.

Бетси (смеясь). Трэвис, я никогда раньше не встречала никого похожего на вас.

Трэвис. Могу в это поверить.

Бетси. Где вы живете?

Трэвис (уклончиво). В верхней части города. Так себе место. Ничего особенного.

Бетси. Почему вы решили водить такси именно по ночам?

Трэвис. Одно время у меня была постоянная работа днем. Но ночью мне было нечего делать. И знаете, мне стало как-то одиноко бродить просто так. Я и решил работать по ночам. Одиночество ведь не очень-то приятная штука.

Бетси. После работы я ужасно хочу побыть какое-то время одна.

Трэвис. Да, конечно... (Пауза.) В такси встречаешь людей. Много людей. Это хорошо действует.

Бетси. А какие это люди?

Трэвис. Да как вам сказать. Просто люди. (Пауза.) Однажды покойник попался.

Бетси. Как так?

Трэвис. У него было пулевое ранение. Я-то этого не знал. Он заполз на заднее сиденье, сказал «Западная сторона 45-й улицы» и дух вон.

Бетси. И что вы сделали?

Трэвис. Прежде всего выключил счетчик. Ведь платить-то некому было. Затем забросил его в полицейский участок. Они приняли.

Бетси. Вот это да.

Трэвис. В такси чего только не увидишь. Особенно когда луна появляется.

Бетси. Луна?

Трэвис. Полная луна. Однажды ночью мне несколько ненормальных попались. Задрал голову: так оно и есть — полная луна.

Бетси смеется.

Трэвис. Серьезно. Люди не стесняются при водителе делать все что угодно. Абсолютно все. Одним комнату в отеле снять не по карману, другим надо наркотик толкнуть или уколотся, третьим неймется оскорбить тебя. (В его голосе появляется горечь.) Как будто тебя и нет, как будто ты и не человек. Никому ты не нужен.

Бетси прерывает печальный рассказ Трэвиса.

Бетси. Будет вам. Все не так уж плохо. Я часто езжу в такси.

Трэвис. Я знаю. Однажды я мог вас подвезти.

Бетси. Да?

Трэвис. Вы были на Плазе, как-то поздно ночью. Часа в три.

Бетси. В три утра? Вряд ли. Мне приходится ложиться рано. Я работаю днем. Это был кто-то другой.

Трэвис. Нет, это были вы. У вас были какие-то светло-желтые папки и розовая сумка фирмы Сакс.

Понимая, что Трэвис не ошибся, Бетси успешно объясняет:

— Ах, да! Верно. Теперь я припоминаю! К нам приезжали люди, отвечающие за западные регионы, и совещание затянулось допоздна. На следующий день я была совершенно разбита. Это было ужасно.

Трэвис. Если бы не один алкаш, я бы вас точно посадил. Ему надо было в ДМЗ.

Бетси. В демилитаризованную зону?

Трэвис. Это значит — в Южный Бронкс. Хуже быть не может. Я хотел от него избавиться, но он уже залез в машину, и надо было везти. Таков закон. Если бы не он, я бы посадил вас.

Бетси. Это было бы замечательное совпадение.

Трэвис. Вы не поверите, как часто встречаются те же люди, те же пассажиры. У людей есть определенные привычки. Изю дня в день они делают примерно одно и то же. Уж я-то знаю.

Бетси. Я не хожу на Плазу каждую ночь.

Трэвис. Я не имею в виду вас. Я говорю о

людях вообще. Один парень, которого я знаю, — Доллар — так со своей женой познакомился. Разговорились. Она сказала, что обычно ездит на автобусе, он и стал ее подбирать на автобусной остановке и отвезти домой за так.

Бетси. Это очень романтично. Некоторые пассажиры, должно быть, люди интересные. Вы видели звезд, политиков? Помогали рожать кому-нибудь?

Трэвис (озадаченно). Нет, это нет... Несколько знаменитых людей было. (Припоминает.) Был у меня парень, который делает лазеры. Не большие, обычные лазеры, а маленькие, карманного размера, их к ремню можно пристегнуть как радиотранзистор или пистолет. Лучевая пушка такая. Бац и все.

Бетси (смеется). Сколько часов вы работаете?

Трэвис. Я работаю один, без замены, то есть без напарника. С шести до шести, иногда до восьми. Семьдесят два часа в неделю.

Бетси (с удивлением). Неужели семьдесят два часа в неделю?

Трэвис. Иногда семьдесят шесть или восемьдесят. Бывает, прихватываю еще несколько часов утром. Восемьдесят миль днем, сто миль ночью.

Бетси. Вы, должно быть, богатый человек.

Трэвис (с широкой ласковой улыбкой). Работаем.

Бетси. Вы знаете, что вы мне напоминаете?

Трэвис. Что?

Бетси. Песню Криса Кристоферсона, в которой есть такие слова: «прорицатель и толкач он; где тут правда, где тут ложь, ничего не разберешь». (Улыбается.)

Трэвис (смущенно). Я не толкач, Бетси. Честно. Я никогда с наркотиками дела не имел.

Бетси. Я не это имела в виду, Трэвис. Я о том, что «ничего не разберешь».

Трэвис (менее напряженно). Как его зовут?

Бетси. Певца?

Трэвис. Да. Я ведь за музыкой не очень слежу.

Бетси (медленно). Крис Кристоферсон.

Трэвис пристально смотрит на Бетси, и они улыбаются друг другу.

В магазине пластинок

Трэвис смущенно бродит по магазину пластинок, явно не зная, где искать то, что ему нужно. Он поглядывает на симпатичную продавщицу, не осмеливаясь подойти и спросить. Продавщица, видя его смущение, сама предлагает помощь. Трэвис едва слышно называет ей имя, и понятно, что имя это — Кристоферсон.

Продавщица достает альбом Кристоферсона и, по просьбе Трэвиса, заворачивает в подарочную упаковку.

Трэвис выходит из магазина, гордо неся нарядно упакованную пластинку.

Ночь за рулем

Трэвис — за рулем машины. И мы видим город через ветровое стекло такси таким, каким его видит Трэвис. В радиопереговорном устройстве хрипят помехи, слышны голоса.

Загорается зеленый сигнал светофора, машина трогается с места.

Длинная вереница прохожих. Обычные обитатели улиц — бродяги, наркоманы, туристы, проститутки, гомосексуалисты, хиппи — не представляют сейчас никакого интереса. Сейчас мы наблюдаем за тем, кто выходит на проезжую часть. Вон тот мужчина — он хочет поймать такси или просто чешет в затылке?

В следующем квартале, видимо, будет три-четыре пассажира. Быстро проезжаем на желтый свет, резкий тормоз: проверим, что тут имеется. Это туристы, от них чаевые грошовые — пусть берет следующий таксист. Дальше тоже ничего особенного. А вот это уже неплохо: здешняя женщина средних лет, стало быть, короткая поездка на восточную сторону и хорошие чаевые. Остановившись на тротуара, ждем, пока она заберется в машину. Приходится немного подождать — негр проходит перед машиной. Следуя за взглядом Трэвиса, обращаем внимание на обнимающую молодую парочку. Во время поездки Трэвис делится мыслями о том, как надо искать пассажиров. **Трэвис** (за кадром). Когда работаешь ночью, вырабатывается инстинкт. Уже по запаху определяешь — кто хорошие чаевые даст, кто ничего, кто на скандал нарывется. 25 центов на Манхэттене считаются хорошими чаевыми. Лучше дают в Квинз, а в Бруклине — еще лучше. Старайся найти пассажира с чемоданами. Богатые дают меньше всех. Проститутки терпеть не могу. Черные ничего, но они, конечно, живут не на Парк авеню.

Счетчик пущен: он показывает 60 центов. Тик, тик, тик. Женщина в такси тихо говорит: «Восточная часть 89-й улицы, 192». Машина мчится вверх по Девятой авеню. Сколько раз подряд удастся проскочить на зеленый свет? Кто-то выходит на проезжую часть, чтобы остановить такси, но быстро возвращается на тротуар. На счетчике уже 90 центов. Будет один доллар и сорок центов.

Машина едет через парк, и мы почти на месте. Надо следить за номерами домов: 134—140. Конец квартала. Счетчик показывает 1 доллар и сорок центов.

Посмотрим в зеркало — она достает две бумажки. Сдача будет две монеты по 25 центов и один десятицентовик. На чай останется либо 25, либо 35 центов.

Обратно возвращаются 35 центов — хорошие чаевые. Хорошая дама. Едем дальше.

Это мир, в котором живет Трэвис: темные улочки, ослепительно яркие широкие улицы, быстрые взгляды, молниеносные оценки — десятки критических решений в минуту. Такси мчится вниз по темной улице.

Из такси Трэвиса выходит пассажир, и Трэвис подстраивается в ряд к машинам на Плазе.

Трэвис (за кадром). Я опять звонил Бетси на работу, и она сказала, что, возможно, завтра, когда она освободится, мы могли бы пойти вместе в кино. И у меня выходной. Сначала она сомневалась, но я позвонил еще, и она согласилась. (Пауза.) Бетси. А фамилия? Опять забыл узнать ее фамилию. Черт. О таких вещах надо помнить.

Трэвис думает о Бетси в то время, когда трое мужчин забираются в машину. Он включает счетчик.

Мужчина (за кадром). Отель «Сент Регис».

Трэвис смотрит в зеркало и узнает пассажира, сидящего на заднем сиденье. Это Чарльз Палантайн, кандидат в президенты.

Том, сидящий на откидном сиденье, смотрит на часы и почтительно обращается к Палантайну:

— Сейчас 12.30. У вас будет 15 минут до начала обеда.

Палантайн кивает, а его помощник замечает:

— Я думаю, если кто-нибудь здесь сделает свой выбор, об этом не надо волноваться до тех пор, пока не начнут поступать результаты из Калифорнии.

Трэвис (перебивая). Послушайте, вы не кандидат Чарльз Палантайн?

Палантайн (чуть-чуть раздраженно). Да, это я.

Трэвис. Понимаете, я один из тех, кто за вас горой. Всем, кто ездит в этой машине, я говорю, что им следует голосовать за вас.

Палантайн (польщен, смотрит на лицензию Трэвиса). Что ж, спасибо, Трэвис.

Трэвис. Я уверен, что вы победите, сэр. Все, кого я знаю, собираются за вас голосовать. (Пауза.) Я думаю наклеить на машину один из ваших лозунгов, но компания говорит, что это противоречит ее политике.

Палантайн (довольный). Поверь, Трэвис, в такси я узнал об этой стране больше, чем

в конференц-зале компании Дженерал Моторс.

Том (шутя). А также в некоторых других местах...

Палантайн. Трэвис, какое большое дело от будущего президента нашей страны ожидаешь именно ты?

Трэвис. Не знаю, сэр. Я за политикой не очень слежу.

Палантайн. Но должно же быть что-то...

Трэвис (раздумывая). Пожалуй, он должен очистить этот город. В нем полно грязи и мрази, мрази и грязи. Он похож на открытую сточную канаву. Бывают дни, когда я не пределе. Выйдешь на улицу, чувствуешь этот запах, и начинается головная боль, которая никак не проходит. Нужен президент, который бы навел порядок, промыл все как следует.

Откровенный ответ Трэвиса застигает Палантайна врасплох. Он вынужден прибегнуть к шаблонному ответу, хотя и пытается придать ему глубокий смысл.

Палантайн (после паузы). Я знаю об этом, Трэвис, и сделать это будет непросто. Мы готовимся к тому, что нам придется проводить радикальные изменения.

Трэвис (поворачивая руль). Это точно.

Машина останавливается у отеля. Палантайн и Том выходят, помощник расплачивается с Трэвисом. Палантайн кивает Трэвису на прощание.

Палантайн. Приятно было поговорить с тобой, Трэвис.

Трэвис. Спасибо, сэр. Вы хороший человек, сэр.

Палантайн в сопровождении помощников по ковровой дорожке идет к отелю, но вдруг останавливается и смотрит вслед удаляющемуся такси Трэвиса.

Вечер свидания

Улица на Манхэттене. Ранний вечер.

Разодетый Трэвис идет в приподнятом настроении. Лицо его выбрито, волосы расчесаны, галстук аккуратно завязан. Задерживается перед витриной, чтобы проверить, как он выглядит. В руках у него завернутый в подарочную упаковку альбом Кристоферсона.

Перед штабом Палантайна нарядно одетая Бетси машет на прощание одному из сотрудников и выходит навстречу Трэвису.

Трэвис и Бетси идут вниз по Бродвею в сторону Таймс Сквер. Она держится чуть на расстоянии, а он старается потихоньку приблизиться к ней.

Бетси разворачивает упаковку и восторгается пластинкой или, скорее, поступком Трэвиса, подарившего ее.

Трэвис переполнен чувством гордости: это один из счастливейших моментов в его жизни, один из немногих.

Бетси. Не надо было тратить...

Трэвис (перебивая). Господи, а что мне еще делать с деньгами?

Бетси (заметив, что пластинка не распечатана). Вы даже не послушали?

Трэвис (уклончиво). Да у меня стереоприемник сломался. Но я уверен, что пластинка в порядке.

Бетси. У вас стереосистема сломалась? Боже мой, как же вы живете? Я без музыки не могу.

Трэвис. Я не очень слежу за музыкой. Хотя неплохо было бы. (Подумав.) Честно.

Бетси (указывая на альбом). Значит, вы еще не слушали эту пластинку?

Трэвис. Нет. (Хитро улыбаясь.) Я подумал, что, может быть, вы проиграете ее для меня на вашей системе.

По лицу Бетси видно, что она немного жалеет о том, что завела этот разговор. Может быть, она сделала ошибку, что пошла с этим, едва знакомым парнем. Она смеется из вежливости.

Трэвис и Бетси сворачивают с Бродвея на 42-ю улицу. В руках у Трэвиса альбом Кристоферсона. Они подходят к ярко освещенному порнокинотеатру. Светится название фильма «Шведское руководство для бракосочетающихся». По обе стороны кассы — застекленные витрины, в которых выставлены на обозрение смачные кадры из фильма. Непристойности на фотографиях заклеены черной лентой.

Трэвис покупает два билета по пять долларов. Бетси наблюдает за ним в полном недоумении. Трэвис возвращается с билетами, а девушка так и не понимает, что происходит.

Бетси. Что вы делаете?

Трэвис (простодушно). Я купил два билета.

Бетси. Но это же порнографический фильм.

Трэвис. Нет, на этот фильм можно пригласить женщину. Он не такой, как другие. Многие ходят смотреть его парами. Честно. Я сам видел.

Похоже, что Трэвис смущен. Он привык жить в своем мире, и ему трудно понять мир другого человека. В сравнении с теми фильмами, которые смотрит он, этот кажется ему приличным. Но есть еще кое-что, о чем Трэвис не мог и подумать, тем более признать: ведь он действительно хочет заставить эту чистенькую девушку в темный порнокинотеатр.

Бетси смотрит на билеты, на кинотеатр, на Трэвиса. Про себя она говорит «нет»,



а сама идет к турникетам. Про себя она думает: «Какого черта? Что может случиться?» В конце концов она всегда хотела узнать, что это за фильмы. Кроме того, она не привыкла перечить своему спутнику.

Трэвис ведет Бетси к свободному ряду в середине зала. Он оказался прав — парочки действительно смотрят такие фильмы. В зале — еще по крайней мере шесть или семь мужчин со своими «спутницами». Трэвис привычно усаживается в кресло. Бетси с любопытством оглядывается вокруг.

С экрана строго одетая женщина средних лет вещает о том, как важна здоровая половая жизнь для счастливой супружеской жизни. Затем возникает пара, совокупающаяся на белой кровати.

Трэвис внимательно следит за тем, что происходит на экране. У Бетси же бледнеет лицо, и сознание ее наполняет единственная мысль: «Что я здесь делаю?»

Трэвис (про себя). А, черт!

Бетси. В чем дело?

Трэвис. Забыл кока-колу купить.

Это последняя капля. Бетси какое-то мгновение смотрит на него, затем встает и пробирается к выходу. Трэвис, не понимая, в чем дело, спешит за ней.

Трэвис. Куда же вы?

Бетси. Хватит с меня.

Трэвис. В каком смысле?

Бетси смотрит на Трэвиса, стараясь понять его.

Бетси. Я на такие фильмы не хожу.

Трэвис. Я в фильмах не очень разбираюсь...

Бетси. Ты что, только сюда и ходишь?

Трэвис. Ну, здесь дороговато, конечно...

Бетси. Нет, ты что, только порно смотришь?

Трэвис (колеблясь). В основном... да.

Бетси. О, Боже!

Трэвис. Если хотите, мы можем пойти на другое кино. Мне все равно. Деньги у меня есть. Сколько угодно...

Трэвис указывает рукой на длинный ряд козырьков от кинотеатров вдоль 42-й улицы, но Бетси прерывает его.

Бетси. Если тебе всего-навсего потрахаться приспичило, почему ты сразу не сказал?

Трэвис ошарашен прямоотой Бетси. Не в состоянии ответить на ее вопрос он продолжает говорить о том, о чем говорил.

Трэвис. Здесь масса кинотеатров. Я во всех не бывал, но они хорошие, я уверен.

Бетси. Нет, Трэвис. Ты славный парень и все такое. Но хватит с меня. Я иду домой.

Трэвис (перебивая). Вы хотите сказать, что не хотите в кино? (Пауза.) Здесь масса кинотеатров.

Бетси. У меня нет настроения. Просто мы очень разные люди, вот и все.

Трэвис (озадаченно). Как так?

Бетси. А так. Ты ступай своей дорогой, я пойду своей. Спасибо за все, Трэвис.

Трэвис. Но... Бетси...

Бетси. Я хочу взять такси.

Трэвис (следуя за ней). Пластинка.

Бетси. Возьми ее себе.

Трэвис. Можно мне позвонить вам?

Бетси ищет такси.

Трэвис (нежно). Пожалуйста, Бетси, ведь я купил ее для вас.

Бетси смотрит на его печальное доброе лицо и смягчается.

Бетси. Хорошо. Я возьму пластинку. Такси!

Трэвис пытается возразить, но слова его повисают в воздухе.

Трэвис. У меня же есть такси.

Бетси говорит водителю, куда ехать, бросает взгляд на Трэвиса. Машина быстро отъезжает.

Трэвис беспомощно оглядывается: несколько прохожих остановились на многолюдной улице понаблюдать за ссорой.

Дома у Трэвиса.

Он пишет за столом. Здесь несколько новых предметов: большая склянка с витаминами, пузырек с таблетками аспирина, пинта абрикосового коньяка, начатая буханка дешевого белого хлеба. На стене висят шуточный плакат, на котором написано «На днях я собираюсь организовать» и оранжево-черная бамперная наклейка, призывающая голосовать за Чарльза Палантайна.

Трэвис (голос за кадром). 8 мая 1972 года. В моей жизни произошел еще один поворот. Дни идут своим чередом...

На раскрытой тетради лежит карандаш. Чуть позже, оседлав стул с прямой спинкой, Трэвис смотрит телевизор. На коленях у него миска с молоком. Трэвис добавляет в молоко немного коньяка, макает сложенные пополам куски белого хлеба и ест. Он смотрит программу вечерних новостей. Доносятся голоса из телевизора — это Чарльз Палантайн отвечает на вопросы во время своей избирательной кампании.

Трэвис. ...Один день не отличишь от другого, длинная, бесконечная цепь, и вдруг — перемена.

Бетси идет вниз по улице где-то в средней части Манхэттена. Неожиданно перед ней возникает Трэвис. Он поджидал ее и пытается заговорить, но она не слушает его. Трэвис не сдаётся и следует за ней.

Трэвис (за кадром). Я несколько раз пытался звонить ей.

Мы слышим, как Трэвис разговаривает по телефону:

— Вы себя лучше чувствуете? Вы говорили, что чувствовали себя неважно...

Трэвис (за кадром). Но после первого звонка она перестала подходить к телефону.

Трэвис держит в руке трубку, на противоположном конце — гудки.

В комнате Трэвиса — увядающие букеты цветов. Все они были возвращены.

Трэвис (за кадром). Я и цветы посылал, но все напрасно. Не стоит об этом. Забыть бы все. Запах цветов только душу берedit. Головные боли усилились. Мне кажется, что у меня рак желудка. Вообще-то не надо ни на что жаловаться, чему быть — того не миновать.

Около полудня Трэвис, ослабевший от недостатка сна, с воспаленными глазами, входит в штаб предвыборной кампании.

Бетси стоит в дальнем конце помещения. Увидев Трэвиса, она пытается спрятаться.

На пути у Трэвиса возникает фигура Тома. Слов их не слышно.

Трэвис (за кадром). Теперь я понимаю, что она ничем не лучше других — холодная и далекая. Таких людей много. Особенно женщин. Они как сговорились.

Трэвис пытается пройти мимо Тома, говорит ему что-то резкое, они затевают потасовку. Том выше и сильнее. Он быстро справляется с Трэвисом, ведет его, все еще сопротивляющегося, к выходу, жестом подзывает первого попавшегося на глаза полицейского. Трэвис успокаивается и уходит.

Женские прелести и револьвер калибра 0.44

Трэвис вновь едет по ночному, ярко освещенному городу. На Парк авеню он останавливается, чтобы посадить пассажира. Тот устраивается на заднем сиденье.

Пассажир. Джексон Хайтс.

Трэвис не намерен ехать в Джексон Хайтс.

Трэвис. У меня смена кончилась.

Пассажир. Вы не хотите ехать в Джексон Хайтс? Я вас правильно понял?

Трэвис. Да. У меня кончилась смена.

Пассажир. Почему же тогда у вас не горит сигнал, что смена окончена.

Трэвис включает сигнал.

Трэвис. Он был включен. (Показывает на крышу.) Просто ему надо немного разогреться. Как телевизору.

Пассажир, ругнувшись про себя, вылезает. Такси уезжает.

Позже тем же вечером Трэвис останавливается, чтобы подобрать молодого человека лет 25, в кожаной спортивной куртке. Он оглядывает пассажира в зеркало.

Молодой пассажир. Западная сторона Центрального парка, 417.

Машина набирает скорость, приближается к четырехсотым номерам на западной стороне Центрального парка, Трэвис следит за номерами домов.

Молодой пассажир. Притормозите у тротуара на секундочку. Постоим здесь.

Трэвис ждет с безразличным видом. Слышно, как щелкает счетчик. После продолжительной паузы пассажир говорит:

— Шеф, видишь свет вот там на седьмом этаже, четвертое окно справа?

Трэвис (за кадром). Вижу.

В окне на седьмом этаже видно, как молодая женщина в комбинации проходит по комнате.

Молодой пассажир (за кадром). А женщину видишь?

Трэвис (за кадром). Вижу.

Молодой пассажир (за кадром). Это моя жена. Но квартира не моя. Там какой-то нигер живет. Она бросила меня две недели тому назад. Две недели мне потребовалось, чтобы ее отыскать. Я убью ее. Что ты об этом думаешь, шеф?

Лицо молодого пассажира — испитое, бледное, полное страха и злобы. Трэвис ничего не отвечает.

Молодой пассажир. Что ты об этом думаешь?

Трэвис пожимает плечами. Показывает на счетчик.

Молодой пассажир. Я убью ее из револьвера Магнум калибра 0.44. Ты когда-нибудь видел, шеф, что может сделать 44-й с женским лицом? Ты когда-нибудь видел, что он может сделать с бабской передницей? Я ей приставлю, шеф. Я ей вставлю, шеф. Ты, наверно, думаешь, что я больной. Извращенец какой-нибудь. Сидит тут, понимаешь, и болтает про передницу женскую и револьвер.

Трэвис отрешенно наблюдает за женщиной в окне седьмого этажа. У него тот же застывший взгляд, какой мы уже видели в порнокинотеатре.

Коммивояжер

День. Трэвис стоит на углу улицы в Бруклине. На нем сапоги, джинсы, ковбойка, армейская куртка. Из кармана он достает пузырек с таблетками аспирина, вытряхивает несколько на ладонь, отправляет в рот и жует.

Закончившее смену такси подкатывает к тротуару, и Трэвис садится в него. За рулем — Доллар.

Доллар. Привет, Трэвис. Познакомься — это Изи Энди. Коммивояжер.

На заднем сиденье сидит Энди, молодой человек привлекательной наружности лет 29-ти. На нем строгий костюм в полоску, белая рубашка и цветастый галстук.

Энди. Здравствуйте, Трэвис.

Трэвис кивает в ответ. Такси набирает скорость.

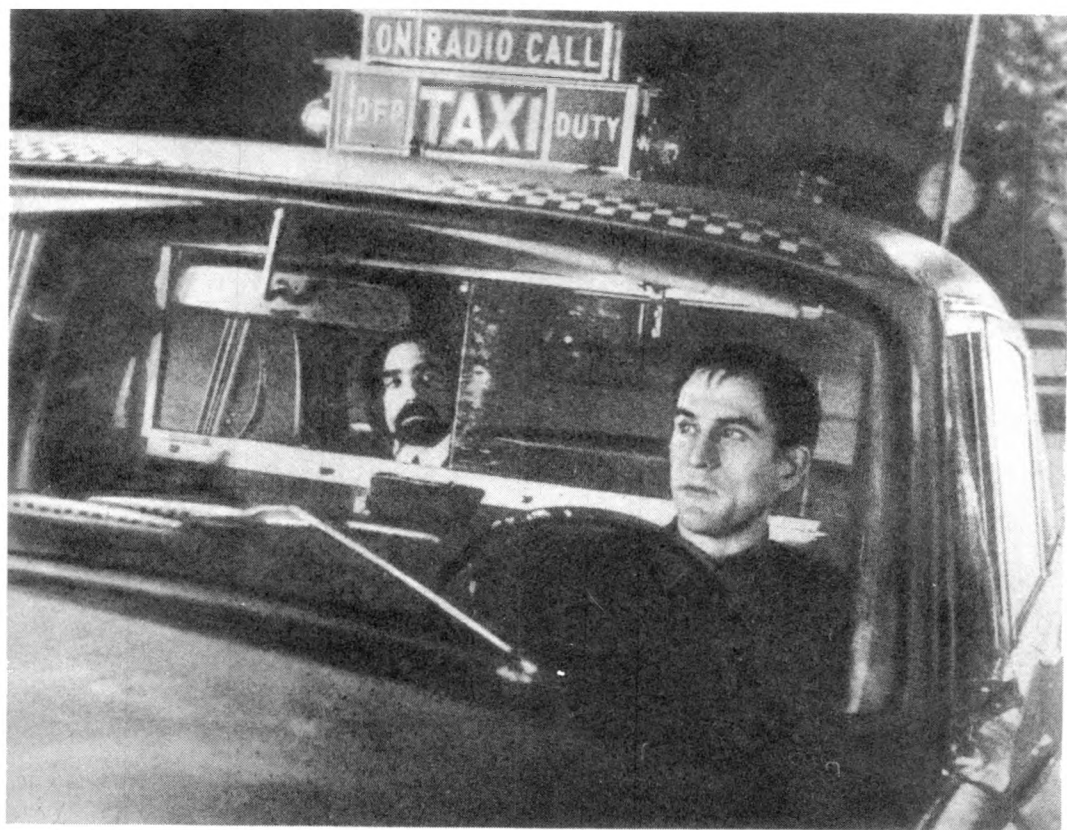
Доллар подруливает к дешевому отелю. **Энди.** Прекрасно, Доллар. (Трэвису.) Расплатитесь с Долларом здесь.

Трэвис достает из кармана 20 долларов и отдает их таксисту.

Трэвис. Пойдет?

Доллар (беря деньги). Вполне. Спасибо. Все отлично, Трэвис.

Трэвис и Энди направляются к отелю. Трэвис следует за Энди вверх по лестнице, покрытой изношенным ковром, потом они идут по коридору. Энди ключом открывает



пустую и чистую комнату. Непохоже, что здесь кто-то живет.

Энди запирает за собой дверь и извлекает из шкафа два серых очень прочных чемодана: по таким грузовик проедет, и им ничего.

Энди. Доллар, я думаю, говорил вам, что дерьмом я не торгую. Мой товар чистый, совершенно новый и отличного качества.

Энди кладет чемоданы на кровать, застеленную белым покрывалом. Чемоданы оборудованы специальными замками, которые Энди быстро открывает. В поролоновых ячейках рядами уложены новенькие пистолеты.

Трэвис. У вас есть Магнум калибра 0.44?

Энди. Это дорогое оружие.

Трэвис. Я готов заплатить.

Энди расстегивает чехол из бычьей кожи и достает из него Магнум калибра 0.44. Он бережно держит его в руках, как бесценное сокровище. Кладет длинный восьмидюймовый ствол себе на ладонь.

Энди (восхищаясь). Это чудовище. Может машину остановить — запросто пробьет блок цилиндров. Отличная штука. За все про все 350 долларов.

Будь Иззи Энди помоложе, его можно было бы принять за хорошенького мальчика из колледжа, который тараторит без умолку и постоянно провертывает какие-то делишки. В старших классах школы он, возможно, торговал лотерейными билетами, в колледже толкал наркотики, а сейчас — пистолеты.

Энди протягивает Магнум Трэвису. Трэвис взвешивает его на руке. На ладони револьвер смотрится неестественно. Он рассчитан на микеланджеловские масштабы. Ему пристало быть в руке мраморного бога, а не невзрачного таксиста. Трэвис возвращает пистолет.

Энди. Я мог бы сегодня же продать его в Гарлеме за 500 долларов. Но я продаю хорошие вещи хорошим людям. (Пауза.) Для практических нужд он великоват, и я мог бы порекомендовать вот этот Смит-Вессон калибра 0.38. Прекрасный никелированный пистолет, надежный в обращении. У него ствол покороче, а в остальном все то же самое, что и у боевого револьвера. Поражает любую движущуюся цель, очень удобный. Знаете, Магнум требуется, если надо размазать по стене. Тем не менее спрос



на него растет. Сейчас все хотят его иметь. Но Вессон 0.38 стоит всего 250 долларов, и вы никогда не пожалеете, если заплатите эти деньги. (Он взвешивает на руке Вессон.) Плюс кобура к нему за 10 долларов.

Трэвис пробует на вес никелированный Вессон, наводит его на окно.
Энди. Автоматическим оружием не интересуетесь?

Трэвис. Я хочу револьвер 0.32 калибра. И маленький пистолет. Вон тот, калибра 0.22.

Энди. Это кольт 0.25. Замечательный пистолетик. Много вреда не наделает, но быстрый, как черт. Очень удобный. Носить можно где угодно. Если все возьмете, отдам его за 125 долларов.

Трэвис держит револьвер калибра 0.32, пробует на вес, засовывает за ремень и прикрывает рубашкой. Поворачивается в разные стороны, проверяя, как пистолет сидит за поясом.

Трэвис. Сколько за все?

Энди. 0.32 — 150 долларов, и это очень хорошая цена, а все вместе это будет... 785 за четыре ствола и кобуру. Черт с ней, кобуру за так отдаю. Тогда 775 и по рукам. Помоему, вас это должно устроить.

Трэвис. А сколько стоит разрешение носить оружие?

Энди. Это дорого стоит. Пять тысяч, по крайней мере. Может быть, больше. И потребуется некоторое время на оформление. Я думаю, что по нынешним ценам пять тысяч это низкая цена. Видите ли, я стара-

юсь не иметь дела со всякой швалью. Слишком рискованно. Но уж если я достану разрешение, это будет надежно, как Эмпайр Стейт Билдинг.

Трэвис. Ладно, так сойдет.

Энди. Зачем вам разрешение? В такси и с разрешением нельзя иметь при себе оружие.

Трэвис. Тир здесь где-нибудь есть поблизости?

Энди. Конечно. Вот, возьмите карточку. Поезжайте по этому адресу, покажите там карточку, заплатите сколько надо, и никаких проблем.

Трэвис вынимает пачку новеньких столларовых банкнот и отсчитывает восемь купюр.

Энди. Вы из Вьетнама? Я сразу обратил внимание на вашу куртку.

Трэвис (поднимая на него глаза). Что?

Энди. Вьетнам? Я на куртке прочитал. Вы там были? И наверняка перепробовали много всякого оружия?

Трэвис протягивает деньги. Энди пересчитывает и возвращает 25 долларов сдачи.

Трэвис. Да. Я везде побывал. Из одного госпиталя в другой.

Энди (считая). Конечно, там, как в преисподней. Не война, а дерьмо сплошное, это точно. Но вот что я вам скажу: оружие

оттуда идет потрясающее. Рынок переполнен. Автоматических кольтов сколько угодно. (Прячет деньги.)

Трэвис (напряженно). Обрато меня туда никто не затащит. Пусть лучше расстреляют. (Пауза.) У вас не найдется во что положить? (Указывает на пистолеты.)

Энди. Конечно.

Из-под кровати Энди достает спортивную сумку, завертывает оружие в оказавшуюся там простыню, застегивает молнию на сумке, передает ее Трэвису. Еще одна такая же сумка высовывается из-под кровати.

Энди. За какую команду вы болеете?

Трэвис. Что?

Энди. Я мог бы вам устроить билеты в первых рядах или в центре. Как вам больше нравится? Могу достать билеты на любую команду: Метс, Янкиз, Никс, Рэинджерс. Хотите, будете сидеть в ложе мэра.

Трэвис. Нет. Я этим не интересуюсь.

(Энди запирает чемоданы.)

Энди. О'кей. Дело ваше.

(Трэвис поворачивается и собирается уходить.) Подождите секундочку. Я вас провожу.

Перевел с английского А. Н. Третьюхин

(Окончание в следующем номере)

А Н О Н С

В следующих номерах нашего журнала читайте:

«АННА КАРАМАЗОВ» — сценарий фильма Рустама Хамдамова

«РУССКАЯ» — сценарий Эдуарда Володарского

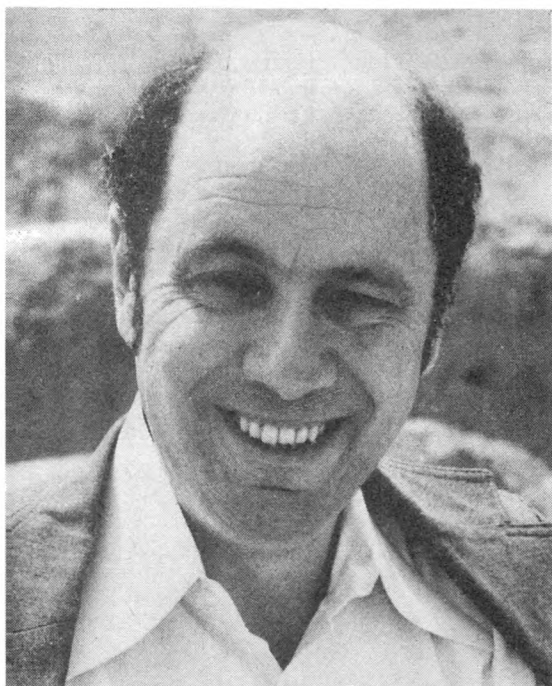
«АБРЕК» — сценарий Юрия Короткова

«ОТЧАЯННАЯ ИГРА» (The Crying Game) — Нейла Иордана
продолжение сценариев:

«ТАКСИСТ» — Пола Шредера, поставленный Мартином Скорсезе,

«ЮНЫЕ ГОДЫ ДАНТА» — Юрия Арабова.

Мы продолжаем печатать отрывки из книг-приложений к журналу «Кино-сценарии» — Александра Червинского **«КАК ХОРОШО ПРОДАТЬ ХОРОШИЙ СЦЕНАРИЙ»** и новой книги Григория Горина «Стоп, на сегодня хватит»; Под рубрикой «Из жизни звезд» мы публикуем материал о Лайзе Минелли.



АРКАДИЙ ИНИН

НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ! ИЛИ НОВЫЙ ПИГМАЛИОН

Любимый город спал спокойно. Спали улицы, спали дома, спали люди в домах.

Мужчина и женщина спали в постели. Хотя нет, спала только она, а он не спал, глядел в потолок. И, наконец, приняв какое-то решение, осторожно, чтобы не разбудить женщину, соскользнул с кровати, оделся и подошел к окну.

С третьего этажа был виден город, уже без снега, но в еще голых деревьях ранней весны. Он оглянулся на спящую, тихонько открыл окно, выбрался на пожарную лестницу и стал спускаться.

Лестница заканчивалась в двух метрах от земли. Он спрыгнул, попятился от ослепивших его фонарей милицейского наряда.

В отделении милиции молодая женщина с большими усталыми глазами и длинным унылым носом представилась задержанному:

— Дежурная по двенадцатому отделению лейтенант Бугрова.

— Очень приятно! — улыбнулся он. — А я Цветов...

— Ваши документы! — оборвала она. Он подал ей паспорт. Она бдительно сверила фотографию с его лицом, сказала коротко:

— Допустим.

— Почему «допустим»? Уверю вас, паспорт мой.

— Допустим, — повторила она. — А квартиры, из которой вы... явились, тоже ваша?

— Нет, квартира не моя. Но могла стать моей навеки. И чтобы этого избежать, я, как вы изящно выразились, и явился оттуда.

Она потеряла кончик своего длинного носа.

— Неясно.

— Проясняю. Я жил там с одной женщиной немало дней и ночей. А этой ночью вдруг понял, что если я останусь там еще, мне придется жениться.

— А вы не желаете жениться на ней?

— Не на ней. Я не желаю жениться ни на ком. И никогда.

— Почему?

— Нескромный вопрос. Но я отвечу. Потому что я убежденный холостяк!

В ее усталых глазах зажегся недобрый интерес.

— Допустим. А почему через окно?

— Потому что у двери спит собака хозяйки. Она меня не любит.

— Хозяйка?

— Нет, собака. А хозяйка, к сожалению, обожает.

— Я ее понимаю.

— Хозяюку? — улыбнулся он.

— Собаку! — отрубил она.

Он не обиделся, а, наоборот, улыбнулся еще шире.

— Послушайте, что у вас за характер? На фоне серых милицеских буден возник классический ведевил, почти по Гоголю — Подколесин сигает в окно... Так улыбнитесь же!

— Не вижу повода. А вы-то чему радуетесь?

— Как чему! — Он распахнул руки. — Свобода!

Она покосилась на решетку окна.

— Не понимаю.

— Вижу... А как вас зовут?

— Я представилась: лейтенант Бугрова.

— Да, но как по имени-отчеству?

— Допустим, Анна Петровна.

— А я — Александр Ильич. Друзья зовут меня просто Шурик.

— Ясно, что — Шурик! — презрительно заметила она.

— В каком смысле?

— В прямом. Шурики, Толики, Эдики — до седых волос... В деревне таких попрыгунчиков из окон дубиной учат.

— Мда-а, светский разговор у нас не получается, — вздохнул он и пригляделся к ней. — Знаете, во всем виноват ваш нос.

Она невольно прикрыла лицо ладонью.

— Что... нос?

— Он портит ваш характер. Вам нужен совсем другой нос.

Она резко встала.

— Хотите опять вылететь в окно!

Неизвестно, как он покинул отделение, но к себе домой Шурик вернулся через дверь, тихо прикрыл ее за собой, снял в прихожей ботинки и, не зажигая света, пошел на цыпочках в комнату. Но все же что-то зацепил в темноте, это что-то загрохотало, и сразу откликнулся женский голос:

— Что?.. Кто?.. Кто там?

— Это я, я, спи.

Зажегся свет, появилась заспанная женщина в халате.

— Шурик, что случилось?

— Ничего, мама, ничего...

Но сердце мамы уже все уловило, и мама схватилась за это сердце.

— Ох! Ты ушел от Лили!

— Ну, так возрадуйся возвращению блудного сына!

— Паяц! Что произошло? Как? Почему?

— Мамуля, я только что с допроса. Спать хочу — умираю!

— Ты умираешь? Нет, это мама умирает! О-о-о!

Она начала сползать по стене. Он подхватил ее.

— Умоляю, поживи до вечера! Тогда и поговорим, а сейчас дай поспать, мне скоро плестись на работу...

На работу Шурик не плелся, а ехал в «жигулях». Он неплохо смотрелся за рулем в фирменной куртке, кепочке и дымчатых очках.

У светофора «жигули» оказались между «москвичом» и «волгой», которые вели симпатичные молодые женщины. Обе невольно загляделись на Шурика. Он ухитрился улыбнуться обеим так, что каждая восприняла его улыбку как адресованную лично ей. В это утро ему явно везло на красоток: следующая нетерпеливо голосовала на углу. Он распахнул дверцу.

— Прошу, если нам в этой жизни по пути!

— Площадь Строителей.

— Вы читаете мои мысли!

И дальше они поехали вместе. Он что-то сострил, она рассмеялась, ответила ему что-то, что вызвало его смех. Так они доехали до площади. Она протянула деньги.

— Нет-нет, гонорар беру только телефончиками!

Она снова засмеялась и достала из сумочки визитку.

— О-о, Виктория! — прочел он. — Я вам позвоню под именем Шурик.

Она выпорхнула из машины. А он свернул в тихий переулок и остановился у особняка с вывеской «ПИГМАЛИОН».

...В дежурной комнате милиции Анна Петровна Бугрова потянулась, разминая затекшие бессонной ночью косточки, воткнула в розетку кипятильник и стала наблюдать пузырьки воды, механически теребя кончик своего длинного носа.

Отделение заполнялось сотрудниками. Милиционеры брали ключи от комнат, приветствуя «товарища лейтенанта» привычно и деловито, как коллегу по работе.

Последней ворвалась хорошенькая девушка с задорной челкой, срывая на бегу шапку, шарфик, плащ.

— Взбодрись кофейком, — улыбнулась Анна.

В дежурке появился капитан милиции — кудрявый и жизнерадостный, этакий первый парень на деревне.

— Кого я наблюдаю! Любочка! Гутен морген!

— Привет, привет, товарищ Конев!

— Что ж вы кофе всухомятку? Разрешите подсластить. Оп-ля! — Конев жестом фокусника извлек из кармана шоколадку.

— Мерси! — Любочка отломала половинку подруге. — Настала сладкая жизнь, Анюта! А вы, капитан, желаете кофе?

— Ага, желаю — в постель!

Конов заржал собственному остроумию. Любочка кокетливо передернула плечиком. Анна поморщилась, но налила кофе.

По громкой связи сообщили:

— Капитана Конева к начальнику отделения!

— Айн момент! Мою кофию — никому! — капитан потопал из комнаты.

— Шуточки у твоего Конева, — вздохнула Анна.

— Какой он мой? Мне уже этот конь — выше крыши!

— Ну ладно, допивай, а я к себе...

— Чокнутая! После ночного?

— А что делать — работа...

— И на дежурстве Зубова подменяла, да? На таких добрых воду возят!

— Ну, какую воду... Ночь была спокойная, один только... Шурик попался.

— Какой Шурик?

— Да попрыгунчик. Нос ему, видишь ли, мой не понравился!

— Нос! — хлопнула себя по лбу Любочка. — Ну, балда я, балда, третий день ношусь с этим носом — и забыла!.. А, вот! — Она выхватила из сумки газету. — Гляди, потрясно!

В газете были две фотографии: уродливый женский профиль с длинным носом и другой профиль — красавица с аккуратным носиком.

— Ри-но-плас-тика! Хочешь — новый нос, хочешь — уши, а хочешь — шикарнейший бюст тебе слепят! Вот телефон, адрес — фирма «Пигмалион»!

Любочка вручила подруге газету и умчалась. Анна ее читать не стала, а бросила газету на стол и набрала номер телефона.

— Школа? Будьте добры, директора... Это Бугрова, инспектор по делам несовершеннолетних.

Она ждала соединения. А с газеты на столе глядели два лица: уродливое и прекрасное, до и после операции.

Те же два лица и еще несколько таких же пар глядели с фотографий на стене кабинета ринопластики. Под фотографиями сидел Шурик... нет, сейчас, конечно — Александр Ильич, неузнаваемо отличающийся от уже знакомого нам легкомысленного веселого холостяка.

— Ну-ну, расслабьтесь, — говорил он нервно затаившей дыхание девушке с крупным мясистым носом.

Девушка выдохнула воздух и заговорила отчаянно:

— Александр Ильич, понимаете, его родители против! Из-за моей внешности...

А он любит меня, но я не могу, чтобы мы поженились, а они не пускали нас в дом... Понимаете?

— Понимаю, конечно, понимаю. Мы стараемся порадовать и вас и его родителей. Остался пустяк: выбрать носик.

Он открыл альбом с контурами разных носов.

— Ну, конечно, не любой, я все же не господь Бог... С вашей спинкой носа и вашей кожей возможен этот или этот...

— Я бы хотела этот, — указал женский палец.

Но принадлежал он уже другой женщине, сидевшей перед Александром Ильичом. В отличие от предыдущей, она говорила не взволнованно-сбивчиво, а отрешенно-спокойно.

— Впрочем, можно и какой-нибудь другой. Лишь бы не мой. Я устала. Это так мучительно — ходить на работу безлюдными переулками, избегать транспорта, где стоишь с людьми нос к носу. — Она улыбнулась невольному каламбуру, но улыбка вышла судорожной. — Знаете, я даже в кинозал вхожу, когда погасят свет!

— Ну-ну, считайте, что все уже позади. Главное, что вы это твердо решили...

Ответила Александру Ильичу уже другая женщина — горделивая грузинка с прекрасными черными глазами, но с ужасным горбатым носом. Она держала за руку юную девушку — с такими же очами, но и с таким же носом.

— Да, доктор, мы решили твердо! — сказала женщина.

И девушка робко кивнула.

— Но почему «мы»? Судя по вашему рассказу, у вас личная жизнь сложилась неплохо. Достаточно изменить внешность дочери...

— Нет, доктор, недостаточно! — возразила женщина.

И девушка тоже покачала головой.

— У нас так: жених к дочке придет, сразу на мать посмотрит. Вэй мэй, почему у мамы нос такой, а у дочки совсем другой? Или дочка оперированная, или совсем неродная — вот что он подумает!

— Не дай Бог! — улыбнулся Александр Ильич.

— Да, доктор, не дай Бог! — серьезно подтвердила грузинка. — Будем делать два носа — И Манане, и мне!

А потом в кабинет ворвался мужчина — лохматый и небритый.

— Шурик! Ты правда ушел от Лили?

— Так, — вздохнул Шурик, — русская народная сказка «Репка». Мама — за Раису, Раиса — за Матвея, Матвей — за меня...

— Но как ты ушел?!

— Мой знакомый режиссер, ветеран трех браков, причем всех счастливых, учил: «От женщины надо уходить так: взял авоську за хлебом — и не вернулся!»

— Но она ведь ждет, — удивился Матвей.

— Чего? — не понял Шурик.

— Хлеба, — объяснил Матвей.

Шурик посмотрел на него жалостливо, как на убогого.

— Ладно... А Раиса уже ищет мне новое семейное счастье?

— И правильно делает! Ты ведь уже не просто холостяк, ты скоро станешь старым холостяком!

— Холостяками не становятся, холостяками рождаются, — гордо заявил Шурик. — Холостяк — это призвание! Как поэт, музыкант, художник...

Монолог Шурика перебила заглянувшая медсестра:

— Александр Ильич, операционная готова.

— Иду, Рита. Что у нас нынче?

— Двое морщин и уши, — напомнил Матвей.

— Ну что ж, мой друг, врубай наркоз, навей им сны!

...А у инспектора по делам несовершеннолетних были свои заботы — девочки, лет по тринадцати, две хорошенькие, а одна лопоухая, с фингалом под глазом.

— Вам не стыдно? — вопрошала Анна Петровна. — Девочки — и вдруг драка!

— Мочалки с Гагаринской сами начали! — заверила лопоухая.

— Лиза! Неужели тебе нравится зваться мочалкой?

— Путаной, конечно, красивее! — мечтательно вздохнула хорошенькая.

— Нина!!! — ахнула Анна Петровна.

— Не, до путаны еще дорасти, — успокоила лопоухая Лиза. — А гагаринские пусть наших ббев не клеют!

— Ага, Дюк воше на ихних мочалок губы раскатал! — хихикнула вторая хорошенькая.

— Сергей Дюкин? — уточнила Анна Петровна.

— Ты Дюка не трогай! — закричала Лиза на хорошенькую.

— Ой-ей, да он сам Люську гагаринскую трогает!

Лиза вцепилась в волосы хорошенькой, та завизжала, вторая пришла ей на подмогу. Анна Петровна бросилась разнимать.

— Девочки, вы что! Прекратите, девочки! Нина, Валя, посидите за дверью! А ты, Лиза, останься.

Обе хорошенькие выскользнули из кабинета. Лиза, опережая вопросы, сказала сама:

— Анна Петровна, нам надо быть сильными!

— Кому это... нам?

— Нам с вами. Некрасивым женщинам.

— Что-о? — ошелолила Анна Петровна.

— Ну, у меня — лопухи! — Лиза оттопырила свои и без того оттопыренные уши. — У вас — рубильник! — Лиза указала на ее нос.

Анна Петровна с трудом сдержалась, обняла Лизу за плечи.

— Дурочка, что ты на себя наговариваешь? Ты юная и вполне симпатичная...

— А про себя, значит, согласны? — с детской жестокостью заметила Лиза. — Да нет, и меня не убалтывайте, обе мы с вами квазимордочки!

...Вечером мама Шурика стонала с мокрым полотенцем на голове.

— О-о, я умираю! Все, все, мама умирает!

— Успокойся, — Шурик пощупал ее пульс. — Сердце нормально.

— Что ты понимаешь в сердце — бессердечный! Боже мой, я верю, я надеюсь, я жду ребенка...

— Ты? Ребенка? — крайне удивился Шурик.

— Паяц! Ты прекрасно понимаешь, что я жду твоего ребенка, моего внука. А ты... Чего ты хочешь?

— Я хочу есть.

— Ах, это пожалуйста! — мама, сорвав с головы полотенце, принялась швырять на стол посуду. — Мама приготовит, мама накормит, мама подаст... Но учти, мама не будет жить вечно!

— Мамуля, перестань, лучше посиди со мной.

Шурик усадил маму и начал уплетать олады. Она с извечной материнской лаской следила, как сыночек ест.

— Ну хорошо, раньше я не вмешивалась, но теперь мама может сказать: эта Лиля мне тоже не нравилась! Какая жена из балерины? Но мне звонила Раечка...

— Какая Раечка? — мигом насторожился Шурик.

— Боже мой, он не знает жену своего друга!

— А-а! Раиса, — Шурик расслабился.

— Да, у Матвея день рождения, они приглашают тебя в ресторан. По-семейному, только свои: Матвей, Раечка, ее подруга Ольга, кандидат наук и, между прочим, одинокая...

Шурик оттолкнул чашку, расплескав чай. — Опять сватаете?! Я тебе сто раз твердил...

Мама снова набросила на голову полотенце.

— Все, Шурик, все! Мама умирает!

На проспекте у светофора тормозили машины. И в секунды их стоянки подлетали два пацана — чернявый раскосый и маленький тощенький — брызгали чем-то на стекла машин, протирали их и кланялись у водителей плату. Одни молча проезжали, другие посылали работников куда подальше, а кое-кто платил. Деньги пацаны сдавали сидящему у цветочного киоска старшему — рыжему красавчику.

Когда раскосый попытался заначить бумажку в носок, красавчик дал ему затрещину.

— Ну не буду, Дюк! — привычно заныл раскосый. — Честно, не буду!

У киоска остановились «жигули». Из машины вышел Шурик. Пошел покупать цветы.

— Рябчик, взять! — указал Дюк маленькому на «жигули».

Тот мигом спрыснул, протер стекла и застыл в ожидании возвращавшегося с цветами хозяина.

Шурик не мелочился, достал из кармана купюру.

— Держи для первоначального накопления капитала!

Но тут их обеих цепко ухватила за руки налетевшая коршуном Анна Петровна.

— Эт-то еще что такое? Что вам надо от ребенка?

— Это ребенку кое-что понадобилось от меня, — объяснил Шурик.

Анна Петровна узнала его, гневно прищурилась:

— А-а, Шурик?

— Какая встреча! — галантно поклонился Шурик.

— Ой, вы знакомы? — обрадовался Рябчик.

— Помолчи, Рябчиков! — Анна Петровна поймала краем глаза пятищихся за киоск красавчика и раскосого. — Дюкин, Рахимов, а вы куда? Будет разговор!

— Но я-то, надеюсь, свободен? — спросил Шурик.

Анна Петровна усмехнулась, глянув на цветы в его руке.

— Очередная жертва заждалась? Вот и бежали бы себе, а не приставали к детям.

— Мадам лейтенант, я вынужден повторить: ваш нос дурно влияет на ваш характер!

— Да что вам дался мой нос!

Ее неожиданно поддержал маленький Рябчик:

— А чего нос? Может, и уши мои не нравятся, козел?

Анна Петровна переключилась на мальчишку:

— Не смей грубить старшим!

— А чего он? — вопил Рябчик. — То нос ему не так, то уши!

— Про уши не было ни слова, — уточнил Шурик. — А нос действительно следовало бы подкорректировать.

— Слушай, ты... — потемнела лицом Анна Петровна.

— Я ж говорю: козел! — опять встрял Рябчик.

— Прекрати сейчас же! — одернула его Анна Петровна.

— Педагоги и воспитанники, — вздохнул Шурик, — разбирайтесь, пожалуйста, без меня.

Шурик, с цветами в одной руке и свертком в другой, позвонил у двери. Ему открыл старый друг Матвей в майке и кулонном фартуке.

— Поздравляю, желаю счастья в труде и успехов в личной жизни!

Шурик вручил ему сверток.

— Спасибо, спасибо, заходи...

Шурик вошел в прихожую, споткнулся о детский велосипед и упал бы, если бы Матвей не подхватил его. На грохот из комнаты выглянула женщина — вся голова в бигуди.

— Дорогую Раису поздравляю с именинником! — Шурик вручил ей цветы.

— Боже, Ольга ждет в семь! — Раиса, срывая с головы бигуди, закричала на Матвея:

— Ты собираешься в ресторан в майке?

— Можно подумать, ты уже в декольте!

В комнате восьмилетний Миша делал уроки, а трехлетнего Сеньку кормила с ложечки пухлая очкастая Ася двенадцати лет. Супруги пронеслись в спальню.

— Здравствуй, кормилица! — приветствовал Шурик Асю. — Как с продуктами питания?

— Пока хватает, — отвечала по-взрослому рассудительно Ася. — Но вообще надо было раньше думать. — Ася кивнула на спальню родителей. — Зачем нас столько нарожали!

Шурик слегка поперхнулся.

Супруги выскочили из спальни уже в вечерних нарядах.

— Ася, дай Сенечке лекарство, — напомнила Раиса.

— Если позвонит Опрятьев, пусть перезвонит утром, — приказал Матвей.

— Ну да, я еще и твоя секретарша! — поджала губы Ася.

— Тебе что, трудно сделать эту ерунду? — вскипел Матвей.

— Перестань кричать на ребенка! — возмутилась Раиса.

— Тихо! — Ася вдруг развернулась к телевизору.— Сейчас будет Ельцин!

— Ельцин? — ахнула Раиса.— А мы уходим...

— Старичок,— шепнул Шурик Матвею,— тебе не кажется, что все бабы с малолетства двинулись на этом Ельцине?

Чуткая Раиса уловила его шепот и объяснила:

— Он — мужчина! Настоящий мужик, не то что некоторые... Интересно, когда ты, наконец, порадуешь свою бедную маму?

— Вполне возможно, сегодня,— пообещал Шурик.— Кажется, меня ожидает волнующая встреча с престелной незнакомкой!

Незнакомка Ольга была хрупкой, миловидной и в очках, которые придавали ей выражение детской незащищенности. Она сидела рядом с Шуриком напротив Матвея с Раисой за столиком ресторана.

— И этот маленький бокал, но с большим чувством,— говорил Шурик,— я предлагаю выпить за именинника Матвея Анисимовича, за моего друга Мотю — хорошего человека, классного специалиста, верного мужа и заботливого отца!

Он первым опрокинул рюмку, за ним выпили остальные.

— А кто будет ухаживать за Ольгой? — игриво спросила Раиса.

— Ох, извините великодушно,— Шурик бухнул на тарелку Ольги черпак салата и набрал второй.

— Спасибо, спасибо,— остановила его Ольга.

— Кушайте на здоровье! Сам-то я после первой не закусываю.

— Да? — удивилась Раиса.— Между прочим, ты за рулем...

— А мы все за рулем. Причем — за одним!— Шурик снова налил.

— Ты не частишь? — усомнился Матвей.

— Первая рюмка — колом, а вторая — соколом!

— Что за фольклор? — поморщилась Раиса.

— Точно — народная мудрость! И мудрость народа гласит, что второй тост — за жену и мать, хранительницу семейного очага!

Шурик выпил и снова бухнул на тарелку Ольги салат.

— Спасибо, достаточно!— взмолилась она.

— А что, невкусно? — забеспокоился Шурик, ковырнул вилкой салат, попробовал и сплюнул.— Действительно, гадость! И снова начал наливать.

— Это он перед Ольгой выступает,— догадался Матвей.

— Что вы, что вы, при чем здесь я? — засмушалась Ольга.

Но Раиса обрадовалась догадке Матвея.

— Точно, Олечка! Эти холостяки только видят хорошенькую женщину — сразу в дрожь! А так-то наш Шурик прелесть — не курит, практически не пьет, большой хохмач и, как и ты, кандидат наук.

Шурик под шумок опять наполнял рюмки, приговаривая:

— Что другу нальешь, то и сам выпьешь!

— Слушай, акын!— рассердилась Раиса.— Еще одна присказка...

Ее заглушил оркестр, грянувший лихой шлягер.

— О, музыка!— обрадовалась Раиса.— Давайте потанцуем?

— Конечно, потанцуем,— Шурик вскочил и церемонно поклонился Матвею.— Мотя, я тебя приглашаю!

Ольга обомлела. Раиса опять спасла положение:

— Ха-ха, я же говорила, что он хохмач! Ну, пошли все!

Матвей с Раисой чинно топтались. А Шурик, прижав к себе оцепеневшую Ольгу, шептал ей в ухо с пьяной страстью:

— Я признаюсь вам, как близкому человеку: я два раза завязывал, я трижды зашивал... ну, знаете, торпеду... и трижды взрывался на этой торпедо! Ольга, вас мне послал всевышний!

— Ну что вы говорите? — рвалась из его объятий Ольга.

— Я знаю, что говорю! Это они,— Шурик мотнул головой на Матвея с Раисой,— они думают, что привели вас... А я знаю: вас мне послали небеса! Вы спасете, вы вырвете меня из лап позорного недуга!— Он еще теснее прижал к себе Ольгу.

Ольга в объятиях Шурика беспомощно пищала:

— Пустите, я прошу... Ну, пустите, люди же...

— А пусть все люди знают: вы моя спасительница! Положившая свою молодость и красоту на алтарь борьбы за несчастного алкоголика! И вам воздастся тогда, когда...

Когда ей воздастся, он сообщить не успел — музыка кончилась, и все начали расходиться. Шурик не столько вел Ольгу под руку, сколько висел на ее руке. Раиса дернула Матвея.

— Пойдем позвоним, как Сенечка? А вы тут поворкуйте...

— Не надо!— слабо вскрикнула Ольга.

— Надо!— твердо оборвал Шурик.— Мы обязательно поворкуем!

Раиса утащила Матвея из зала. Шурик поднял рюмку.

— Этот маленький бокал... фужер... ну, в общем, сосуд, с большим чувством я поднимаю за вас, которая примет крест великомученицы...

— Ой, нет, извините, я не могу!— Ольга судорожно мяла свою сумочку.— Мне пора, мама уже волнуется...

— Мама? Мамулечка! Как порядочный человек, я обязан познакомиться с вашей мамой... мамой вашей...

Шурик попробовал встать, но упал лицом в тарелку. Ольга в ужасе уставилась на него, беспомощно огляделась и убежала.

Шурик, лежа щекой в тарелке, наблюдал одним глазом, как она, спотыкаясь, сбегала по лестнице.

А по другой лестнице возвращались Раиса и Матвей.

Шурик быстро прикрыл глаз.

— Что с тобой? — затормошила его Раиса.— Тебе плохо? А где Ольга?

— Ольга? — тоже огляделся Шурик.— А кто это, Ольга?

Раиса наконец поняла все.

— Ах ты, клоун! Ах, шут гороховый!

Шурик улыбнулся обезоруживающей улыбкой и сказал абсолютно трезвым голосом:

— Ну не хочу я жениться. Ребята, честно, не хочу!

Дома уже стонала мама с мокрым полотенцем на голове.

— Умираешь? — поинтересовался вошедший Шурик.

— Да, мама умирает! Зачем ты устроил этот балаган?!

Шурик вздохнул, присел рядом, взял ее руки в свои.

— Мама, помнишь, я хотел жениться на третьем курсе?

— Ха-ха, чудный брак малолеток: жених с третьего курса, невеста с первого!

— А Люду Ступину помнишь?

— Эту сельскую красавицу? Ей нужна была наша прописка!

— Не думаю. А Тамара?

— Боже мой, мать-одиночка! А ты блестящий аспирант, великолепное будущее, ты не мог повесить на шею чужой хомут!

— Мог, мама, мог... Но ты не могла позволить своему принцу кого-нибудь рангом ниже принцессы.

— Ясно! Во всем виновата мама!

— Ты не виновата, наоборот, я благодарен, что ты удержала меня, слава Богу...

Мама вдруг всхлипнула.

— Нет, я виновата! Да, ты был моим

принцем, маленьким принцем, самым лучшим на свете, и я хотела тебе самого большого на свете счастья! Но я только все портила, да, все я — глупая, старая...

— Мамуля, перестань, ну что ты выдумываешь!

Шурик утирал ее слезы, гладил ее руки, и мама утихала, только еще прерывисто всхлипывала.

— Ну все, все, успокойся, все будет хорошо...

Мама решительно вытерла остатки слез и сказала:

— Да, мой мальчик, все будет хорошо. Есть одна женщина — Инга, стоматолог.

Шурик уселся на пол и дико захохотал.

Анна Петровна в кабинете поила чаем с леденцами чумазое дитя.

— Ты пей, пей... И давай вспоминать, когда ты вышел из дома?

— Когда дядя Коля пришел, а мама сказала: «Пойди погуляй!» Она всегда так говорит, когда приходит дядя Коля. Или дядя Леня.

Анна Петровна, закусив губу, обняла его крепче.

— Значит, ты вышел из дома... А куда?

— Во двор. А там бегала кошка, и я побежал за ней, а она в дырку заборную, и я в дырку, а там улица, и трамвай звенит-звенит! Я залез в трамвай, а он поехал, и я поехал, а потом испугался и заплакал... И тогда дядя милиционер привел меня к вам.

— И хорошо, что привел. Мы сейчас вместе все вспомним. На какой улице ты живешь?

— Не знаю...

— Может, знаешь номер дома? Номер квартиры?

— Не знаю... А я зато сказку знаю!

— Очень хорошо, какую сказку?

— Бабушка, а бабушка, почему у тебя такой большой нос?! — выпалило дитя.

Анна Петровна невольно прикрыла ладонью свое лицо.

Потом она спускалась в подвал, сопровождаемая возмущенным ветераном — весь пиджак в орденских планках.

В замусоренном подвале несколько подростков «качались» с помощью гирь и самодельной штанги с разнокалиберными блинами.

— Вот! — ткнул перстом ветеран.— Эти люберы — будущие рэкетеры!

— Люберы — из Люберец, под Москвой,— пояснила Анна Петровна.— А это ре-

бьята из третьей школы, — она огляделась. — Да-а, тут нужна метла...

— Вот-вот! — подхватил ветеран. — Надо гнать их поганой метлой!

— Зачем гнать? Подмести надо, помыть, чтобы дышалось...

— Что-о? — вскипел ветеран. — Вы покаете этим рэкетирам?

— Да сами вы рэкетир жэковский! — не выдержал один из крепышей. — Хотите наш подвал фирме сдать за валюту!

— Сопляк! Бандит! — завизжал ветеран. — А вы сообщница бандитов! — Он кинулся из подвала. — Я этого так не оставлю!

А уже под вечер, когда она сидела в кабинете, устало потирая ладонями виски, появилась маленькая бабуля.

— Помоги, милая, Христом Богом молю, помоги! Мне люди так и сказали: ежели Анна Петровна не поможет, то уж никто...

— Погодите, присядьте. Какая вам нужна помощь?

— Да не мне — внучке Катьке! Проверь ты ее, Христа ради!

— А что с ней?

— Да с ней — пятнадцать лет! Вчера соседскую банку селедки слопала. Всю! Родители-ироды в Африку подались, денюгу негритянскую зашибают, а Катьку на меня кинули! А я ж разве одна услужу? Ты проверь ее, проверь, а то цельную банку селедки...

— Бабуля, вы как-то заикнулись, вам что, селедку жалко?

— Мне Катьку жалко! Девку ж на солоное тянет! Проверь ты ее, ради Господа нашего!

...Александр Ильич в сопровождении медсестры Риты вошел в палату. К нему повернулись женские лица с разными — в зависимости от операции — повязками: на носу, на шее, на всей голове.

— Здравствуйте, красавицы! — приветствовал он их.

«Красавицы» отвечали наперебой:

— Здравствуйте, Александр Ильич!

— Когда мне снимут повязку?

— А мне, а мне?

— Спокойно, красавицы! Всех отпущу к вашему славному женскому дню. А сегодня — Марина.

Высокая женщина взволнованно шагнула вперед. Рита сняла повязку, и настал непередаваемо волнующий момент: женщина с еще сильно припухшими после операции глазами, еще не причесанная, еще в серой больничной хламиде, но уже обволеннная, трепетно вглядывалась в зеркало. И все тоже вглядывались, затаив дыхание. Наконец, Марина проговорила, глотая ком в горле:

— Кажется... хорошо...

И тишина палаты взорвалась криками восторга. Женщины обнимали, целовали Марину, она трепыхалась в их руках и по щеке ее текли счастливые слезы.

— Шурик, ты — волшебник! — шепнула Рита.

— Если б я был волшебником, — отшептал он, — твой телефон ответил бы вчера ночью.

— Ой, я уезжала к маме! Но сегодня, Шурик, сегодня я... — Рита не договорила, в палату заглянул Матвей.

— Александр Ильич, привезла «Скорая». Я уже зарядил анестезию.

— Кто?

— Монтажник-высотник.

— Производственная травма?

— Да нет, жена в порыве ревности откусила монтажнику полноса!

В городе ликовала солнечная весна в радуге алых гвоздик, желтой мимозы, розовых роз и прочих цветов на всех углах. И хотя цветов было много, толчея вокруг них была еще бóльшая: надвигалось 8 Марта.

Анна Петровна тоже купила букетик. Но на пороге отделения она спрятала букетик в сумку.

В милиции коллеги приветствовали Анну Петровну привычным «товарищ лейтенант», козыряя ей или по-мужски пожимая руку.

В комнате паспортистки Любочки в вазах и банках стояли букеты и букетики, а на столе лежали шоколадки и апельсины.

— Привет, с наступающим!

— И тебя с ним же!

Подруги расцеловались. Любочка вручила Анне шоколадку.

В комнату явился капитан Конев с метелкой мимозы.

— Любочка! Поздравляю с женским и девичьим днем!

— Спасибо за внимание! — Паспортистка приняла цветы и напомнила: — Но почему только Любочка? А Анечка?

Конев напрягся, пытаясь постичь ее мысль, наконец, постиг и заржал:

— Ну я даю! Виноват, и вас, конечно, с праздником, товарищ лейтенант!

— Большое спасибо, товарищ капитан. Любочка, я пошла...

— Стоп! — вспомнил Конев. — У меня к вам просьба, лейтенант. Губин заболел, так меня на дежурство бросили, а с другой стороны, женский пол ждет меня нынче на вечеру с шутками юмора. Так может, вы за меня отдежурите, а я потом...

— Додумались! — возмутилась Любочка. — Завтра Женский день!

— Ну,— опять не понял ее мысль Конев. Слушать все это было невыносимо, и Анна быстро сказала:

— Нет-нет, все нормально, мне отчет писать, я на дежурстве все спокойно и сделаю.— И выскочила из комнаты.

В коридоре она услышала за дверью крик Любочки:

— У тебя хоть что-то под кудрями в башке варит?

— Так мы ж с тобой на вечер собрались, я ламбаду разучил...

— Ламбаду! Она, между прочим, тоже на вечер собралась!

— Кто? Эта Буратина?

Конев привычно заржал собственному остроумию.

Анна оттолкнулась спиной от стены и медленно, на ватных ногах, пошла по коридору. В кабинете она достала из сумочки купленные подснежники, налила воду в стакан, поставила в него цветы и начала выкладывать из ящика стола папки — одну, вторую... А под третьей папкой лежала знакомая газета: одно и то же лицо — до и после ринопластики.

Анна уставилась на фото долгим взглядом, очень долгим, бесконечно долгим. Потом вскочила, выбежала из своей комнаты...

...и влетела в комнату паспортистки. Любочка с Коневым чему-то дружно смеялись. При появлении Анны они оборвали смех.

— Извините, товарищ капитан!— сказала она.— Я не смогу подежурить за вас. У меня очень важное... жизненно важное дело!

Анна быстро шла по весенней улице. Ехала в переполненном троллейбусе.

Опять шла по проспекту, свернула в тихий переулочек и, наконец, оказалась перед особняком со знакомой надписью «ПИГМАЛИОН». Глубоко вдохнув, как пловец перед нырком, она решительно толкнула дверь, вошла и направилась к регистратуре.

— Мне бы... ну, я бы хотела узнать... Старушка-регистраторша глянула на ее нос и сказала:

— Пожалуйста, второй этаж, седьмой кабинет.

Анна поднялась по лестнице, подошла к двери с цифрой «7»... а оттуда вышел Шурик. И оба застыли во взаимном изумлении.

— Здравствуйте!— первым опомнился Шурик.

— Вы что, следите за мной? — не нашла ничего умнее Анна.

— Что вы, следить — это ваша профессия.

— Нет, у меня профессия другая!

Анна отвернулась от него и постучала в дверь кабинета.

— Можно?

— Да-да, входите,— откликнулся за ее спиной Шурик.

Анна яростно обернулась.

— Помолчите, вас не спрашивают!

— А кого же вы, интересно, спрашиваете?

— Я спрашиваю доктора!

— Доктор вам и отвечает.

Он распахнул дверь и буквально втолкнул Анну в кабинет. Она растерянно уставилась на фотографии лиц — до и после операции — на стенах, а он сел за стол и указал ей на кресло:

— Прошу, присядьте.

Она уставилась на него прокурорским взором.

— А почему вы не в медицинской форме?

— Ньюансы психологии,— улыбнулся он.— Врачебный халат настраивает на болезнь. А ко мне приходят не больные, а люди с житейской бедой. Вот, скажем, вы...

— Нет у меня никакой беды! Лучше о своих бедах подумайте! Шурик!

Она выскочила из кабинета, хлопнув дверью.

На улице все так же сияла весна. Навстречу Анне шли женщины — как назло, сплошные красотки, с легкой походкой, уверенные в себе. Молодой человек купил девушке гвоздики, она улыбнулась ему, и они пошли рядом — красивые, счастливые.

Анна остановилась, глядя им вслед. И побежала обратно.

Бегом влетела она в клинику, бегом взлетела по лестнице, ворвалась в кабинет, плюхнулась в кресло перед опешившим Шуриком и жалобно сказала:

— Ну, беда у меня... Ой, конечно, беда... Помогите, доктор!

И вот уже Анна лежала на операционном столе. Александр Ильич, в халате и шапочке, ободряюще улыбнулся:

— Ну-с, приступим к сказке...

— Как это? — облизнула пересохшие губы Анна.

— Уснете Золушкой, проснетесь принцессой!— И он приступил к делу, подавая короткие команды:

— Молоток!.. Долото!.. Рашпиль!..

Да, неземное волшебство преобразования человеческой природы вершилось самым что ни на есть земными инструментами: молот-

ком, долотом, сверлом, рашпилем, иглой... И трудно сказать, на кого был сейчас больше похож Александр Ильич — на тончайшего хирурга или на обычного мастерового.

Дома, распахнув дверь, Шурик объявил с порога:

— Мама! Есть хочу — умираю!

Вместо мамы из кухни вышла красивая крупная женщина.

— Мамочка высочила в магазин. Давайте знакомиться. Я — Инга.

— Инга... Инга, — пробормотал он и вспомнил: — Стоматолог?

— Я вас именно таким себе и представляла. Ну, раздевайтесь, проходите...

Невольню подчиняясь, словно она, а не он был хозяином этого дома, Шурик сбросил плащ и тщательно вытер ботинки о коврик у дверей. А Инга продолжала командовать:

— Мужчину надо первым делом накормить! Мамочка дала мне рецепт ваших любимых оладушек, я только добавила немножко корицы. А ну, попробуйте! Я с волнением жду...

Но Шурик не сел к столу.

— Нет, что же так — на сухую... Мама пошла за водкой?

— Почему... за водкой? — сбилась с уверенного тона Инга.

Шурик заговорил быстро, озираясь на дверь:

— Я вам расскажу. Я благодарен маме, что вы вошли... то есть войдете, если рискнете, в мою жизнь. Я надеюсь на вас, потому что одному мне с этим не справиться! Я — алкоголик! Конечно, я боролся, я перепробовал все, но... Нет, я не теряю надежду, но я не мог не сказать вам этого.

— Правильно, Александр! — перебила Инга. — Спасибо, что вы откровенны. То, что вы рассказали, конечно, ужасно!

— Вот видите, — с трудом скрыл радость Шурик.

— Вижу. Но вместе мы справимся с бедой!

— Вместе? — упавшим голосом переспросил он.

— Да, только вместе! — Она схватила его руки. — Есть один экстрасенс, между прочим, сам бывший алкоголик, но теперь он творит чудеса... Ждите! — Инга круто развернулась и ушла из квартиры.

Мамы дома не было. Шурик плюхнулся на диван и закрыл глаза, наслаждаясь одиночеством и покоем.

Однако и то, и другое было нарушено звонком телефона. Шурик не реагировал,

— Это я! — радостно сообщила женщина. — Узнаешь?

— Что за вопрос, — дипломатично ответил Шурик.

— Хитрый Шурик! А кто клялся в Сочи: твой голос, Ирочка, забыть невозможно!

— А я и не забыл. Я просто думаю: Ирка звонит из Сочи, а звонок не междугородний?

— Я не в Сочи, я здесь, «Турист», номер сто два.

— Лечу к тебе! Но только завтра.

Шурик снова лег, успокоенно прикрыл глаза. Но покоя не было: опять телефон.

— Алло, Александр, это Инга! Я еду к вам с кудесником.

— Уже?!

— А чего откладывать? Александр, будьте мужчиной!

Шурик швырнул трубку на рычаг и зашагал из угла в угол, напряженно размышляя. Его размышления прервал новый звонок — междугородний.

— Квартира Цветовых, — пропищал Шурик женским голосом.

— Мария Павловна, дорогая! — пророкотал роскошный бас. — Как поживаете?

— Гоша! — заорал Шурик собственным голосом.

— Что за шутки? А-а, понял, прячешься от баб.

— Гоша, ты умница, нет, ты — мудрец! Как ты догадался позвонить?

— Я не догадался, я почувствовал. А что?

— Ты можешь меня принять?

— Уже драю палубу.

Шурик бросил трубку, стащил с антресолей сумку и начал бросать в нее шмотки.

В комнату вошла мама с двумя авоськами.

— Что ты делаешь?

— Улетаю в Астрахань.

— Срочная операция?

— Очень срочная. Гоша упал с мачты и сломал нос!

Красавец Гоша с орлиным носом, в си-ней форме капитана, прижал Шурика к своей груди на трапе стоящего в речном порту белого теплохода.

И пошли-полетели сладкие дни.

Шурик нежился под солнцем в шезлонге на палубе...

а вечером плясал в музыкальном салоне с брюнеткой...

и ловил спиннингом рыбу прямо с борта теплохода...

а вечером плясал с блондинкой...

и кувырчался в волнах на «зеленой стоянке» у берега...

а вечером плясал с шатенкой...

Этот танец плавно перешел в ужин с вином при свечах в баре.

Ужин так же плавно перешел в ночь любви в каюте, с разметающимися по подушке длинными волосами шатенки.

А ночь, естественно, сменилась утром. Шатенка еще спала. Шурик выскользнул из койки, раздвинул занавески. За окном каюты открылся водный простор. По нему к теплоходу скользила рыбацкая лодка. За веслами сидел какой-то мужик. А на носу стояла... Инга-стоматолог.

Шурик подхватил сумку и выпрыгнул в окно каюты.

В аэропорту Шурик взял на стоянке свою машину и выехал на шоссе.

За прошедшие две недели весна в городе окончательно победила, сияло солнце, на обочине зеленела трава, почки на деревьях выпускали нетерпеливые ростки. И подобно им, женщины, сбросив зимние одежды, пусть еще не по-летнему, но все-таки уже обнажили шейки, ручки, ножки и были чертовски привлекательны.

Одна из этих прелестниц голосовала на тротуаре.

Шурик распахнул дверцу со стандартным текстом:

— Прошу, если нам в этой жизни по пути!

Девушка впорхнула в машину, спросила:

— Подвезите на Садовую, мне очень...

Она осеклась. Он уставился на нее. И оба выдохнули:

— Это вы?!

Да, это была она — Анна Петровна, с новым точным носиком, превратившим ее в красавицу. Шурик восхищенно улыбнулся, не находя слов. Зато она нашла слова — сухие, без улыбки:

— В клинике мне сказали, что вы еще в отпуске. Ну, наконец-то... Верните мне мой нос!

Шурик тоже перестал улыбаться. Внимательно посмотрел на Анну и молча тронул машину. Она заволновалась:

— Вы слышали, что я сказала? Куда мы едем?

— Куда вы просили — на Садовую. А вас я слышал. Что, многое изменилось в вашей жизни?

— Все изменилось, буквально все! Мне почему-то перестали доверять ребята. Раньше мы как-то находили взаимопонимание, а теперь...

— Наверное, помогало нечто общее: ваша некрасивость, их исковерканные судьбы.

— Допустим. А в отделении? Я чувствовала себя нормальным сотрудником, товарищем по работе, а теперь...

— Пристают? — догадался он.

— Ну вам-то это понятно! — презрительно заметила она.

— Конечно. Такой шедевр мне удастся впервые.

— Удалось — и спасибо! А теперь верните мне нос!

Шурик улыбнулся и покачал головой.

— Ко мне дважды обращались с такой просьбой. Первая — киноактриса. Она стала красивой, но ее перестали снимать — потеряла индивидуальность. Второй был футболист...

— Ему тоже не дали играть?

— Нет, сам не смог. Его коронный удар — головой, а он подсознательно боялся повредить свой новый профиль.

— Вы им вернули носы?

— Нет.

— А мне вернете! Не хотите добром, я пойду к вашему руководству, вас заставят восстановить справедливость!

— Да, видимо, я ошибся, — вздохнул Шурик.

— И обязаны исправить свою ошибку!

— Я ошибся в другом. Новый нос не улучшил ваш характер.

— Остановите машину!

— Но еще не Садовая...

— Остановите, вам сказано!

Он затормозил. Она выскочила, хлопнув дверцей, и пошла — гневная, стройная, красивая.

Шурик задумчиво смотрел ей вслед.

И снова было рабочее утро в отделении милиции. Но все изменилось: хотя Анна была в форме, отношение к ней стало уже не формальное. При ее появлении на лицах коллег будничная серьезность сменялась приветливой и порой игривой улыбкой, никто больше не пожимал ей по-мужски руку, а на смену деловитому обращению «товарищ лейтенант» пришло «Анна», «Аня» и даже «Анечка». И ей не оставалось ничего другого, как отвечать улыбкой на улыбки.

Но у двери кабинета ее поджидала мрачная «мочалка» Лиза со свежим фингалом.

— Ну, здравствуй, заходи.

Они вошли в кабинет. Анна Петровна села за стол, Лиза стояла, уставившись в пол на выщербленный паркет.

— Опять драка? Ты же мне обещала, нет, даже клялась!

Лиза молча водила носком туфли по паркетинам.

— Зачем ты порвала куртку Нине, исцарапала Галю? Я не понимаю, в конце концов, вы же из одной команды!

Лиза упорно смотрела в пол.

— Молчишь? А я и так знаю: это из-за Дюка... Сережи Дюкина. Ну нельзя же так, между прочим, мальчики любят гордых, независимых.

Лиза, наконец, подняла глаза и уставилась на нее в упор.

— Нет, они любят красивых!

Анна Петровна несколько смешалась, встала из-за стола, усадила Лизу рядом с собой.

— Что ты выдумываешь, Лиза? Все гораздо сложнее...

Девчонка резко отстранилась от нее:

— Вам легко говорить! Вы теперь красивая!

— Ты тоже вырастешь красивой.

— Как Чебурашка!— криво усмехнулась Лиза и вдруг взмолилась: — Анна Петровна, миленькая, отведите меня к нему!

— К Дюку? — не поняла Анна Петровна.

— Нет, к доктору! Пусть он отрежет мои уши!

От неожиданности Анна Петровна рассмееялась, и это было ошибкой — девчонка пулей вылетела из кабинета.

— Поймай, ты куда...

Анна Петровна метнулась за Лизой. Но в кабинет вошел жизнерадостный капитан Колев. Отработанным жестом извлек из кармана шоколадку.

— Оп-ля! Это — сладкая жизнь в России! А это...— он вручил ей голубую бумажку, — это шикарная жизнь за рубежами нашей Родины! Шведская кинонеделя — секс на грани искусства!

Он привычно заржал своему остроумию. Анна вернула билеты.

— Вы ошиблись, Виктор Иванович, это — для Любочки.

— Какая Любочка? Первый раз слышу! Анна смерила взглядом наглуую улыбающуюся рожу.

— Шли бы вы отсюда подальше, товарищ капитан!

Он застыл, потрясенный. Потом сказал с растяжкой:

— Обижа-ешь, лейтенант! Гляди, не пожал-лей...

И удалился — оскорбленный, но гордый. В кабинет ворвалась Любочка.

— Зачем он к тебе приходил?

— Он просто дурак.

— Не-ет, он не дурак! Он ни одной смазливой бабы не упустил. Теперь вот еще ты... красотка переделанная!

Анна с трудом сдержалась, сказала мягко:

— Ты же говорила, что тебе до фонаря этот конь кудрявый!

— Конь-то он конь, да мой! Поняла, мой! И не ползай мне на пути, змея подколдная, растопчу!

В своем кабинете Александр Ильич смотрел на две фотографии: Анна до и после операции. Смотрел долго, пристально, словно не мог поверить в результат дела собственных рук..

В дверь просунулась голова в вязаной шапочке.

— Можно? — спросила девчонка Лиза.

— Можно,— кивнул Александр Ильич.— Но нужно ли?

— Очень!— Она вошла, сорвала шапку.— Вот, глядите!

— Ну, гляжу... А на что, собственно, я гляжу!

— На эти лопухи!— Лиза шлепнула себя по ушам.— Сделайте с ними что-нибудь, ну сделайте!

— А почему ты решила, что я могу что-то сделать?

— Вы ж ей сделали нос!

— Кому ей?

— Анне Петровне. Милиционерше.

— Что-о? Это она тебя прислала?

— Как же, она пришлет! Сама так нос сделала, а другие пусть живут уродинами... — Сядь!— оборвал Александр Ильич.

Она села. Он изучил ее уши, помял, погнул.

— Патологии у тебя нет. И вообще мы не оперируем детей.

— Детей!— фыркнула Лиза.

— Да-да, милая, ты еще дитя. Хотя не слишком воспитанное. Но верю, что под мудрым руководством Анны Петровны ты воспитаешься, подрастешь...

— Уши тоже подрастут!

— Нет, станут соразмернее. И учти, уши это не нос, достаточно подобрать прическу...

— Чего вы мне поете! Скажите прямо: сделаете или нет?

— Или нет. Потому что...

Не слушая дальнейших объяснений, Лиза сообщила:

— А если не сделаете, я вашу больницу подожгу!

И спокойно покинула кабинет.

С работы Шурик сжал задумчивый.

И приехал в отделение милиции.

Вошел, направился к дежурному.

— Добрый вечер! Как бы найти лейтенанта Бугрову?

— Я вас слушаю,— Анна спускалась по лестнице.

— Здравствуй! Я к вам...

— Я поняла. Рабочий день окончен, но если очень нужно...

Она указала ему на выход. Он покинул отделение, она вышла следом.

— Я вас слушаю.

— Ваша подопечная просила меня переделать ей уши.

— Лиза?!— ахнула Анна, и от ее холодного безразличия не осталось и следа.— Вот дурочка! Вбила себе в голову... А вы?

— А я отказал. Еще рано. Да и не к чему.

— Вы все-таки кое-что соображаете.

— Спасибо, оценили,— усмехнулся Шурик.— Но за отказ она обещала поджечь нашу клинику.

— Это она вполне может!

— Спасибо, успокоили,— снова усмехнулся Шурик.— Ваша школа?

— Очень остроумно! Да вы знаете, как живут эти дети? Коммуналки, пьянь, безотцовщина... А-а, вам не понять!

— Почему же? Отец утонул, когда мне было два года.

— Извините...— Она растерялась и от растерянности ударилась в агрессивность:— Значит, вы единственный сыночек у мамочки? Все ясно!

— Да, единственный. А что плохого в том, что мама сохранила верность одному человеку на всю жизнь?

— Извините...— совсем смешалась она.— Я что-то не то... Да и вы сегодня какой-то... не такой.

— Сам удивляюсь,— признался он.

Они неловко помолчали. Он спросил:

— Повернитесь-ка в профиль.

— Зачем?

— Посмотрю, по вашей просьбе, как вернуть вам нос.

Он потянулся рукой к ее лицу.

— Нет!— отпрянула она, прикрывшись ладонями.

— А-а!— засмеялся он.— Уже нравится?

— Очень нравится!— с досадой, что попала на его уловку, рассердилась она.— Потеряла единственную подругу, на службе черт знает что, ребята стали совсем чужие!

— Все наладится. Просто вы еще не вжились в новый образ. У вас пока что нос новый, а весь имидж старый...

— Чего-чего?

— Ну, вы еще платье носите, как мундир, и в туфельках топаете, как в сапогах по плацу, а главное — характер.

— Опять? Слушайте, давайте так: за нос — спасибо, и — до свидания! Раз и навсегда!

Она пошла прочь. И действительно, ее командирская походка оставляла желать лучшего. Он смотрел ей вслед с улыбкой. Но не насмешливой, а какой-то странно-задумчивой.

Так же странно улыбаясь, Шурик ехал по вечерним улицам. Город, уже почти полетнему зеленый, зажигал фонари.

С той же улыбкой Шурик поднялся в лифте, позвонил в дверь.

Открыла Раиса в неизменных бигуди.

— А-а, привет! Заходи, заходи,— и убежала на кухню.

В прихожей появился Матвей с детским горшком.

— А-а, привет! Заходи, заходи.— И унес горшок в туалет.

Шурик вошел в комнату. Там царил привычный бедлам: среди игрушек ревел Сенька, за столом делал уроки Миша, а у телевизора, по которому шумел митинг, сидела очкастая Ася.

— Здравствуй, мыслительница! Как накал политических страстей?

— Красно-коричневые вышли из окопов,— сообщила Ася.

Шурик только развел руками и присел в кресло.

Вернулся Матвей с горшком, спросил Шурика:

— Чай будешь?

— Спасибо, не хочу.

— А я хочу, писать, писать хочу! — заревел Сенька.

— Я ж тебя спрашивал!— возмутился Матвей.— Ты сказал, больше не хочу, а теперь опять хочу?

— Пора бы знать,— рассудительно заметила Ася,— что ребенок в таком возрасте не контролирует свои желания.

— Может, ты не будешь учить отца!— вскипел Матвей.

— Не смей кричать на ребенка!— вбежала Раиса с чайником.

— Это я кричу или ты кричишь? — взорвался Матвей.

— Вы все кричите,— рассудила Ася.— Дайте послушать Ельцина.

На экране замахал руками Борис Николаевич, но его заглушил рев Сеньки. Матвей стал усаживать его на горшок. Раиса вспомнила про Шурика.

— Чай будешь?

— Спасибо, не хочу.

Раиса с чайником ушла. Из-за стола вскочил Миша.

— Всё, русиш добил, пойду погуляю. Но Раиса уже снова была тут как тут.

— Никаких погуляю после той записи в дневнике! Матвей, скажи ему, ты отец или не отец!

Матвей оставил Сеньку на горшке и подступил к Мише.

— Ты чего нервлируешь маму? Сказано — не гулять!

Миша швырнул тетрадки. Сенька упал с горшка и заревел. Ася замахала руками:

— Ну тише же! Сейчас он скажет про референдум!

— Я пошел,— поднялся из кресла Шурик.— Пока!

Но когда Шурик уже был у двери, Матвей опомнился:

— А ты чего, собственно, приходил?

Шурик улыбнулся все той же странной улыбкой:

— Да так... Хорошо тут у вас!

И вышел, провожаемый очумелыми взглядами супругов.

...Анна при свете настольной лампы корпела над отчетом. Но делала это как-то рассеянно, то и дело упиравшись задумчивым взглядом в темноту за окном и лишь усилием воли возвращаясь к работе.

Наконец, она оттолкнула бумаги, подошла к зеркалу и уставилась на себя изучающе. Коснулась пальцами носа. Отбросила прядь со лба. Снова опустила ее на лоб.

Сбросила халатик, переоделась в платье и опять встала перед зеркалом, изучая себя.

Надела туфли на каблучке и стала прохаживаться, косясь в зеркало на свою походку.

От звонка в дверь Анна вздрогнула, словно ее застали за неприличным занятием, и пошла открывать.

Любочка, не дав ей сказать ни слова, затараторила:

— Ну, виноватая я! Ну, дура я неуравновешенная! Ну, прости, меня, истеричку!— Она заметила платье Анны.— Ой, ты куда-то собралась, а я мешаю?

— Да нет... я так,— смутилась Анна.— Проходи.

Любочка впорхнула в комнату.

— Я третьи сутки не сплю — мучаюсь! Думаю: кто мне Анята родненькая, и кто мне этот конь кудрявый? Я ему сейчас — в его рожу наглую — так и выдала: еще раз сунешься со своей вонючей шокола-а-адкой...

Она безо всякого перехода зарыдала.

— Ты что?!— испугалась Анна.— Он тебя обидел?

— Он?.. Меня?..— плакала Любочка.— Да я сама его... Я ему гаду... О-о-ой!

Анна усадила подругу, налила воды, поила, как маленькую.

— Успокойся, выпей... Вот так, хорошо... Все, успокойся.

Любочка, стуча зубами по стакану, бормotala, утихая:

— Спасибо, все... Я уже... А чего он, гад! Морочит голову. Два года ни да, ни нет... Гад!

— Гад, конечно, гад.— Анна гладила подругу по челочке.— Ну и забудь его, забудь.

— Все, забыла!— Любочка решительно утерла помесь слез с тушью и опять безо всякого перехода заявила: — Трудно жить на свете красивым бабам!

— Не знаю, не пробовала,— улыбнулась Анна.

— Теперь попробуешь!— с угрозой пообещала Любочка.— Уродкам что? Лишь бы хоть кто-то приглубил. А мы, красотки, цену себе знаем! Что?.. Этот?.. Нет уж, я лучшего достойна, я подожду. И дожидаемся... коня кудрявого!

— Жуткая история,— снова улыбнулась Анна.

— Жуткая, жуткая! Поэтому я знаю, что тебе нужно. Тебе нужно замуж!

— А может, сначала тебе? — все улыбалась Анна.

— Нет, я уже разок сходила! А тебе надо срочно, сразу, пока не закружилась голова от этих козлов... В общем, одна бабушка-старушка, у нее паспорт стянули в магазине, и она у меня новый получала, так вот у нее сыночек — старый холостяк, но классный мужик!

По мере понимания серьезности планов подруги улыбка сползла с лица Анны.

— Ты с ума сошла!

— Ну почему как я скажу что-то разумное, так сразу: сошла с ума?! Мы ж не просто так явимся: здравствуйте, я пришла за вас замуж! Мы с бабушкой все продумали: встретимся в воскресенье под видом обмена квартир...

— Я не хочу тебя слушать!

— А одинокой на всю жизнь хочешь? — В голосе Любочки опять зазвенели слезы.— Или еще хуже: не одинокой, но через день с другим — хочешь? А если не хочешь, так слушай меня, слушай!

Шурик влетел в квартиру и крикнул с порога:

— Есть хочу!

— Все готово,— откликнулась из кухни мама.

— О! Что за правительственный прием?

— Он еще спрашивает! — трагическим тоном воскликнула мама.— К нам же придут по обмену квартиры.

— А-а, да,— вспомнил Шурик и зачерпнул ложкой из салатницы.

— Не уродуй салат!— перехватила его руку мама.

— Ты чего, мамуль? Нам предлагают царские хоромы?

— При чем — хоромы? Просто люди придут, надо посидеть, обсудить...

— Стоп! А ну, признавайся: хозяйка обмена — женщина?

— Да...

— Молодая, симпатичная?

— Да...

— Одинокая?

— Конечно! То есть... кажется, одинокая... но не в этом дело...

— В этом! — сурово констатировал Шурик. — Ты опять?

— Что опять? Что ты смотришь на маму, как Ленин на буржуазию?

— Маму-уля! Ты же мне клялась после Инги...

— При чем Инга? Она была слишком навязчивая, она никогда мне не нравилась...

Раздался звонок. Оба замерли. Потом Шурик схватил сумку с ракеткой и чмокнул маму в щеку.

— Квартирообмен доверяю лично тебе!

Он распахнул дверь, увидел Любочку и застрочил:

— Добрый вечер, здравствуйте, проходите! Надеюсь, переговоры пройдут в теплой дружественной атмосфере, а я, извините, спешу, бегу, лечу...

И умолок. Потому что Любочка втащила за собой в квартиру смущенную Анну. При виде Шурика она попятилась, но Любочка держала руку подруги крепко.

— Здравствуйте! Я — Любовь Сергеевна, а это — Анна Петровна.

— А я — Мария Павловна, — подоспела на помощь мама. — А это мой сын Шурик... То есть Александр Ильич.

— Очень приятно! А вы что, куда-то уходите?

— Нет-нет, он как раз пришел! Проходите, пожалуйста, сейчас мы все обсудим, прошу к столу...

Шурик и Анна в этом разговоре не участвовали, а только тарачились друг на друга. Мама подталкивала сына, Любочка тащила подругу, и так они их усадили к столу. Но Анна тут же вскочила и обрела дар речи:

— Я пойду!

— Как? — тоже очнулся Шурик. — Вы же не сообщили вариант обмена.

— Ой, у нас прекрасный вариант, — заверила Любочка, силой усаживая Анну. — Квартирка небольшая, но очень уютная. Анна Петровна прекрасная хозяйка!

— У нас тоже, как видите, неплохо, — подхватила эстафету мама. — Александр Ильич сам делал ремонт.

— Редкий мужчина! — восхитилась Любочка. — А у Анны Петровны такой порядок, такая чистота!

— Приятно слышать, — обрадовалась мама. — А то бывают жуткие неряхи... Но Александр Ильич как раз больше акуратист!

Шурик не вынес более эту рекламную кампанию:

— А нельзя ли поближе к жилплощади?

— Да-да, — опомнилась мама, — сейчас мы все покажем... У нас практически один недостаток — последний этаж.

— А у нас недостаток наоборот, — сообщила Любочка, — этаж первый.

— Что ты, первый этаж — большое удобство! — вдруг язвительно заметила Анна. — Не правда ли, Александр Ильич?

— Не понял, Анна Петровна, — сказал Шурик.

— Это вы-то не поняли?

— Да, это я не понял.

Мама с Любочкой удивленно слушали их диалог.

— Ну, если вы такой непонятливый, я вам объясню: с первого этажа безопасно прыгать в окошко!

С этими словами Анна вскочила и покинула квартиру. Следом за ней метнулся Шурик.

— Я умираю! — мама откинулась в кресле.

Шурик догнал Анну на улице.

— Постойте! Да погодите же, давайте поговорим!

— О чем? О том, как вы — ха-ха, убежденный холостяк! — заманиваете к себе невест?

— Да я ни сном, ни духом, это все мама... Но вы-то! Не успели стать красоткой, уже ловите женихов.

— Я?! Да если бы не Любочка... Господи, стыд какой!

Она чуть ли не бегом поспешила прочь. Он догнал ее.

— Погодите! Похоже, мы тут оба без вины виноватые...

Анна молча пожала плечами. Он тоже молчал, шел с ней рядом. Потом признался.

— Когда вы вошли, я обалдел, конечно, но и... обрадовался.

— Да? Чему же?

— Не знаю... Просто обрадовался.

Она вновь лишь пожала плечами, не останавливаясь. Он плелся за ней, как на веревочке. За кинотеатром она свернула в переулок. А он остановился на углу, купил гвоздики и догнал ее.

— Вот... Это вам...

— Что вы, доктор? — усмехнулась она. — Это мы, пациенты, должны вам дарить... — Но вдруг что-то дрогнуло в ее лице, и она пробормотала растерянно: — Спасибо... Мне как-то никто никогда не дарил цветы...

Он протянул ей букет. Она взяла гвоздики. Их пальцы коснулись, задержались на миг...

Но тут раздался дикий визг, и в переулочек выкатился клубок — десяток дерущихся девочек. Они царапались, лупили друг дружку кулаками и сумками, пинали ногами. Были среди них и наши знакомые — Нина, Галя и Лиза, размахивающая в эпицентре сражения намотанным на руку поясом с пряжкой.

— Девочки! — закричала Анна. — Прекратите, вы что, прекратите!

Она побежала к дерущимся. И Шурик побежал.

— А вы куда? Это — мое. Идите отсюда...

Но он, не слушая ее, бежал рядом. Анна с ходу врзалась в драку, гвоздики ее мигом растерзали, но она добралась до Лизы и вытащила из потасовки.

— Ты опять устроила?

— Это они устроили, мочалки драные! Опять на нашу улицу завелись, «Мальборо» с ликером принесли, наши козлы губы раскатали... Пустите!

Лиза оттолкнула Анну Петровну так, что та чуть не упала.

Шурик подхватил ее одной рукой, а другой поймал за шиворот Лизу.

— Кончай буянить!

— А-а, доктор? Мотайте отсюда, а то самого себя штопать придется.

Она вырвалась от Шурика и снова нырнула в драку.

— Я вызову наряд, — растерянно сказала Анна.

— Да ну, — улыбнулся Шурик, — мы их без наряда... Эй, красавицы, уgomнитесь! Хладнокровней, красавицы!

Он начал растаскивать девочек, но через секунду сам исчез в этой куче-мале. В одном месте вынырнула его рука, в другом — взлетела в воздух его нога... Анна выхватила милицейский свисток и залилась пронзительной трелью.

Клубок дерущихся замер, раздался крик «Атас!», и через секунду на месте драки остался только Шурик, лежащий в окружении растоптанных гвоздик.

— Что с вами? — бросилась к нему Анна.

Шурик сел на земле — ворот сорочки оторван, губа разбита, щека расцарапана — и сообщил:

— Все в порядке!

— Я вижу. Сказано же было: не лезьте не в свое дело... Герой!

Она подняла сломанную гвоздику, разглядела испачканные лепестки. Шурик клятвенно пообещал:

— Я вам новые принесу! Завтра! А сей-

час, извините, я пойду. Сейчас пойду домой...

— Ага, мама будет рада. Нет уж, придется приводить вас в божеский вид. — Анна вдруг коротко всхлипнула и добавила по-бабьи жалостливо: — Горе вы мое!

Шурик полулежал в кресле в квартире Анны, тихонько постанывая, пока она прижигала йодом, мазала мазью, заклеивала пластырем его болевые раны.

— Тихо, тихо! — прикрикивала она. — Я же терпела ваши молотки и долота.

Она придирчиво оглядела работу, прижала отклеившийся уголок пластыря. Он перехватил ее ладонь.

— У вас очень чуткие руки. Вы могли бы работать у нас в клинике.

Она забрала у него свою руку.

— Спасибо, но мне по душе моя работа.

— Неблагодарное дело — хулиганью несчастному носы подтирать.

Она сразу замкнулась, сказала резко:

— Что ж, кто на что способен.

— Извините, я не хотел вас обидеть...

— Какие обиды при нашей-то работе? Все, вы свободны!

Она отвернулась к темному окну. Он помедлил и пошел к выходу. Но у двери обернулся. Она в этот же миг обернулась от окна. И оба сказали:

— А-а...

Он не знал, как продолжить это восклицание. А она нашлась:

— А-а... может быть, чаю?

— Чаю бы хорошо! — обрадовался он. — Можно, я сам заварю?

Она пошла на кухню. Он последовал за ней. Она дала ему чайник. Он стал наполнять его водой из крана. Она зажгла газ. Он поставил чайник на огонь. Все это происходило в молчании, пока ее вдруг не прорвало наиболее:

— Я о работе моей с детства мечтала! Я сама такая же была... хулиганье несчастное.

— Извините! Я, правда, не хотел...

— А я, правда, не в обиде, — перебила она. — Посмотрела бы я на того, кто бы попробовал обидеть меня! Это счастье, что я в колонию не угодила, спасибо Господу Богу!

Он молчал, не зная, что сказать. Но ему и не надо было ничего говорить, — говорила, выговаривалась она сама.

— Да нет, не Богу... Спасибо тетке милицейской Варваре Тимофеевне, что вытащила меня. Не шибко грамотная баба, сейчас в милиции таких — без юридического или педагогического — и не держат. Но славная была тетка!

— А вы, значит, по ее стопам? — улыбнулся он.

— Да, по стопам! — с вызовом отвечала она. — Я этих девчонок-мальчишек до боли чувствую. У меня мать здорово пила. Нет, не сразу, а запила с тоски, когда от нас отец-молодец упорхнул. Тоже был мотылек... Шурик такой!

Шурик развернулся и пошел из кухни.

— Куда? А кто обещал чай заварить?

Он вернулся, молча взял заварку, постелил салфетку и стал тщательно сыпать чай через пальцы, оставляя на ладони крупные щепочки. Она усмехнулась:

— Вот уж кто обидчивый...

— Обида не при чем. Просто у вас типичное мильейское мышление.

— То есть?

— То есть решать человеческие судьбы в приказном порядке. Вот взять всех холостяков и оженить в двадцать четыре часа!

— А что? Хорошо бы, — засмеялась она.

— Вы смеетесь, а были и вполне «серьезные» проекты борьбы с холостяками.

— Например?

— Например, повысить бездетный налог с шести процентов до шестнадцати, не ставить холостяков в очередь на квартиру, не давать путевок в санатории... Просто какая-то расовая дискриминация!

— Ну а что же, интересно, может сломить холостяка?

— А вы не понимаете? Любовь! Только любовь!

Анна рассмеялась от всей души.

— Любовь? Да вы, Шурики, любите только самих себя на всем белом свете! Ой, юморист, — любовь!

Она смеялась, а он смотрел серьезно. И тихо сказал:

— Я люблю вас!

— Что-что? — оборвала она смех.

— Я люблю вас, Анна!

— А-а, — снова улыбнулась она, — это я читала. Пигмалион сотворил Галатею и полюбил ее...

— Нет! — перебил он. — Галатея — статуя, кукла, а я полюбил вас — живую, настоящую! Я полюбил вас сразу, как только увидел...

— Ну да, ну да, как увидели мой нос.

— Черт возьми, если хотите, я верну вам тот нос, но не перестану вас любить!

Он сжал ее руки. На этот раз она не забрала их. Он приблизил свое лицо к ее лицу. Она смотрела ему в глаза. Их губы медленно, очень медленно, преодолевая прошлое, потянулись друг к другу... но на плите заверещал свисток закипевшего чайника.

Они отпрянули, как школьники, засти-

нутые врасплох, а потом рассмеялись — облегченно и счастливо.

И снова была ночь. Любимый город спал спокойно. Спали улицы, спали дома, спали люди в домах.

Спала и Анна. А Шурик рядом с ней не спал. Глядел в потолок.

Приняв какое-то решение, он осторожно, чтоб не потревожить Анну, выбрался из постели, оделся, подошел к окну.

Над городом уже вставал ранний рассвет. Оглянувшись на спящую, Шурик открыл окно и спрыгнул с первого этажа.

Но Анна не спала. Едва он исчез за окном, она открыла глаза. Большие и печальные. И из этих глаз выкатились две горькие слезинки. Анна плакала сначала тихонько, потом все громче и, наконец, зарыдала в голос и зарылась лицом в подушку, пытаясь задавить плач.

Поэтому она не видела, как над подоконником появилась рука со скромными, но свежими, сорванными на клумбе, цветочками. За ними появилась голова Шурика, а затем и весь он перевалил через подоконник и бросился к Анне.

— Что случилось? Ты чего реवेशь?

Она обернула к нему заплаканное лицо:

— Ты... Ты зачем... Куда ушел?!

— Исполнять обещанное. Вот!

Он вручил ей цветы. Она уткнулась в них лицом.

— А зачем... через окно?

— А как бы я вернулся и не разбудил тебя без ключей?

— Дурачок... Боже, какой ты дурачок!

— Не-ет, я умный, и я знаю, что нынче уже понедельник и работают все государственные учреждения.

— Ну и что?

— А то, что я приглашаю вас посетить ЗАГС!

Она села на кровати, сказала серьезно:

— Шурик...

— Александр Ильич! Впрочем, для вас, так и быть — Саша.

Он улыбнулся, но она была по-прежнему серьезна.

— Перестань, мы же взрослые люди! Мне хорошо с тобой и так. Дело не в штампе в паспорте...

— Нет! — заорал он так, что она отшатнулась. — Именно в этом дело! Я люблю тебя, я хочу быть с тобой, хочу семью, хочу детей... Я хочу на тебе жениться!

Она засмеялась. Потом опять заплакала. Он бережно смахнул пальцами ее слезинки, и робкая улыбка надежды снова появилась на ее губах, а он ответил ей нежной улыбкой любви... В общем, состоялся полный хэппи энд — счастливый конец!

ГРИГОРИЙ ГОРИН



Для меня самое трудное в сценарном ремесле — написание заявки. Изложить на нескольких страничках сюжет, который потом будет меняться, обрисовать персонажи, которые потом наверняка трансформируются, представить образы диалогов, которые наверняка потом разонравятся...

Все это мука смертельная! Если не знаешь, как себя поведет герой через два эпизода, как точно рассчитать, что будет через десять?

И сколько бы мне ни твердили опытные профессионалы, что заявка, «синопсис», «либретто» — непрменная задача сценариста, мечтающего увлечь продюсера, я каждый раз почему-то вынужден от этого уклониться...

Вот и на этот раз, когда акционерное общество «Московит» и американская корпорация «MGSi int ING» предложили мне сочинить заявку на сценарий фильма о царе Соломоне, я радостно согласился, ибо этот библейский мудрец давно занимал мое воображение...

Однако после первых же строк почувствовал, что суховато-четкий язык заявки губителен для изображаемой эпохи, поэтому стал писать нечто вроде киноповести или кинопоэмы... «Напишу кинопоэму, — подумал я, — а потом, если будут настаивать, разрифмую ее обратно в «синопсис»...».

Так появились эти тридцать машинописных страниц, которые я передаю альманаху «Киносценарии».

Жанр публикуемого произведения на данный момент я бы определил так: «НАЧАЛОСЦЕНАРИЯИЗКОТОРОГОМНОГОЕУЖЕЯСНО...»

Осталось чуть-чуть дописать последние две трети сценария, дать почитать друзьям, а продюсеров и потенциальных режиссеров уговорить, что незаконченная вещь больше расскажет о будущем произведении, нежели краткий его пересказ...

Март, 1993, Москва

НАЧАЛОСЦЕНАРИЯИЗКОТОРОГОМНОГОЕУЖЕЯСНО

ЛЮБИМЕЦ БОГА

Библейский пейзаж.
Гора Гаваон. Звездная ночь

«...за то, что... не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, не просил себе разума, чтоб уметь судить, вот Я сделаю по слову твоему. Вот, Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил. Я даю тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои...»

Так говорил Господь царю Соломону, явившись ему во сне на горе Гаваон.

И все обещанное свершилось.

Но сон повторяется, и вновь, и вновь видит царь жертвенник на вершине, звезды в небе и слышит Голос Его...

Склоны горы Ватн-эль-Хав.
Виноградники, раннее утро

Это — место уединенных прогулок царя, место размышлений и потаенной беседы с природой, ибо дана ему была такая мудрость, что постиг он язык птиц и зверей,

умеет истолковывать запахи цветов и трав, понимает, о чем шумят листья олив и кипарисов...

Соломон в это утро одет в простую удобную одежду — кожаные сандалии, хитон из сурового полотна. Лишь на левом плече — дорогая скрепка из массивного зеленого золота в форме свернувшегося крокодила — символ бога Себаха, покровителя одной из многочисленных царских жен-язычниц.

— Фьють! Фьють! — Пестрая птица тревожно запрыгала с ветки на ветку, закружилась над головой Соломона.

— Фьють! Фьють! — ответил он ей свистом и пошел за ней в глубину густого кустарника.

Несколько пестрых птиц тревожно носились над гнездом, укрепленным в сплетении ветвей. Соломон приблизился, сунул в гнездо руку, достал оттуда извивающуюся змею.

Змея злобно зашипела в лицо царю:

— Ш-ш-ш-ш!

— Ш-ш-ш-ш, — ответил ей он на ее языке, и змея послушно спрятала жало.

— Ч-ч-ч-ч, — сказала ей царь, открывая дорогу среди камней.

— Ч-ч-ч-ч, — поблагодарила змея и скрылась...

Царь еще немного прошел рошей, как вдруг до его слуха донесся тихий женский голос. Голос напевал песенку, бесхитростную песенку, которую любят напевать девушки здешних поселений:

«...На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его.

Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя, искала я его, и не нашла его...»

Царь пошел на голос и вскоре вышел к виноградникам, раскинувшимся на склоне горы и отгороженным невысоким забором из сваленных камней.

Там среди рядов широколистного кустарника ходила рыжеволосая девушка и укрепляла лозу. На вид ей было лет 14, она была стройная и смуглая, и легкое голубое платье подчеркивало изящность ее фигуры. Соломон залюбовался ею, притаившись за каменным забором.

«Поднимись ветер с севера и пронесись с юга, повеяй на сад мой — и польются ароматы его...»

И словно по заказу, порыв ветра пронесся по винограднику, зашумел широкими листьями, подхватил полы платья и обнажил стройные длинные ноги, и круглый, как чаша, девичий живот, и четкую линию, разделявшую ноги снизу доверху и расходящуюся там надвое, к выпуклым бедрам...

Царь весело рассмеялся, обнаружив себя.

Девушка вскрикнула, обхватила края платья, пытаясь сдержать их, но ветер не унимался, и тогда она села на землю и, смущаясь, закрыла лицо руками.

Соломон легко перепрыгнул изгородь, подошел к девушке, улыбаясь, тронул ее за руку:

— Что ж ты испугалась, глупенькая? Звала ветер, и он повеял на сад твой...

— Это — песня, — тихо сказала девушка. — Я не звала. Это — песня.

— Спой же ее до конца, — сказал Соломон. — Каков там следующий куплет?

— Не помню...

— Хитришь! — засмеялся царь. — «Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его...»

Он помог ей подняться, отвел руки от ее лица, и теперь она впервые посмотрела ему в глаза:

— Кто ты?

— А ты?

— Я первая спросила...

— Я первым тебя увидел... И первым подумал о тебе.

— Что подумал?

— Я подумал: вот девушка, которая мне очень нравится... Ибо она прекрасна...

И глаза ее голубинные... И волосы ее, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской... И зубы, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни... И как лента алая, губы ее и уста любезны...

Он привлек ее и нежно поцеловал. Она не отстранилась, но смотрела чуть испуганно:

— Ты всем девушкам говоришь такие слова?

— Всем, — признался Соломон. — Но подумал так впервые. А слова, соединенные с мыслью, суть истина. Скажи и ты, что думаешь обо мне...

— Я думаю, ты не из бедных селян, раз пришел оттуда, из царского сада. На тебе простая одежда, но пряжка из золота, и стоит дороже, чем весь виноград, который мы с братьями соберем с этих кустов...

— Ты наблюдательна, красавица, — похвалил Соломон. — Но ты не сказала главного — нравлюсь ли я тебе?

— Не знаю... Наверное... Боюсь подумать...

— Боишься? Почему?

— А вдруг ты из свиты Адонирама, сборщика податей? И тогда меня накажут за то, что не работаю, а болтаю с тобой.

— Я не из свиты Адонирама,— сказал Соломон.— Я из свиты царя. Я его телохранитель. С детства я был похож на него, и нарекли меня так же — Соломон. Я — его тень, куда он, туда и я. Но сегодня ночью мы расстанемся: царь останется во дворце, а я приду к тебе, если, конечно, ты позволишь...

Он привлек ее к груди и страстно зашептал на ухо:

— Теплота твоей одежды благоухает лучше, чем мирра... И когда ты дышишь, я слышу запах от ноздрей твоих, как от яблоков... Сестра моя, возлюбленная моя, ты пленила сердце мне... Как зовут тебя?

— Суламита...— прошептала девушка, слабея от ласк царя.

— Как прекрасно имя твое... «Соломон — Суламита...» Имена похожи и перетекают друг в друга, как вино из кувшина в бокал. Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим... О, иди скорей ко мне, ибо изнемогаю от желанья...

— Нет... Возлюбленный мой... не сейчас... Братья мои стерегут виноградник мой...

— Тогда скажи, где дом твой?.. Я приду сегодня ночью...

— Заклинаю тебя, любимый... Заклинаю сернами и полевыми цветами, не тревожь возлюбленную, пока она не позволит... Ибо братья мои стерегут дом мой, и страшны они во гневе...

С шумом раздвинулись кусты. Суламита в испуге отпрянула от царя.

На дорожке появились двое мальчиков: старшему было лет десять, младшему — лет пять. Старший держал в руках палку, младший — камень. Лица их было суровы...

— Братья...— начала что-то объяснять Суламита, но старший прервал ее:

— Отойди, сестра!

А младший добавил:

— Отойди, Суламита, когда говорят мужчины!

Суламита отошла, а братья двинулись к царю...

С трудом сдерживая улыбку, Соломон сказал:

— Двое против одного! Не очень честный бой...

— Можем биться по одному,— сказал старший.— Но знай, это будет семь поедин-

ков... Нас — семеро братьев, и честь сестры священна для каждого...

— Тогда я хочу поговорить с самым старшим... Где вы живете?

— Забудь дорогу в наш дом! — сказал младший.

— Прежде чем забыть, надо запомнить... Итак, где дом ваш, ревнители чести?

— Там, за рекой... Через мост, что выше Силоама... У источника...

— Забыл,— сказал царь.— А пока — объявляю перемирие...

Он отстегнул золотую пряжку и протянул старшему:

— Передай это моему отцу, мальчик...

— Наш отец умер.

— Тогда отдай старшему в доме... Он поймет цену этой вещицы...

— Старший — я! — сказал старший.— И цену этой вещицы я знаю...— Он размахнулся и зашвырнул золотую пряжку за каменный забор.— А теперь беги, пока мы тебя не поколотили...

Царь секунду смотрел на гневные лица мальчишек, потом издал громкий крик и побежал через кусты виноградника.

Мальчишки со свистом и гиканьем кинулись за ним...

Суламита со счастливой улыбкой смотрела ему вслед и шептала слова, которые потом будут венчать одну из самых лучших песен в мире:

«Беги, возлюбленный мой; будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических».

Дворец царя Соломона. Трапезная. Утро

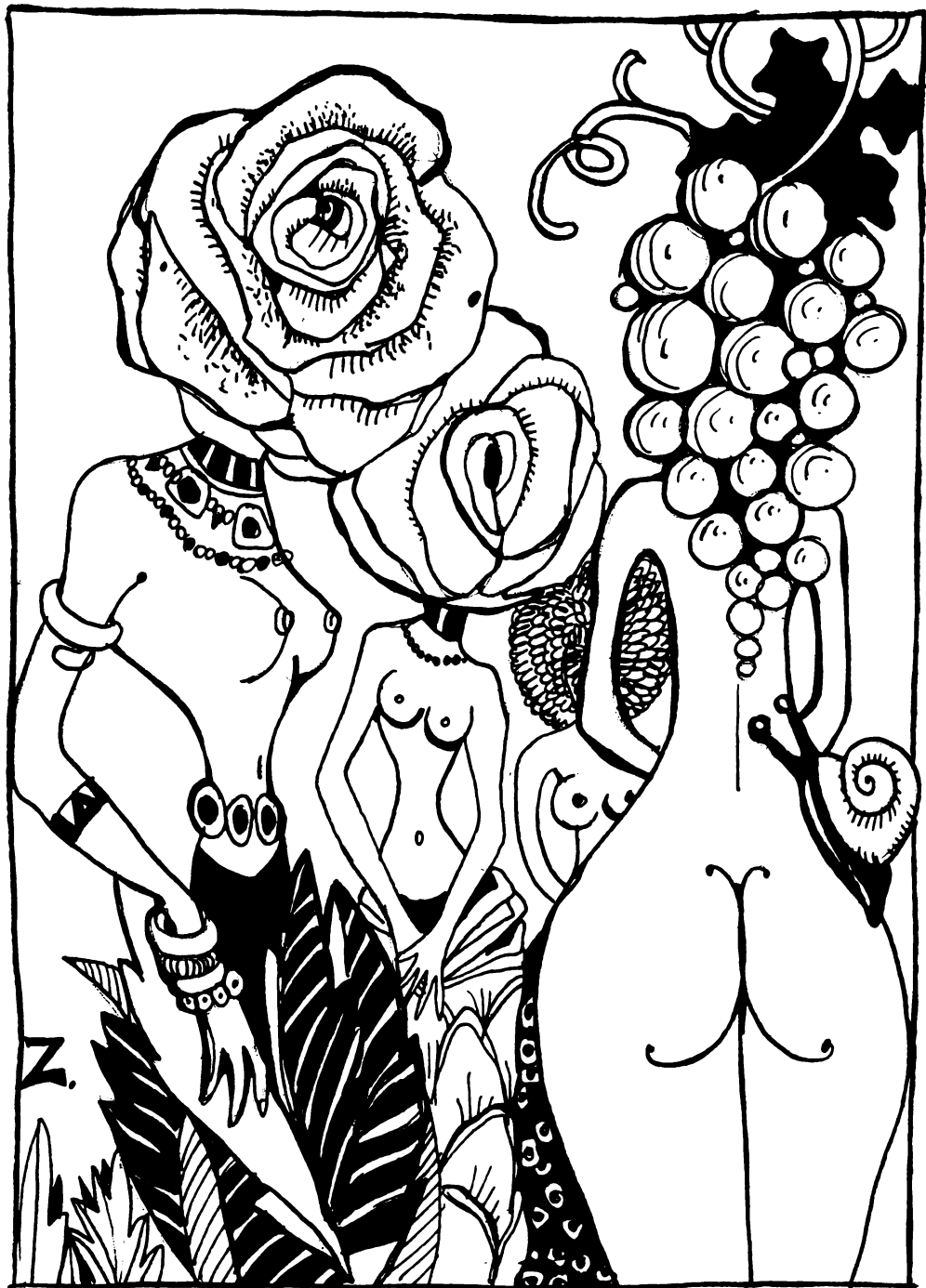
Утреннюю трапезу царя разделяли с ним его многочисленные сыновья, рожденные в его громком разноплеменном гареме.

Десятка два юношей разных возрастов: бледнолицых, темнокожих, рыжих, черноволосых — сидели за длинным мраморным столом по обе стороны от царя. Чуть поодаль, за отдельными столиками, приготовились писари со свитками папируса, ибо завтрак, по установленным царем правилам, посвящался не только приему пищи, но беседе с детьми и поучениям, которые потом становились притчами, нужными всем людям.

Из женщин к завтраку допускалась лишь мать Соломона, но к пище не прикасалась, и глаза ее были полузакрыты...

— Ну, вот... сыновья мои драгоценные...— произнес Соломон, и сразу за столом воцарилась тишина, а писари склонились над свитками.— Послушайте на-





ставление отца и внимайте, чтобы научиться разуму, ибо и я был сын у отца моего, нежно-любимый и единственный у матери моей...

Соломон чуть склонил голову в сторону Вирсавии, и юноши повторили его жест, оказав бабушке почтение.

— ...И отец говорил мне: да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. Приобретай мудрость... Не оставляй ее, и она будет охранять тебя... И пусть мудрые наследуют славу, а глупые бесславие...

Соломон встал и начал двигаться вдоль длинного стола, обращаясь к каждому из сыновей и заглядывая каждому в глаза, словно проверяя, понимает ли тот значение слов?

— ...Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать это.

— Не говори другу твоему: «Пойди и приходи опять, и завтра я дам», когда имеешь при себе.

— Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою...

Юноша, к которому были обращены эти слова, кивнул в знак согласия и, повернувшись к одному из братьев, погрозил ему пальцем...— Не будь лжесвидетелем на ближнего своего,— остановил его Соломон,— не говори: «как он поступил со мною, так я поступлю с ним...»

— Я с ним никак не поступал. Он — лжец! — закричал тот, на кого указали, и вскочил, сжав кулаки. Сосед попытался его усадить...

Соломон насупился:

— Сядь, Елеазар! Начало ссоры — как прорыв воды, оставь ссору прежде, нежели разгорелась она... Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него — быть снисходительным к проступкам...

— Снисходительным?! — взволнованно продолжал вскочивший.— Отчего ж ты сам, о великий царь, не снисходителен к проступкам детей своих?! И не твой ли гнев — причина моего вчерашнего наказания?

— Сядь!! — крикнул Соломон.

— Не могу! — сказал Елеазар и заплакал...

Соломон с удивлением смотрел на него. Один из юношей, тот, что выглядел постарше других, пояснил:

— Сказано тобою: «Кто скупится на розги, тот не любит сына своего...» Эту мудрость он познал своей задницей...

Все засмеялись.

Соломон тоже печально улыбнулся:

— На разумного сильнее действует сло-

во, чем на глупого сто ударов,— сказал Соломон.— И всякое познание мудрости есть благо. Ученая задница достойна скорее других сесть на трон.

Наступила тишина.

И даже Вирсавия чуть приоткрыла глаза...

— Сколько ударов претерпел ты, Елеазар? — спросил Соломон.

— Тридцать...

— Тридцать мгновений позволяют тебе восседать на моем троне...

Он сделал широкий жест, приглашая Елеазара занять опустевшее место.

Тот нерешительно пошел, сопровождаемый завистливыми взглядами братьев, приблизился к трону, потом влез на него и уселся, превозмогая боль...

— Раз... Два... Три...— начал Соломон считать мгновения...

Лицо Елеазара выражало страдание и блаженство...

Сыновья возбужденно зашумели.

— Кто еще готов за такую плату поцарствовать? — спросил Соломон.

— Я!.. Я! — закричали сыновья и бросились к отцу, отталкивая друг друга.

— Готов снести сто ударов!

— А я двести!

— А я пятьсот!!!

Соломон в ужасе смотрел на обезумевших сыновей, потом тихо произнес:

— Много вижу достойных седалищ, но царством должна управлять голова! Мудрый сын слышит наставления отца своего, буйный не слышит и обличения. Ступайте прочь! Ибо гнев царя, как рык льва, и горе тому, кто не распознает его вовремя...

Сыновья, оробев, пошли к выходу...

Соломон жестом отослал вслед писарей и охрану.

Теперь они остались за столом вдвоем: мать и сын.

Не глядя на Вирсавию, царь стал молча есть и запивать пищу вином.

Вирсавия наблюдала за ним, и глаза ее были печальны...

Поев, Соломон вытер губы салфеткой и сказал:

— Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино, приготовила трапезу; послала слуг своих провозгласить: кто неразумен, обратись сюда! И скудоумному сказала: идите, ешьте хлеб мой, пейте вино, мною растворенное...

— Хватит, Соломон! — устало прервала

его Вирсавия.— Хватит премудростей, которых и я уже не понимаю... Говори не для вечности, говори для мамы... Для старой своей еврейской мамы, которая сидит напротив и у которой болит голова...

— Хорошо! — улыбнулся царь.— Что хочешь услышать моя любимая еврейская мама?

— Зачем ты мучаешь мальчиков и меня тоже?

— Тебя?!

— Дети — руки женщины, внуки — пальцы... Заноза в пальце больней, чем в руке... Что ты хочешь от мальчиков, Соломон? Они не виноваты, что родились принцами, что в их жилах — царская кровь. Эта кровь закипает, когда речь заходит о троне. За что же их мучить? Не притчи им нужны, а решение. Назови НАСЛЕДНИКА, остальные со смиренным отступятся...

— Отступятся? — засмеялся Соломон.— Или вы забыли брата моего Адонию? Разве не преступил он волю нашего Давида? Разве не кончилось это кровью?.. Нет, ошибку совершил великий Давид, назначив меня при жизни преемником. Тем самым отвратил он от меня братьев моих!

— Ошибка Давида,— покачала головой Вирсавия,— не в том, что подарил тебе трон... Ошибка в том, что продолжал дарить новых братьев!.. Горе вашего рода в силе вашей петушиной, неумемной... И враг ваш болтается между ваших ног!

Соломон засмеялся...

— Он смеется,— покачала головой Вирсавия.— Давид тоже смеялся, когда я укрывала его... Но у Давида было двести жен, а у тебя — семьсот! Не много ли?

— Для мужчин много,— сказал Соломон и сразу стал серьезным.— Для царя Израиля — мало. Ибо не желание мое ведет число женам и не похоть умножает гарем... Семьсот жен у меня и триста наложниц, но зато сегодня ИЗРАИЛЬ НЕ ВЕДЕТ НИ ОДНОЙ ВОЙНЫ! Не на поле брани встречает врага царь израильский, а за свадебным столом... Нет войны ни с Египтом, ни с Вавилонией, ни с Ливаном, ни с Филистимлянами... И дочери чужих царей в моих чертогах плодят мир и благоденствие народу моему. Разве такие деяния не угодны Всевышнему?!

— Что угодно Всевышнему, ОН скажет тебе сам,— тихо произнесла Вирсавия.— Мне ОН лишь прошептал имя твое при рождении твоём — Иедидиа... Что значит — ЛЮБИМЕЦ БОГА. Пророками мне наказано хранить твоё здоровье да оберегать от глупостей. Ибо мудрый Соломон мудр для всех, кроме матери своей.

— Разумеется! — улыбнулся Соломон.—

Во всяком случае не настолько глуп, чтобы спорить с ней по этому поводу...

— Так вот,— удовлетворенно сказала Вирсавия.— Когда дело идет о мире, я умолкаю и лишь мысленно молюсь о твоём здоровье... Но когда тебя влечет просто азарт игрока...

— Ты о царице Савской, мама?

— И о ней тоже... Хитра стерва и тщеславна, как все язычницы, возомнившие себя наследницами своих поганых богинь. Если она занимает от тебя ребенка, всем моим внукам грозит беда!

— Она прибывает в Иерусалим лишь на переговоры. Я не собираюсь делить с ней ложе, мама...

— Семьсот раз я слышала эти слова,— усмехнулась Вирсавия.— И еще другие, которые стали притчами... «Кто прелюбодействует с женщиной, у того нет ума». Кто это говорит? Мудрейший из мудрейших... А кто скакал козлом рано утром сегодня в винограднике вокруг сельской девчонки? Он же...

Лицо Соломона посуровело:

— Я не люблю, когда твои люди шпионят за мной! И если я узнаю имя наушника, он поплатится головой.

— Мои люди — твои люди. Ибо ты — царь над всеми, и твоя любовь — общее достояние. Когда ее делят не поровну, людям обидно... Кто эта девочка? Из какой семьи? Кому она поклоняется: Богу или идолам?

— Я не знаю, мама. Она чиста и прекрасна. Впрочем, я видел ее всего несколько мгновений...

— И говоришь о ней так взволнованно,— Вирсавия недовольно покачала головой.— Больше всего боюсь любви с первого взгляда, ибо пути ее непознаваемы... Уж лучше займись царицей Савской...

— Мама, я сам все решу. Мне уже много лет, мама, ты забываешь...

— Я не считаю годы, которые ты прожил. Я думаю о тех, что у тебя впереди. А при такой жизни их будет не так много, сын... Ты не видишь, как шипит за твоей спиной твоя ассирийка Матфания? Как колдует амморянка Валда? А эта безумная дочь фараона Астис? Знаешь ли ты, какие радения она устраивает в храме Изиды? Какие кары на твою голову вызывают ее жрецы?!

— Я не верю чужим богам,— сказал Соломон.

— Но разрешаешь им молиться...— И сам ходишь в храмы язычников.

— Нельзя запрещать людям верить, в кого они хотят... Поклоняющиеся идолам сами обкрадывают душу свою. Я же хожу в их

храм из любопытства. Нельзя ничего отвергать, не поняв и не увидев...

— Глупец! — неожиданно резко взвизнула Вирсавия. — «Может ли кто ходить по горячим угольям, чтобы не обжечь ног своих?» Учишь детей премудростям, а сам босым ступаешь в огонь!

— Извини, мама, трапеза закончена, — сказал Соломон, встал из-за стола, пошел к выходу.

Вирсавия несколько секунд смотрела ему вслед, потом гневно крикнула:

— У тебя всегда не хватает времени для матери! Но помни, Соломон, измену с женщиной я прощу, измену Богу Нашему — никогда!! И первая, кто проклянет тебя, будет твоя старая еврейская мама!!

Соломон резко обернулся, секунду внимательно смотрел на мать, потом молча вышел...

Оставшись одна, Вирсавия обхватила голову руками, запричитала раскачиваясь:

«Буду славить Тебя, Господи,
всем сердцем моим, возвещать
все чудеса Твои;

Буду радоваться и торжествовать о Тебе,
петь имени Твоему, Всевышний.

Когда враги мои обращены назад,
то преткнутся и погибнут пред
лицем Твоим...»

Это было начало ее любимого девятого псалма Давида, и никто из слуг не решался войти в залу, пока царица-мать не закончит молитву...

Иерусалим. Стены храма. День

Шел седьмой год с того дня, когда царь Соломон начал строительство великого Храма Господня на горе Мориа в Иерусалиме, и работы шли к концу, хотя множество людей еще денно и ночью трудились у стен Храма под строгим надзором приставников и главного над ним, хромого и мрачного человека по имени Азария.

Он и сейчас был здесь, командуя разгрузкой нескольких огромных возов, с которых грузчики стаскивали тяжелые кедровые бревна, привезенные из Ливана.

Солнце палило немилосердно, пот лил градом с лиц работавших, жесткая кора деревьев царапала в кровь их руки и плечи, но работа не затихала ни на секунду. За малейшую провинность или передышку следовал удар бича надсмотрщика, и глаза

Азарии, полуприкрытые тяжелыми веками, видели все...

Видел Азария и седовласого старика в рубище, который стоял на возвышении и, простирая руки к небу, громко выкрикивал:

— ...ТЫ отринул народ Твой, ибо многое переняли они у Востока...

И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищам его!

И наполнилась земля его идолами, они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их...

И ТЫ не простишь!

Старик вдруг подбежал к грузчикам и закричал, обращаясь к ним:

— Идите в скалу, сокройтесь в землю от страха Господа и от славы величия Его!

Один из тащивших бревно вздрогнул, оступился... Бревно скользнуло вниз, раздирая кожу...

Раздался истошный крик.

Несчастного грузчика окружили, пытаются помочь...

Азария недовольно повернул голову к надсмотрщикам, сделал повелительный жест. Те начали бичами разгонять столпившихся людей.

Седовласый старик бросился защищать строителей, истошно крича:

— Грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное! И на кедры Ливанские!!! И на все дубы Весанские... И на корабли Фарсийские... И на дары Савские! И падет величие человеческое! И один Господь будет высок в тот день!

Старика оттолкнули, он упал на землю, но продолжал что-то выкрикивать...

Азария равнодушно наблюдал за этой сценой...

— ЧТО ОН СКАЗАЛ ПРО ДАРЫ САВСКИЕ?

Азария оглянулся.

Несколько всадников в костюмах бедуинов остановились на холме и наблюдали сверху за строительством храма.

— Так что этот несчастный сказал про дары Савские? — повторил свой вопрос один из бедуинов — стройный юноша в дорогом белом одеянии.

Азария равнодушно пожал плечами.

— Встань и отвечай, когда тебя спрашивают! — строго прикрикнул один из всадников.

Азария неохотно поднялся.

— Я — визирь великой царицы Савской! — сказал юноша. — Я привез от нее дары царю Соломону... А вместо благодарности слышу проклятья!

— Зачем слушать сумасшедших? — усмехнулся Азария.

— Люди слушают,— юноша указал на рабочих.

— Люди глупы,— сказал Азария.— Люди верят, что этот старик — пророк.

— А ты?

— Я не слушаю. Я приставлен смотреть...

— И что ж он пророчествует?

— Что скоро придет день Суда Господа Нашего... И все мы будем наказаны. А Храм будет разрушен...

— Какой храм?

— Который мы строим...

Бедуины засмеялись.

— Гони его прочь! — сказал один из всадников.— Глупо строить то, что вскоре будет разрушено! Гони!

— Не могу,— сказал Азария.— Царь Соломон разрешил ему пророчествовать здесь

— Но он мешает работе...

— Зато делает ее осмысленной! Так сказал Соломон.

— Ничего не понимаю,— честно признался один из всадников.

— Я тоже,— вздохнул Азария.— Наверное, поэтому я — всего лишь надсмотрщик, ты — всего лишь всадник... Он — всего лишь визирь! А мудрому царю Соломону нет равных под солнцем.

— Попрдержжи язык! — сердито крикнул один из всадников и хотел направить коня на Азарию, но юноша-визирь жестом остановил его.

— Приведи этого пророка,— сказал юноша и кинул Азарии кошель с деньгами.— Пусть он и мне предскажет будущее...

Азария неожиданно быстро и ловко поймал кошель, проверил его на ощупь. Потом понюхал... Потом послушал, как звенят монеты.

Юноша с любопытством наблюдал за ним.

— Что ты делаешь? — усмехнулся один из бедуинов.

— Размышляю,— сказал Азария.— Царь учит нас всех размышлять перед поступком...— Он позвенел кошельком.— Для простого посыльного — здесь много. Для старшего надсмотрщика, каковым я являюсь,— слишком мало...

— Сходи как «старший посыльный», — улыбнулся юноша.

— Разумно,— сказал Азария, и на его угрюмом лице на мгновение промелькнуло подобие усмешки.— Видишь, о юный визирь, как ты мудреешь прямо на глазах!

Он спрятал кошель и спустился с пригорка к старику. Тот продолжал что-то выкрикивать и не слушал Азарию, который пытался ему объяснить цель своего прихода.

Старик глянул на юношу, затем что-то сказал Азарии, отчего тот засмеялся и,

безнадежно махнув рукой, направился обратно...

— И оголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит срамоту их! — закричал ему вслед старик.— И отнимет цепочки на ногах и ожерелья...

Азария приблизился к юноше-визирю и протянул ему кошель:

— Возьми свои деньги, визирь! Он не хочет идти... Не хочет предсказывать... Не хочет денег... Ничего не хочет. Я же говорил, это — сумасшедший.

— Что он сказал? — нервно спросил юноша.— Я же видел, он что-то сказал...

— Что он мог сказать? — пожал плечами Азария.— В далеком будущем тебя ждет Страшный Суд. Впрочем, как и всех нас, и это — не новость. А в ближайшем будущем...— Азария замялся,—...только не гневайся, о визирь... Это он сказал... Я тут ни при чем...

— Да говори же! — закричал юноша.— В ближайшем будущем,— начал говорить Азария, с трудом сдерживая смех,— этот безумец сказал... что... ты... СТАНЕШЬ ЖЕНЩИНОЙ!

Юноша изумленно вскинул брови, посуровел, резко хлестнул коня и умчался прочь, сопровождаемый всадниками.

Азария некоторое время смотрел им вслед, потом на кошелёк, оставшийся у него в руках, потом, поразмышляв, спрятал кошелёк за пояс...

Всадники в костюмах бедуинов отъехали на солидное расстояние, резко остановились.

Юноша оглядел своих спутников, затем громко рассмеялся, сорвал с головы белое покрывало... и оказался молодой красивой женщиной.

— Какие невоспитанные люди живут в Иудее! — воскликнул один из всадников.— Я еле сдержался, чтобы не исхлестать плетью этого невежду. Надеюсь, он не обидел тебя, о великая царица?

— Ничуть! — сказала царица Савская и вновь рассмеялась.— Ведь он сказал правду! Однако, если в Иудее такие безумцы, каковы же здесь должны быть мудрецы?..

Зал царского дворца.

День

В этом зале Соломон исполнял одну из главнейших царских обязанностей — разбирал судебные тяжбы.

Множество колонн поддерживали расписной потолок судилища, шесть мраморных ступеней вели к подножию трона из слоновой кости, на котором восседал царь. Одет он был ввиду торжественности процедуры в алый хитон, а голову украшал узкий золотой венец с крупными бериллами — камнями, дарящими ясность мысли...

Чуть поодаль стоял трон Вирсавин, и царица-мать сидела там, как обычно, полужакрыв глаза...

Зал был полон разношерстной публики, гости в богатых одеждах теснились рядом с оборванцами, ибо на Соломонов суд допускался каждый, кто искал справедливости.

Несколько воинов и телохранителей Соломона стояли вдоль стен и напряженно вглядывались в лица собравшихся. Старшим над ними был сегодня чернокудрый юноша по имени Элиав — внук Ванея, старейшего военачальника.

Первыми перед царем предстали старый купец-ассириец и его темнокожий слуга-эфиоп. Суть дела изложил эфиоп:

— О, великий царь!.. Хозяин обманывает бедный эфиоп... Вместе мы шли, вместе нашли кувшин с золотом... Сто монет. Хозяин сказал: половина отдам. Недель прошел — не отдает.

Соломон перевел взгляд на ассирийца. Тот слушал эфиопа с усмешкой, опершись на большую резную трость.

— Всё — ложь, великий царь! — сказал ассириец. — Отдал я ему половину денег. Отдал при свидетелях.

— Кто свидетели?

— Жена...

— Не разрешено, — сказал Соломон. — Жена ни в пользу мужа, ни против свидетельствовать не может.

— Тогда, кроме богов, у меня нет свидетелей.

— Кто твои боги?

— Астарта и Ваал.

— Хорошо, — сказал Соломон. — Клянись им при всех. Сейчас! Но помни, язычник, если солжешь — то Ваал испепелит тебя огнем, а Астарта возьмет в жертву детей твоих...

Ассириец вздрогнул, с ненавистью посмотрел на эфиопа:

— Из-за тебя, дурака, искушаю богов

небесных... — Он даже замахнулся тростью на слугу, но, поймав строгий взгляд Соломона, сдержался, швырнул трость под ноги эфиопу:

— Подними!

Испуганный эфиоп поднял трость.

Ассириец достал из-за пазухи две маленькие золотые фигурки идолов, поставил их на ступеньку и задвигался, закружил вокруг них, запричитал:

— О, Ваал, бог солнца, и ты, великая Астарта, богиня ночи... Свидетельствуйте в мою защиту... Отдал я деньги... Под взглядом вашим неусыпным отдал... А если не так, то пусть гнев ваш падет на мою седую голову, и кровь моя утолит вашу жажду...

Он начал в истерике царапать свое лицо, потом упал на пол и задрожал в конвульсиях.

Соломон внимательно наблюдал за ним.

— Остановись! — наконец произнес царь, и ассириец послушно затих. — Ты сказал правду, но ты нечестен!

Он поманил к себе эфиопа. Тот послушно подошел к царю. Царь взял из рук эфиопа трость, оглядел ее:

— Тебе отдали деньги, — с улыбкой сказал царь и разломил трость пополам.

Золотые монеты со звоном посыпались на пол. Эфиоп с изумлением уставился на них.

— Собери, они твои! — сказал царь. — А трость пусть вернется к хитрому купцу... Ударом — за каждую спрятанную монету!

Царь кинул обломки трости одному из воинов. Двое других подхватили под руки упирающегося ассирийца и, сопровождаемые одобрительными возгласами публики, вынесли его из зала...

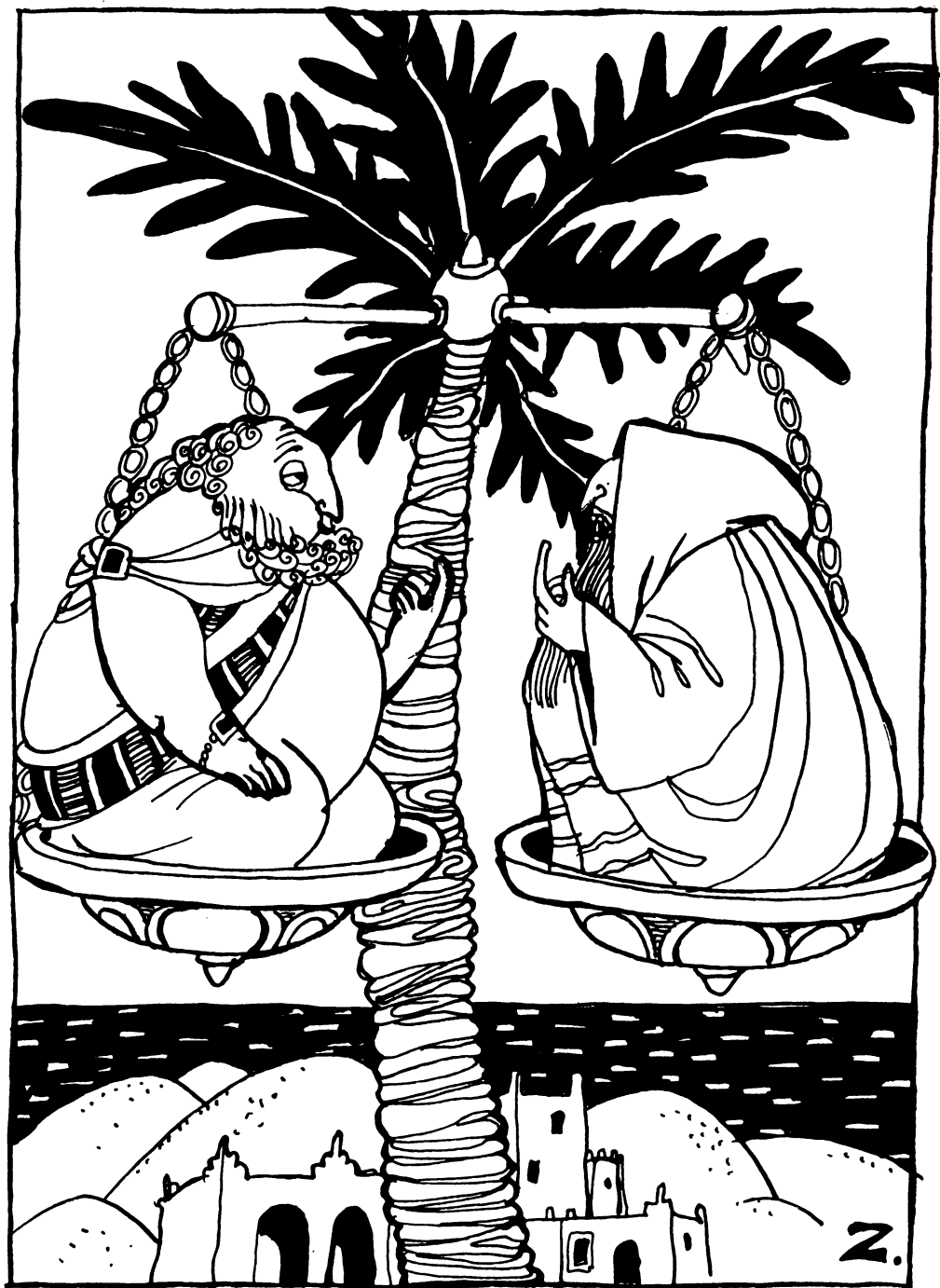
И тогда место на ступенях, ведущих к трону, заняла бедно одетая женщина с глиняной чашей в руках. Лицо ее было темно от печали, глаза заплаканы.

— Я ишу справедливости, царь! — сказала она. — Много бед свалилось на меня... Умер мой муж. Каменщик... Заболели дети... А сегодня на последние два динария я купила вот эту чашу муки и понесла домой. Но вдруг подул сильный ветер и развеял муку... Денег нет, а дети голодные...

— И кого ты винишь, женщина?

— Не знаю, — вздохнула вдова. — Если Бог наслал ветер — пусть платит, если это — проделка Дьявола, пусть он вернет муку или деньги. А к тебе, царь, я пришла потому, что ты мудр.

— Не знаю, мудр ли я настолько, чтобы отвечать за все, что происходит под небом? — улыбнулся царь. — Подожди моего решения, женщина, я должен подумать.



Рисунки Юлии Зубревой

Вдова сошла со ступенек и встала в толпе, ожидая решения своего дела.

Затем на ступеньку поднялся бородастый мужчина с маленьким свертком в руках.

— Меня зовут Адонирам,— сказал мужчина.— Я — сборщик податей. И в моем ведении твои виноградники, что на склонах горы Ватн-эль-Хав, где ты любишь гулять в одиночестве, о великий царь!

— Я знаю, где мои виноградники,— строго заметил Соломон.— Переходи к делу!

— Прости, что занимаю драгоценное время,— сказал Адонирам,— но от твоего слова зависит судьба одной девочки... Она работает на виноградниках. И у нее в руках я сегодня увидел вот такую вещьцу...

Адонирам развернул сверток и показал всем скрепку из темно-зеленого золота в форме свернувшегося крокодила:

Соломон напрягся и чуть скосил глаз в сторону трона, где сидела мать. Но Вирсавия, казалось, дремала и не обращала внимания на происходящее.

— Это — дорогая скрепка из чистого золота,— продолжал Адонирам,— она достойна царского туалета. И я подумал, не обронил ли ты ее случайно? И если это так, то девочка обязана ее вернуть?

— А что говорит девочка? — спросил царь.— Ведь я мог и подарить ей эту безделушку.

— Конечно, конечно,— забормотал Адонирам.— Великий царь волен кого угодно награждать подарками... Но в том-то и дело, что девочка говорит, будто скрепку ей подарил не великий царь, а кто-то из его охранников по имени... Соломон. Я спросил Элиава, начальника стражи, и он мне сказал, что человека с таким именем нет среди охранников.

Царь повернулся к Элиаву, и тот кивком головы подтвердил слова Адонирама.

— Следовательно,— продолжал Адонирам,— либо девочка врет, и тогда ее место в тюрьме, либо при моем дворце появился самозванец, и поэтому я, верный слуга царя, посчитал своей обязанностью...

— Где девочка? — резко прервал его Соломон.

— Здесь пока... — Адонирам сделал жест, и его слуги вывели из толпы Суламиту. Она была бледна, дрожала и боялась поднять взгляд на царя.

Толпа зашептала, разглядывая девушку. Даже Вирсавия открыла глаза и посмотрела на Суламиту с нескрываемым любопытством.

— Как тебя зовут? — спросил царь.

— Суламита! — сказала девушка.

— А того, кто подарил тебе эту скрепку?

— Соломон... Но он дал это не мне, а

братьям... Они бросили, я подняла. Потому что мне очень дорога память о нем... О Соломоне.

— Он похож на меня? — спросил царь.

— Не знаю,— тихо сказала Суламита и посмотрела в лицо царю.— Наверное... Трудно сказать... Ты далеко на троне, он был рядом.

— Так, может, это и был я? — улыбнулся Соломон.

— Нет,— твердо сказала Суламита.— Он сказал, что он из свиты царя, что он — твой телохранитель...

— А ты не допускаешь, девочка, что царь мог пошутить? — неожиданно громко спросила Вирсавия.

Соломон, вздрогнув, недовольно посмотрел на мать, потом повернулся к Суламите.

— Конечно... — медленно произнесла Суламита.—...Царь мог пошутить. Но тот, с кем я была сегодня утром... ОН НЕ МОГ СОЛГАТЬ!

Соломон встал с трона, взял из рук Адонирама золотую скрепку и передал ее Суламите:

— Возьми, Суламита! Это — подарено тебе, и никого не слушай! Влюбленные всегда говорят правду, даже если постороннему она кажется невероятной! — Он повернулся и добавил, обращаясь ко всем: — Да! У меня есть телохранитель, которого зовут Соломон... И он похож на меня... И об этом не все обязаны знать... Даже моя глубокоуважаемая мама! — Соломон склонил голову перед Вирсавией, и она, недовольно фыркнув, закрыла глаза.

— Ты же, Адонирам, будь осмотрительней в своих подозрениях! — добавил Соломон, обратившись к сборщику податей.— Умеешь подглядывать, умеи и видеть суть... Иначе есть опасность ослепнуть!

— Я не подглядывал, о великий царь! — забормотал испуганно Адонирам.— Да и что можно было увидеть в винограднике. Сегодня с утра был такой ветер...

— Ветер! — засмеялся Соломон.— Ну, конечно... Как я мог забыть про ветер? С него-то все и началось!.. Где эта несчастная вдова каменщика?..

— Я здесь, царь! — Вдова вышла из толпы.

— А есть ли здесь в зале купцы, чьи корабли отплыли сегодня из Иаффы?

— Есть, о великий царь! — Двое купцов вышли из зала и подошли к ступеням, ведущим к трону.— Наши корабли с товарами отплыли сегодня в Финикию.

— Молили ли вы небо, чтоб оно даровало кораблям попутный ветер?

— Да, царь! Мы принесли жертву своим богам, и ветер с утра надул паруса...

— Но тот же ветер развеял всю муку у бедной женщины! — сказал царь, указав на вдову каменщика. — Разве не будет справедливо возместить ее потерю в счет вашей удачи?

— Конечно! Справедливо! — зашумели зрители, а купцы поспешно высыпали свои кошельки в глиняную чашу вдове.

— И от меня получи! — весело крикнул какой-то человек, бросая вдове деньги. — У меня — мельница. И ветер с утра помог мне намолоть много муки...

— И от меня — подарок! — сказал царь Соломон и, сняв с пальца один из перстней, бросил на блюдо вдове. — Сегодня ветер с утра подсказал мне прекрасные слова... «Поднимись ветер с севера, повея с юга, повея на сад мой, — и польются ароматы его...» Я запишу их на папирусе и назову... Я еще не знаю как... Может быть, «Песнь песней»... — Он повернулся к Суламите, пристально смотревшей на него, и добавил:

— Ступай домой, Суламита! Твой возлюбленный придет к тебе, раз пообещал... Твой возлюбленный лучше тысячи других... Голова его — чистое золото... кудри его волнистые... Глаза его, как голуби при потоках вод...

— Да... Да... — зашептала Суламита, как замороженная слушая слова царя, и вдруг продолжила: — Щеки его — цветник ароматный... Губы его — лилии, источающие мирру... Уста его — сладость!

— Ну, хорошо... Суд, насколько я понимаю, закончился, — проворчала Вирсавия и, тяжело поднявшись с трона, первой пошла к выходу...

Толпа в зале расступилась перед вдовой Давида. Люди почтительно кланялись, пытались прикоснуться к краю ее одежды, поцеловать руку...

Вирсавия привычно и спокойно принимала эти знаки поклонения.

Неожиданно на ее пути возникла царица Савская, одетая все в тот же костюм бедуина.

Они посмотрели в упор друг на друга. Вирсавия ощутила нечто дерзкое в этом взгляде и остановилась.

Потом она величественно протянула «юноше» руку для поцелуя.

Царица Савская резко отпрянула, беспомощно оглянулась на своих охранников, словно ища поддержки.

— Не бойся, Балкис! — тихо сказала Вирсавия, назвав тем самым царицу Савскую по имени. — Я — старуха, и оказав мне почтение, ты ничем себя не унизишь...

Царица Савская густо покраснела, нервно и быстро чмокнула протянутую руку Вирсавии, затем стремительно бросилась вон из зала суда.

За ней поспешила свита охранников-бедуинов...

Храм Изиды. Вечер

Храм языческой богини Изиды размещался на склоне одного из холмов Иерусалима. Когда-то жертвенник стоял просто в одной из пещер, но после того как храму стала покровительствовать жена Соломона, дочь египетского фараона Астис, храм разросся: у него появился наружный двор с четырехсторонней колоннадой. И бывшая пещера превратилась в лабиринт залов, отделанных гранитными плитами и украшенными изваяниями и символами многочисленных богов египтян: Себах-крокодил, Баст — кошка, приготовившаяся к прыжку, Шу — лев с поднятой лапой и др. Особо был разукрашен подъем к алтарю самой Изиды. Здесь находилась огромная чаша для пожертвований и священный каменный нож для пролития крови, ибо иных пожертвований богиня не принимала...

Несколько жрецов-кастратов, безусых, безбородых и бритоголовых, как того требовала традиция, готовили храм к предстоящим мистериям в честь Озириса и Изиды: зажигали светильники, заставляли дымиться специальные кадила с благовониями, расставляли фигурки божков с таинственными символами и священными изображениями Фаллоса, которому надлежало венчать любовь из мистерий...

Царица Астис возлежала в одном из своих потайных покоев. Одета она была в узкие, плотные облегающие ее пышные формы, шелковые одежды. Лицо было сильно наумянено и набелено, глаза резко обведены тушью и фосфоресцирующими красками, отчего они увеличивались в размерах и по-кошачьи светились в полумраке...

Один из жрецов-кастратов раскуривал замысловатый кальян, другой опухалом подгонял к царице облачко терпкого голубоватого дымка, заставлявшего нервно и чувственно вздрагивать ее ноздри...

У ног ее смиренно стоял Элиав, стражник Соломона, и жадно пожирал глазами тело царицы...

— Ну, с чем пришел, Элиав? — спросила Астис, жадно вдохнув дым.

— Разрши мне побывать на тайнодействии в честь Озириса, — сказал Элиав.

— Вот как? — улыбнулась Астис.

И что ж ты желаешь обрести на этом таинстве?..

— Тебя, Астис! — просто, по-военному четко сказал Элиав и даже протянул руку, чтобы коснуться царицы, но кастрат шлепнул его веером по руке.

— Меня? — засмеялась Астис.— Да знаешь ли ты, несчастный, что в молениях Озирису нельзя возжелать кого-то отдельно?.. Ты соединишься со мной, но кто-то овладеет тобой... А все вместе — мы лишь части огромного тела нашего божества, который, в свою очередь, ищет тело своей единоутробной сестры Изиды... Впрочем, вам, евреям, это не понять! Верите в своего бестелесного невидимого Бога, которому не дано быть ни изображенным, ни даже названным по имени...

— Все равно — хочу! — тупо настаивал Элиав.— Пусть меня поймут хоть сто неверных. Пусты меня, Астис!

— А не боишься, что Соломон узнает и выгонит тебя со службы?

— Мне все равно.

— А мне — нет! — строго сказала Астис.— Я хочу, чтоб в свите моего мужа были верные мне люди... Ты ведь верен мне, Элиав? Верен?! — Она погладила его по бедру, и когда он страстно застонал, смеясь убрала руку.— А что это за девочка, которую он допрашивал в суде? Ты был там?

— Да.

— Ее зовут Суламита?

— Не помню.

— Она хороша собой?

— Для меня — не очень. А для царя — хороша, раз подарил он ей золотого крокодила...

— Знак Себаха?! — Астис в гневе даже привстала на ложе.— Подарок моего отца, великого фараона, он дарит первой встречной девке?!

— Что для него золото? — вздохнул Элиав.— Если он не ценит такой алмаз, как ты...

Астис поднялась, жадно припала к кальяну, вдыхая наркотическое снадобье и впадая в транс...

— Я не хочу, чтоб они виделись! — наконец произнесла она.— Ты понял, Элиав? Не хочу! Сделай это, и я разрешу тебе соединиться со мной в теле божества моего... А теперь уходи! И вы тоже! — закричала она жрецам.

Те послушно, склоняясь в поклонах, вышли из комнаты царицы и вытолкали упирившегося Элиава.

Оставшись одна, Астис, как взбешенная пантера, начала рассказывать по комнате, что-то бормоча и изрыгая проклятья.

Потом она резко отодвинула занавесь,

и открылось углубление в стене, в котором стояли две обнаженные фигуры Озириса и Изиды, выполненные в человеческий рост.

— О, бог мой, Озирис! — страстно зашептала Астис, обняв фигуру Озириса и покрывая его поцелуями.— Избавь меня от этого злого наважденья! Дай мне забыть мужа моего, изменяющего мне, а значит, неверного в теле... Возьми меня, Озирис! Войди в мое лоно, о бог мой, и заполни меня всю без остатка...

Она опрокинула скульптуру Озириса и, нервно смеясь, навалилась на нее сверху...

Жрецы храма Изиды прислушивались к страстному дыханию и стонам, доносившимся из потайной комнаты царицы, и благоговейно молились...

Иерусалим. Вечер

Торжественный въезд караванов царицы Савской состоялся на закате солнца, когда белокаменный Иерусалим особенно красив и величествен.

Толпы горожан вышли встречать именитых гостей, и сам царь Соломон стоял на возвышении у городских ворот, окруженный приближенными.

Во главе процессии шли верблюды в золотых сбруях с поклажей даров, за ними — мулы с золотыми бубенчиками, спины которых прикрывали дорогие ковры. И только потом медленно двигались всадники в нарядных белых и голубых одеждах...

А справа и слева от всадников чернокожие рабы вели на шелковых ошейниках ручных тигров и барсов, несли серебряные клетки с обезьянами, экзотическими зверьками и птицами.

Горожане восторженно шумели, а звуки труб, грохот барабанов и бубнов подчеркивали праздничность момента.

Сама царица Савская восседала на импровизированном троне, стоявшем на украшенном помосте, который, в свою очередь, держали десять воинов на высоко поднятых руках.

Помост остановился перед возвышением, на котором стоял Соломон, царица чуть наклонила голову в приветственном поклоне, и тогда царь вежливо сбежал к ней навстречу, протянул руку и помог спуститься на землю.

Толпа заревела от восторга, а трубы, барабаны и бубны создали ту праздничную какофонию, когда слова уже не слышны да и не очень нужны.

Поэтому царь жестом пригласил царицу

Савскую занять с ним рядом место на возвышении и оттуда наблюдать за движением каравана.

Царица улыбнулась Соломону, и они первый раз глянули друг другу в лицо, после чего между ними возник не слышимый для остальных диалог...

— Привет!

— Привет!

— Рад приветствовать тебя, Балкис, на земле Иудей.

— Я уже здесь несколько дней. И не делай вид, что не знал об этом.

— Знал... Заметил тебя в суде. Красивый юный бедуин...

— Интересно, меня выдало мужское платье или возраст?

— Глаза. Слишком умны для юноши, слишком прекрасны для мужчины.

— Надо было переодеться старухой.

— Зачем тебе все это?

— Хотела убедиться, так ли ты мудр, как об этом рассказывают?

— Ну и как?

— В общем, довольна. Но несколько загадок тебе еще придется разгадать, Соломон.

— Буду рад, если не разочарую...

Проходившие всадники издали гортанный крик и по команде взметнули копыта в знак приветствия.

Соломон и царица Савская помахали им руками, переглянулись и продолжили молчаливый диалог...

— Я привезла тебе много даров. Золото. Ткани. Красное дерево для отделки храма...

— Чем смогу отблагодарить?

— Может быть, подаришь наследника? Говорят, мальчики у тебя неплохо получаются?..

— Пожалуй...

— Только не думай, что я готова стать семьсот первой женой.

— Разумеется, Балкис. С тебя начнем новый счет.

— Никакого расчета. Даже государственные соображения не заставят меня лечь под нелюбимого мужчину...

— Но иного способа природа не придумала...

— Это — первая загадка, Соломон, которую придется отгадать.

Соломон удивленно посмотрел на царицу Савскую, но та даже не повернула к нему головы.

Она смотрела в толпу проходивших мимо горожан.

Соломон проследил за ее взглядом и вздрогнул: внизу, вместе с горожанами, в окружении братьев шла Суламита и смотрела на царя, чуть прикрыв ладонью глаза от солнца...

— Она тебе очень нравится? — мысленно спросила царица Савская.

— Что бы я ни ответил тебе на словах, по моему лицу ты все поняла...

— Придешь к ней сегодня ночью?

— Нет.

— Если из-за меня то я отпускаю тебя, Соломон...

— Ты у меня в гостях, Балкис... И правила гостеприимства не позволяют оставлять тебя в одиночестве...

— Не заставляй меня усомниться в твоей мудрости, Соломон! Жалость обижает царицу больше, чем непочтительность... Ты свободен сегодня вечером и ночью... Я устала и должна отдохнуть! Отпускаю тебя и благословляю!!

Соломон повернулся к царице:

— Как ты щедра и прекрасна! Можно мне обнять тебя, великая царица Савская?!

— Конечно, — улыбнулась та. — Народ заждался проявления наших чувств!

Они обнялись и расцеловались, чем вызвали всплеск ликования толпы...

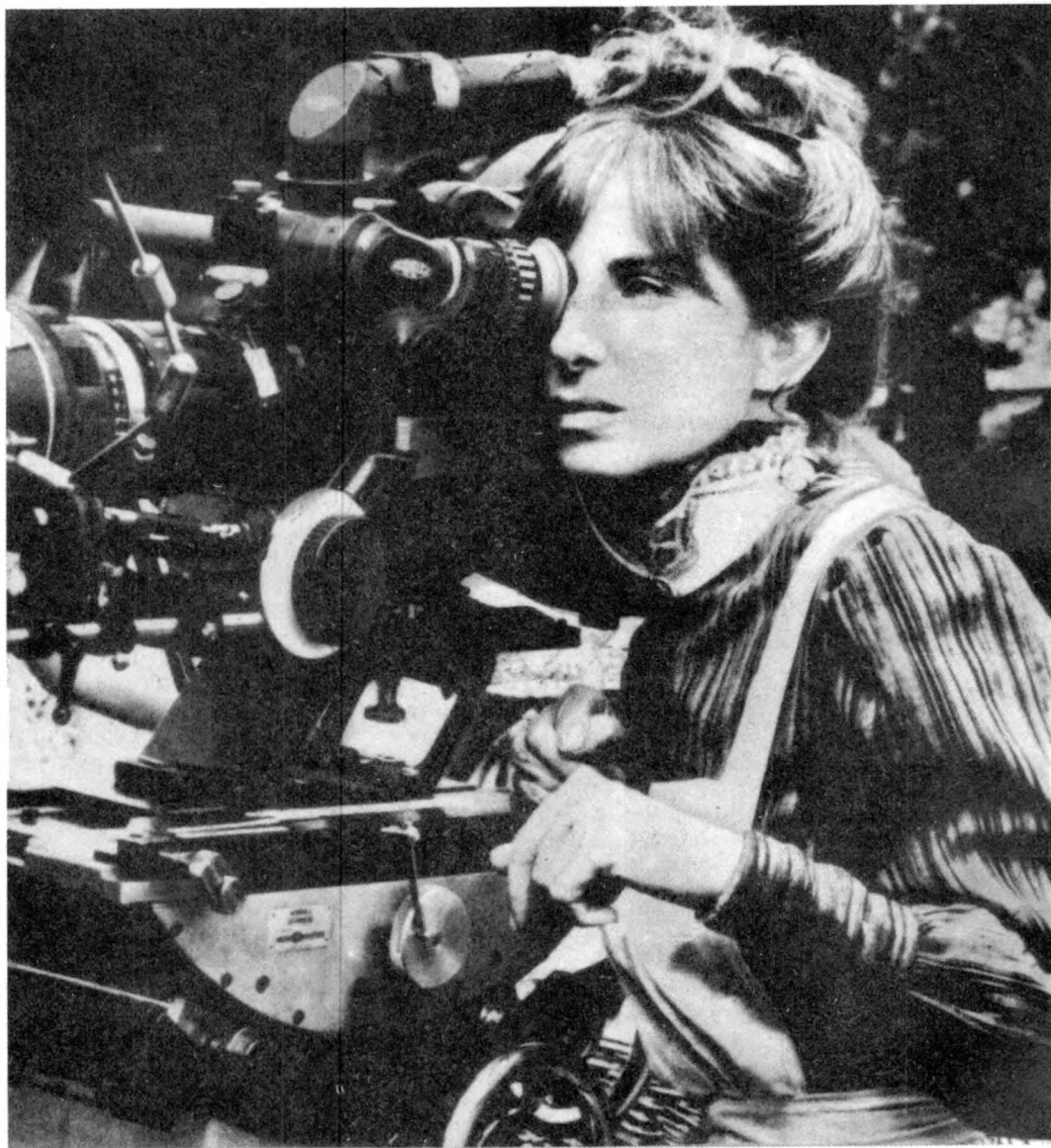
Солнце опустилось за стену городских ворот, и Иерусалим начал быстро погружаться во тьму...

**Редакция нашего журнала
выражает благодарность**

ДИАМБАНКУ

**и лично Председателю Правления
Дмитрию Титову
за спонсорскую помощь.**

КИНОПОВЕСТЬ В СТИХАХ ПО СЦЕНАРИЮ БАРБРЫ СТРЕЙСАНД И ДЖЕКА РОЗЕНТАЛЯ



Присуждение в 1978 году Шведской королевской академией наук Нобелевской премии по литературе Исааку Башевису Зингеру явилось в известной степени неожиданностью. Писатель, которому в то время было уже семьдесят четыре года, был мало известен мировой литературной общественности. Родился он в 1904 году в бедном местечке Радзимин под Люблином — на западной окраине Российской империи, писать начал на идиш в Польше. Прибыв в 1935 году в Америку, он прожил в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, всю свою остальную жизнь. Зингер написал множество книг, грустных и трогательных, но всегда полных надежды, в которых с большим мастерством и неизменным юмором описывал судьбы маленьких людей, простых евреев, в основном, как и он сам, выходцев из старой России и стран Восточной Европы, а также перипетии их жизни в Америке. Писал Зингер главным образом на идиш, как и его великий предшественник Шолом-Алейхем, основным продолжателем традиций которого в литературе двадцатого века критика обычно именует Зингера, отмечая, впрочем, что его прозе не чужды едкая ирония и сарказм, а подчас и элементы черного юмора, а также мистики.

До конца семидесятых годов книги Зингера были все же известны в основном в пределах американской еврейской общины, а сам писатель жил очень скромно. Все изменилось с присуждением ему Нобелевской премии. Пришла громкая слава, материальное благополучие. Но старый писатель остался таким же скромным, как и раньше. Он жил довольно замкнуто и много писал до последнего дня. Скончался Зингер 25 июля 1991 года в Майами на 88-м году жизни.

Одна из лучших новелл Зингера — «Ентл-ешиботник», написанная еще в конце шестидесятых годов, была позже переделана им в соавторстве с Леей Наполин в пьесу и с успехом поставлена на сцене Нью-Йоркского театра Юджина О'Нила. Премьера состоялась 23 октября 1975 года. Действие пьесы происходит в 1873 году в городах и местечках Восточной Польши — Люблине, Бешеве, Яневе и Замосци. Только в 1982 году повесть о приключениях Ентл появилась на английском языке в авторизованном переводе с идиш Марнон Магид и Элизабет Поллет в одномомнике избранных произведений Зингера, а в следующем году — отдельным изданием. Но еще до этого повесть привлекла пристальное внимание выдаю-

щейся актрисы и певицы, звезды музыкального кино, телевидения и бродвейских мюзиклов Барбры Стрейсанд.

Барбара Джоан Стрейсанд родилась 24 апреля 1942 года в Бруклине, одном из пяти округов Нью-Йорка, в еврейском квартале. Ее отец, Эммануэль Стрейсанд, был профессором английского языка и психологии в Колумбийском университете. Его неожиданная смерть, когда дочери был всего год и три месяца, пошатнула благополучие семьи. Чтобы прокормить детей, Диане — так звали мать Барбары — пришлось пойти работать бухгалтером, но денег не хватало. «Времена были тяжелые, серый волк голода был у дверей», — вспоминала Барбара впоследствии. В школе сверстники считали ее умной, но со странностями, за что и прозвали «крейзи Барбара».

Сцена манила ее с непреодолимой силой. «Я не заработала ни одного доллара, который не имел бы отношения к сцене», — говорит она.

В 14 лет она ушла из дома, решительно выбросив одно «а» из своего имени, чему придавала некий мистический смысл: новое имя — новая жизнь! Свою «сценическую карьеру» она начала билетершей в одном из театров на Бродвее, а подрабатывала уборщицей в другом театре. Часто ночевала в конторах театральных агентов, которым было жаль девушку, таскавшую с собой раскладушку и копившую деньги на уроки актерского мастерства.

Природные талант и ум, а также фанатичная одержимость и работоспособность в конце концов принесли свои плоды. Девятнадцати лет Барбра выиграла любительский конкурс артистов, после чего ее пригласили в одно из лучших кабаре Гринич-Виллиджа. Необычная острая выразительность игры и прекрасный гибкий голос молодой актрисы скоро привлекли внимание критиков. Об исполнении ею известной песенки в мюзикле «Кто боится злого волка» они писали, что когда Барбра поет, сказочные персонажи оживают, становятся реальностью, и порою кажется, что вся сцена превращается в огромную пасть кровожадного волка. Через три с половиной года актриса блестяще дебютировала в главной роли в мюзикле «Смешная девчонка» или («Девчонка Фанни») сценарий был написан на тему истории жизни и карьеры предше-

В отечественной кинолитературе более принято написание «Стрейзанд», однако данная транскрипция ближе к английскому оригиналу. (Прим. авт.)

стенницы Барбры, звезды бродвейского реву 20-х годов Фанни Брайс.

Вскоре Барбра сыграла эту роль и в одноименном прекрасном кинофильме, с большим успехом прошедшем в семидесятых годах и на наших экранах.

Триумф был безусловным, и с тех пор вот уже около 20 лет Барбра Стрейсанд царит на подмостках бродвейских музыкальных театров и на экранах, где с ней может соперничать разве что Лайза Минелли. Она снималась со многими знаменитыми партнерами, такими как Омар Шариф, Ив Монтан, Луис Армстронг. Критики спорят, в чем ее разносторонний талант выражается сильнее — в актерской игре, где ей подвластны и драма, и лирика, и гротеск, или же в пении. Недавно Барбра удивила своих поклонников, записав пластинку романсов композиторов-классиков: Грига, Сибелиуса...

Барбра, необыкновенный талант которой преодолел все препятствия, никогда не забывала своего детства. Образ умной и одаренной девушки Ентл из повести Зингера и ее удивительные приключения в страстной погоне за знаниями оказались чрезвычайно близки актрисе. Прочитав повесть, она буквально влюбилась в нее. Барбра сама создала сценарий будущего фильма (совместно с Джеком Розенталем). Прекрасные стихи для музыкальных монологов Ентл написали Алан и Мэрилин Бергманы. Сценарий этот стал самостоятельным литературным произведением. Однако изменения, внесенные в него по сравнению с первоисточником, вызвали сначала серьезное недовольство писателя. Он считал, что авторы сценария, пойдя навстречу вкусам массового зрителя, смягчили и романтизировали некоторые острые моменты и рискованные ситуации рассказа. Эта история напомнила другую, связанную с нашим знаменитым фильмом «Цирк», когда авторы сценария, известные писатели-сатирики Илья Ильф и Евгений Петров, возмущенные тем, что Григорий Александров снимает не эксцентрическую комедию, как они задумывали, а лирическую мелодраму с элементами политической агитки и советского китча, отказались от авторства и даже сняли свои имена с титров фильма. Зингер, однако, впоследствии махнул рукой на происшедшее, решив, что победителей не судят. К тому же он воздал должное прекрасной постановке и игре актеров.

Барбра Стрейсанд выступила в фильме «Ентл» в качестве режиссера-постановщика, исполнительницы главной роли и певицы. Огромную роль в фильме сыграла музыка замечательного французского

композитора Мишеля Леграна. Его песни, являющиеся своеобразными внутренними монологами главной героини, в блестящем исполнении Стрейсанд стали украшением фильма, придав ему новую выразительность и глубину.

Фильм «Ентл», вышедший в 1983 году, имел грандиозный успех и был выдвинут на самую престижную премию в мире кино — «Оскар», войдя в число лучших пяти фильмов года. Получил «Оскара» за лучшую киномузыку и Мишель Легран.

В начале 1987 года Мишель Легран приезжал с концертами к нам. Со своей сестрой Кристиан, известной французской певицей, он выступил в Москве, Ленинграде и Ереване, неизменно исполняя в числе прочих произведений фантазию на темы песен из фильма «Ентл». Публика, до отказа заполнявшая крупнейшие концертные залы, горячо аплодировала прекрасной музыке и исполнению, но, к сожалению, подавляющее большинство ее не имело никакого представления о содержании песен. Фильм «Ентл» до сих пор так и не шел на наших экранах, а первая и пока единственная книга Зингера на русском языке, вышедшая в Москве уже после смерти писателя, в конце 1991 года, включает повесть «Шоша» и одиннадцать новел, но «Ентл-ешиботник» в нее не вошел.

Мне довелось увидеть фильм «Ентл» в Париже, и я был совершенно очарован им. Позже мне удалось достать английский текст сценария и стихов к фильму и перевести на русский язык, дополнив стихотворными вставками.

По этому переводу в конце 1992 года московское «Радио-1» подготовило музыкально-литературную композицию «Ентл», дважды с успехом прозвучавшую в эфире, в которой пение Барбры Стрейсанд сопровождалось стихами в удачном исполнении артистов театра имени Евг. Вахтангова Е. Райкиной и А. Кузнецова.

Эрнест Хемингуэй устами одного из персонажей «Фiesta», писателя Билла, провозгласил одну из своих заветных мыслей, что главное в отношении творческой личности к жизни — «Ирония и Жалость». Этими качествами буквально насыщен увлекательный рассказ о судьбе Ентл. Усилиями таких авторов, как Исаак Зингер и Барбра Стрейсанд, на свет родилось произведение, исполненное благородных и трогательных чувств, проникновенной лирики и неподдельного юмора — то есть всего того, чего нам так не хватает в наше смутное время.



ЕНТЛ

Стихотворный текст монологов

Ентл —

Алана и Мэрилин Бергман

Перевод с английского и стихи

Гива Лахути

В те времена, когда ученье было
Всецело делом лишь одних мужчин,
В одной из русских западных губерний,
Из бедного еврейского местечка,
Лежащего близ города Бешева,
Послышался вопрос: а почему?

Жила-была там девушка простая.
Лишилась рано матери она.
Отец ее был старый мудрый ребе.
Он духом жил, земное презирая,
И, дочь любя, учил всему, что знал.
Способности в ней рано проявились
И к свету знаний страстное стремление.
В ее головке рой вопросов жил,
Которые она от всех скрывала
И одному лишь Богу поверяла:

Боже, отец наш небесный!
Мир полон славы Твоей.
Окутана я чудесно
Светом ее лучей.
Крылья свои распростерла
Неба волшебная синь...
Могу ли я быть достойна
С Тобой говорить? Аминь.
Каждое утро мысли
Роятся в моем мозгу.
Ища в Твоем мире смысла,
Не все я понять могу.
Зачем дал Ты крылья птице —
Разве не чтоб летать
И песней своей стремиться
Небу хвалу воздать?
Где правда, и в чем неправда,
И где мне назначил Бог
В огромном своем мирозданье
Заветный, мой уголок?
Зачем нам глаз наших зренье
И осязанье рук,
Если не для овладенья
Тысячей всяких наук?
Зачем нам возможность мыслью
Весь мир мгновенно обнять,
Если не жаждать смысла
Этого мира понять?
Зачем же Ты дал нам разум
И эти мысли — уму,
Если нельзя ни разу

Даже спросить — почему?
И где написано это,
Хотела бы я узнать,
Что плод, висящий на ветви,
Нельзя и в мыслях сорвать?
Так сладко мечтать о счастье,
Так много путей впереди!
Неужто их малой части
Нельзя мне в жизни пройти?
И если мое назначенье —
Всю жизнь просидеть в гнезде,—
Зачем же воображенье
Носит меня везде,
Через моря и горы,
Выше, чем в сказках любых,
Чрез дали и чрез просторы,
В солнца лучах золотых?
Зачем горит в нас стремление
К тому, чем нельзя обладать,
И в чем мое назначенье,
Если не в том, чтоб летать?
Зачем тогда тянет нас к свету
И к той далекой звезде?
Так где же написано это,
Скажи мне, о Боже — где?!

Но вот приходит первое несчастье —
Отец ее внезапно умирает,
Ее оставив круглой сиротой.
Теперь ничто уж не удержит Ентл
В ее местечке, и, не вняв советам
Сбежавшихся соседок сердобольных,
Отвергнув перспективу стать почтенной
Супругой многодетного вдовца,
Она свое решение принимает.
Одна оставшись, твердою рукою
Свои девичьи отрезает кудри
И одевается в мужское платье.
Уж собран сундучок с нехитрым скарбом.
Настала ночь, и на душе темно.
Как встретил бы отец ее любимый
Ее решенье? Лишь одна свеча
Горит во мраке. Дочь пред ней рыдает,
К отцу и к Богу руки простирает.

О Боже, чья милость без края!
И ты, отец мой земной.
Ты тоже на небе, я знаю,
Видишь меня, родной?



«Отец ее был старый мудрый рэбе,
Он, дочь любя, учил всему, что знал».

«Один лишь огонь не потушен —
Пускай же он светит в ночи.
Дух твой мне греет душу,
Как свет этой малой свечи».

Один лишь огонь не потушен —
Пускай он светит в ночи.
Дух твой мне греет душу,
Как свет этой малой свечи.
Слышишь меня ты, папа?
Видишь меня ты, папа?
Рядом ли ты со мной?
О, помоги мне, папа,
Ужас рассеять ночной.
На небе, как ни взгляну я —
Тысячи глаз, но чьих?
Как среди них найду я
Пару одну — твоих?
Вчера ты махнул мне рукою
И сам затворил эту дверь...
Что же случилось с тобою,
Скажи мне, где ты теперь?
А ночь все глуше, темнее,
А ветер все холоднее,
И мир без тебя вокруг
Стократ стал огромней вдруг.
Пойми меня, папа любимый,
И, если можешь, прости.
Должна я неотвратимо
Этой дорогой пойти.
Мир вокруг меня огромный
Полон ночных голосов...
Сквозь них этой ночью темной
Дойдет ли к тебе мой зов?

Я помню каждое слово,
Все книги, что ты мне читал...
Поможешь ли ты мне снова
Быть ко всему готовой,
Что бы Господь ни послал?
Деревья встали высоко,
Среди них я — словно трава.
Луна совсем одинока,
Звезды светят едва.
О, как тебя люблю я!
Как за тебя молю я!
Как ты мне нужен, знай!
Как по тебе я тоскую!
Руки твои я целую...
Папа, родной, — прощай!..

Все решено, и рано утром — в путь.
В дороге встретив несколько студентов,
С каникул возвращавшихся в Бешев,
Где в местной учатся они ешиве —
Училище духовном для евреев —
К ним присоединяется она,
Стремясь туда же в страстной жажде
знаний.

Охотно симпатичного парнишку
Они к себе в собратья принимают:
Бедняга стал так рано сиротой,
К тому же так мечтает он учиться!
Помочь ему во всех делах берется





Красивый статный парень Авигдор:
«Ты будешь вместо младшего мне брата!
Да как зовут тебя?» Минутное молчанье:
Об имени подумать не успела!
Но вот, подумав, отвечает: «Аншел».
...В пути им ночевать пришлось в трактире.
Где Ентл с Авигдором на двоих
Спать нужно вместе в комнатке убогой
В одной кровати — вот для Ентл ужас!
«Ну, что же,— простодушный Авигдор
Её зовет,— ложись, же раздевайся!» —
И захрапел. А Ентл кое-как,
Дрожа от страха, с краю примостилась —
И ночь благополучно пронеслась...
Итак, вперед! В Бешев они приходят,
Старинный городок, который Ентл
Огромным показался с непривычки.
И вот — ешива. Старый мудрый рабби
В ней заправляет. Сразу чем-то он
Отца покойного напомнил Ентл.
Устроил ей серьезный он экзамен,
Отца наука очень пригодилась —
Растрогал рабби знаниями юнец.
И вот уже зачислен он в студенты.
Бывают же счастливые моменты!

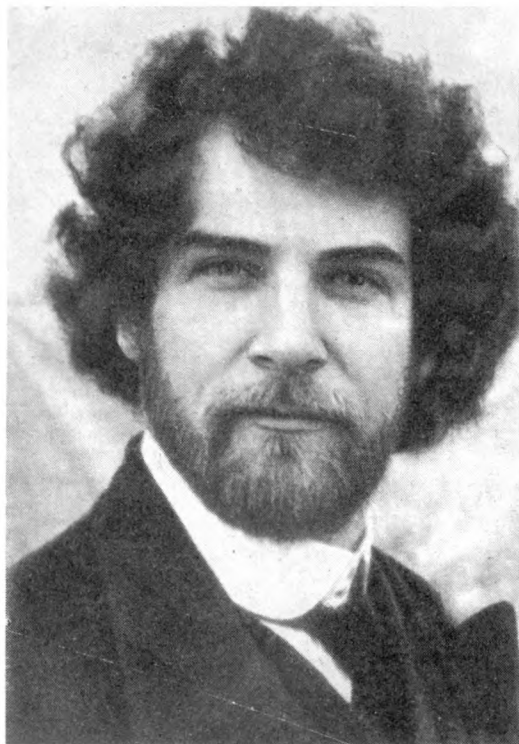
Бывают такие моменты,
Которых ты долго ждешь,
И помнить будешь об этом
Всю жизнь, пока не умрешь.
И я навсегда запомню
Этот свет из окна,
Этот стол, эту комнату,
Лица, чувства, слова,
Звуки и запахи эти,
Воздух, которым дышу,—
Все это до самой смерти
Я в сердце своем запишу.
Я мыслью могу свободно
Отправиться к прошлым годам
И взять там все, что угодно,
И вновь возвратиться сюда.
Что в детстве учил отец мой,
А прежде — отец отца,
Всем этим смогу овладеть я,
И знанью не будет конца.
Я в рощах образования
Уроки у листьев возьму.
Войду в чертоги познания,
Где так просторно уму.
Отец, я всё помню свято,
Чему учил меня ты.
Смотри, какой плод богатый
Твои принесли цветы.
...Бывает нечто такое,
Чего никому не отнять,
Чего ни волна не смоеет,
Ни вихрь не сможет сорвать,
И этим, я чувствую, вскоре
Я научусь обладать!
Лавина этого не унесет,
Пламя этого не сожжет,
Время этого не сотрет.
Стоят сотни книг за дверью,
Любая из них — моя.
Смогу получить теперь я,
О чем лишь мечтала я.
Смогу задать все вопросы,
Все «как» и все «почему».
Все станет ясно и просто,
Все будет подвластно уму.
Со всеми, кто был здесь ранее
Иль будет еще рожден,
Я связана общим познанием,
Как звенья в цепи времен.
Поток, куда в вечном движении
Несет меня каплей вода,
Уж был мне знаком от рождения,
Во мне он бурлил всегда.
Бывает нечто такое,
Чего никому не отнять,
Чего ни волна не смоеет,
Ни вихрь не сможет сорвать.
Лавина этого не унесет,
Пламя этого не сожжет,
Время этого не сотрет.
И этим, я знаю, вскоре

Буду я обладать!
Бывают такие моменты —
Всю жизнь мечтаешь о них
И помнишь до самой смерти...
Этот момент — из таких!

Мелькают дни. Наш «Аншел» весь в учебе,
Со страстью знания впитывает он.
С товарищами быстро он сошелся.
По вкусу им такой соученик:
Веселый, добрый, умный, симпатичный,
Всегда готов помочь, дает списать...
Премудрый рабби в нем души не чаёт.
А что с заскоком — у кого ж их нет?
Вот, например, пошли все прогуляться.
Ентл — с книгой неизменной и в очках.
А вот и берег озера безлюдный.
Давайте искупаемся! — и вмиг
Долой одежду! Ентл стало дурно...
Бежать скорее! «Аншел, что же ты?
Пошли купаться с нами!» — «Я не буду».
«Да почему?» — «Нельзя». — «Да отчего?»
Вот глупости! Тащи его, ребята!»
Бежит орава голых шалунов,
Его хватают, тащат, раздевают...
Поняв, что дело плохо, визг такой
Тот поднимает, словно его режут.
Весь побелел, дрожит... «Да ну его,
Чудной какой-то!» — «Ладно вам,

не надо», —

То верный Авигдор, его защитник.
...Насилу отдышалась Ентл потом.
Да, Авигдор друг верный, настоящий.



Авигдор
Ентл с Авигдором в трактире





Чтоб Аншел по субботам не скучал,
 Его с собой он приглашает в гости
 В радушную семью своей невесты,
 Своей очаровательной Хадасс.
 Со всеми там его он познакомил.
 Родители — зажиточные люди,
 Они прекрасно приняли его,
 И вскоре так его все полюбили,
 Что жить к себе его уже зовут.
 Парнишке бедному помочь так рады!
 Довольно уж скитаться по углам.
 И вот живет он в комнате отдельной.
 Кормить его стараются получше.
 Хозяин ставит всем его в пример:
 Какой трудолюбивый, умный парень!
 А друг и брат названный, Авигдор,
 Субботу каждую приходит в гости.
 Дом — чаша полная. Сама невеста —
 Прелестное, невинное создание.
 Они друг друга любят, вероятно...
 Так что же вместо радости за друга
 Какой-то червячок скребет на сердце?
 Неужто зависть Ентл овладела?
 Иль, может быть, совсем в другом тут дело?

Конечно, она ему нравится!
 Кого это удивит?
 Лишь только оң здесь появится —
 Она уж к нему бежит.
 Едва он подумать успел о жарком —

Она уже с блюдом, и мясо на нем.
 стакан еще полон — она подливает.
 Как будто сам Бог ему ждать
 возбраняет!
 Он только подумал о пользе тепла —
 Она уж полено в камин принесла.
 Любое желанье она выполняет.
 Хлопот, беспокойства он с нею не знает.
 А то, что прелестна она и бела —
 Какой же еще она стать бы могла?
 Проблема с утра перед нею одна:
 Что нынче надеть, вычисляет она.
 То ль блузку ей выбрать, то ль кофточку
 взять?
 Да волосы надо еще причесать...
 А в кухне — цыпленок, и надо
 решить:
 «Печь — или не печь? Вот вопрос!»
 Иль тушить?
 Томаты? Картофель? Да, много
 проблем...
 Не жизнь — идеал! Это нравится всем.
 Непрочь ты, как видно, чтоб перед тобой
 Все льстили и прыгали наперебой.
 Ты с нею и сам на нее стал похож.
 Она недостойна тебя? Это ложь!
 И я не вижу причины
 Лезть не в свои дела.
 Была бы и я мужчиной —
 Я б, верно, такой же была.





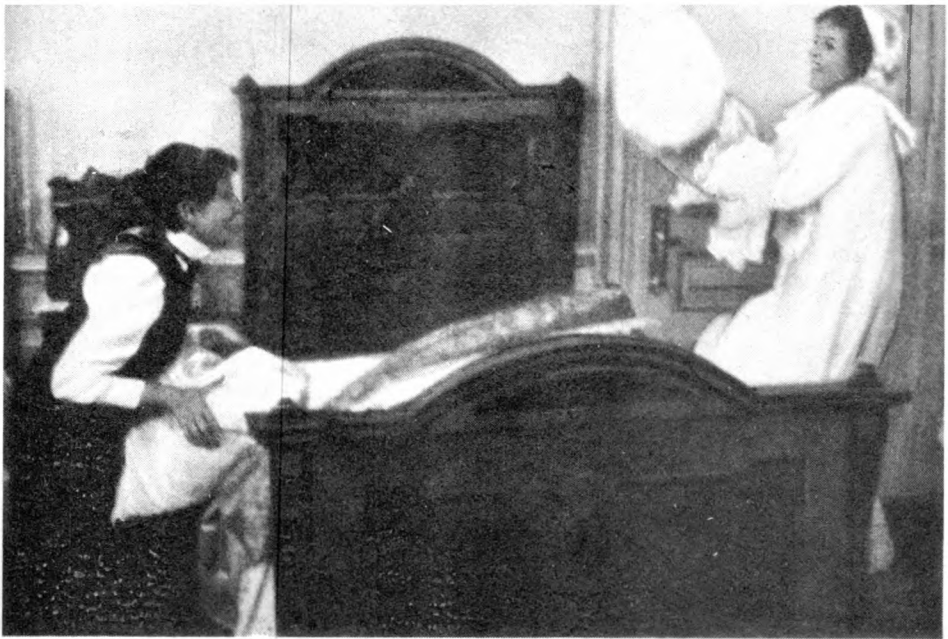
И все же — неужто я впрямь доживу
Увидеть подобный афронт наяву?
Я — поезд, который к пропасти мчится,
Не успевая остановиться.
Я — с гор лавина, я вниз лечу
И удержаться напрасно хочу.
О, завтра, ужели завтра...
Молитесь, прошу, за меня!
Но не молитвы завтра,
Видно, услышу я...
Да, завтра, и делать нечего...
Нет — уж СЕГОДНЯ вечером!!!

Итак, немислимое совершилось —
Женили Ентл. Была роскошной свадьба.
Вот молодых уж в спальню отвели,
Оставили одних Хадасс и Ентл.
Жена влюбленно смотрит на нее,
Она ж ей говорит: «Пойми, Хадасс,
Я беден был. Хотел учиться страстно,
И, наконец, сбылись мои желанья.
И я обет дал Богу, что три года
Не буду женщин знать. Одно ученье
Моей любовью будет. Год еще
Обет я должен соблюдать. Напрасно
Отцу и матери твоим я стал бы
Все это объяснять — но ты поймешь». —
«Конечно, милый, все я понимаю
И буду ждать так долго, как ты скажешь, —
Ответила прелестная Хадасс, —
Родителям мы ничего не скажем,

То будет наш секрет, не правда ль, милый?»
И это так детей развеселило —
Детьми они еще ведь были обе, —
Что начали они тут хохотать.
Хадасс, как видно, подучил бесенок:
Она, от смеха корчась, из буфета
Кроваво-красное вино в бокале
Несет — и льет его на простыню...
Тем временем почтеннейшая теща
В сопровожденьи нескольких товаров
На цыпочках к их двери подошла
Проверить, как ночь брачная проходит.
И что же слышит из-за двери? Хохот!
Да как хохочут — просто до упаду!
Матроны с удивленьем отошли,
Недоуменно головой качая.

...Итак, жената Ентл. Родители довольны.
Они простили даже Авигдора,
Поскольку он ведь больше не жених,
И пострадал он в общем-то безвинно, —
И пригласили в гости на обед.
Все чувства в Ентл снова всколыхнулись,
И ревность, и любовь ее проснулись.

О, хоть бы кто на меня посмотрел!
О, хоть бы кто меня пожалел.
Хоть одна бы душа узнала,
Что чувств полна я и ласковых слов,
Которые людям диктует любовь,
И сдерживать их я устала.



Я думала, знаю я каждый взгляд,
Все выраженья его лица,
Но хоть изучала их все я подряд,
Да, видно, не до конца.
Теперь я узнала, как может любовь
Два глаза так захватить:
Смотрите, как смотрит он на нее,
Могу ли я это забыть?
Смотрели ль глаза мои так на него,
Чтоб чувство мое открыт?
Мне кажется — всем все известно давно,
Но пусть это бред или сон —
Мечтаю, а вдруг мне дожить суждено,
Что солнце заглянет в мое окно,
И мне улыбнется он.
Дожить бы мне только до этого дня —
Тогда посмотрите вы все на меня!

Проходят дни. И видит ясно Энтл,
Как о Хадасс превратно полагала.
Чем дольше с ней живет, тем больше видит
Ее достоинства и ум. Однажды
Хадасс к ней обратилась: «Муж любимый!
И я хочу учиться всем наукам,
Хочу учиться я давно и страстно.
Но не было возможности. Отец
Не допускает этого. Но ты —
Ты самый умный, все на свете знаешь,
И я теперь твоя жена. Давай же,
Учить меня ты будешь постепенно
Всему, что знаешь сам. А я, клянусь,
Трудолюбивой буду ученицей».
У Энтл слезы к горлу подступили:

«Как я могла о ней так думать плохо!
И как могу обманывать ее!»
С трудом она промямлила согласие,
И вот уж каждый день идут занятия.
Хадасс же, нежной прелести полна,
Терзает сердце ей, сама того не зная.
В ней совести проснулись угрызенья:
Не может длиться это положенье!

Дожить довелось мне до трудного дня:
Смотрите, как смотрит она на меня!
Я так не умею смотреть.
Полна она чувств и ласковых слов,
Которые людям диктует любовь,
Но мне-то куда их деть!
Во всех умных книгах хотела бы я
Найти то, чему она учит меня,
Но этого в книгах никто не найдет.
Мудрей и добрей я попробую стать,
И все же никогда не смогу я ей дать,
Чего от меня она ждет.
Я в тень уж совсем превратилась,
Но тени уже не ищу.
И что бы теперь ни случилось —
Я больше так жить не хочу.
Но Солнце, боюсь я, может
Тайны мои разгадать.
Луна мне теперь дороже,
Она мне одна поможет
С чувствами совладать.
И что бы теперь ни случилось —
Я больше так жить не хочу.
В себе я все раньше носила —



Теперь уж не промолчу.
Я скоро его увижу,
Я все открою ему.
Пусть он подойдет поближе,
Поймет всю любовь мою.
Голос, что я в себе слышу,
Становится все сильнее.
Грудь моя глубже дышит,
Заря горит все светлей.
И что бы потом ни случилось —
Я больше так жить не хочу.
Все окна и двери раскрылись,
Обман и зло удалились,
Я больше их не впущу.

Ентл мысленно прощается с Хадасс.

Узнав ее, она мудрей и лучше
Сегодня стала. Нежность и любовь
Навеки с ней ее соединили,
И вот какие мысли ей внушили:
И матерью будет она, и сестрой,
Возлюбленной будет, любимой женой...
Да, чудо она из чудес.
Любой будет рад добиваться ее.
Зачем же ОН должен лишаться ее?
Нет, пусть будут счастливы здесь.
Она и ласкова, и нежна,
Она и Женщина, и Жена...
О, Боже!..
Я — тоже...

Нелегкие, однако ж, проблемы:
Как прекратить ей это положенье,
При этом никого не погубив?
А между тем достойный Авигдор
Училище уже успел окончить.
Какое-то свое открыл он дело.
По-прежнему считает Ентл братом
И рад его семейному он счастью,
Хоть сам пока еще он не женился.
Вот раз он по делам своим торговым
В соседний город дня на три собрался,
И Аншел напросился ехать с ним,
Чтоб, мол, ему проветриться немного,
На самом деле же — чтоб без помех
С ним объясниться и открыть всю правду.
И вот они отправились вдвоем.
Но мысль о предстоящем объясненье
Приводит Ентл в полное смятенье.
«Друг Авигдор! С тобой иметь я должен
Секретный разговор, весьма серьезный».
Тот, улыбаясь, говорит: «Вот как?
Ну что ж. Покончу нынче я с делами,

А ты пока по городу пройдишь,
А к вечеру в гостинице сойдемся,
Там и поведаешь мне свой секрет.
Воображаю — пустяки, должно быть».
Как день прошел — не в силах вспомнить
Ентл.

Ты прав. Как только в городе узнают,
Кем вправду был ее законный муж —
Останется надеть ей только петлю,
И мать, боюсь, убьет такая весть.
Один лишь ты поправить можешь дело.
Все знают — ты ее был женихом,
И в городе тебя все уважают.
Быть мужем женщина никак не может,
И, значит, недействителен наш брак,
И девушка по-прежнему Хадасс.
Она тебя любила, ты — ее,
Полюбите вы с ней друг друга снова.
Родители тебя уж не отвергнут.
Как раньше,— им теперь не до капризов.
Я знаю, счастлив будет с ней ваш брак.
Дай Бог вам счастья и детей в придачу.
Прощай же, дорогой... прости — я плачу».
«Но как же, Аншел...» — «Нет, теперь уж —
Ентл».—
«Ты, как всегда, права... Куда же ты
Направишься теперь?!» — «О, далеко.
Я напишу — когда минует время.
Теперь же — поцелуй меня — прощай,
И обо мне без грусти вспоминай».

Итак, продолжен путь ее. Вперед!
Теперь ей предстоит за океаном
Искать свою судьбу. На пароходе,
На палубе, в толпе переселенцев,
Мы видим девушку. Она стоит,
Все прошлое свое припоминая,
И продолжает разговор с отцом,
И знает, что ее окрепли крылья,
И что взлететь ей можно без усилья.

Это все началось давно,
В день, когда, поглядев в окно,
Я неожиданно поняла,
Что видеть я из него могла.
Лишь маленький синего неба кусок,
И я шагнула тогда за порог
И огляделась вокруг.
Не думала я, что мир так широк,
И вполовину высок.
Время прошло, и время пришло
(Папа, ты слышишь, родной?)
Услышать, как засвистит крыло.

(Папа, ты рядом со мной?)
И даже если в любой момент
Могу я сверху упасть —
Со мною то, чего лучше нет,
Чего умом не понять.
Конечно, спокойнее быть внизу,
(Папа, ты видишь меня?) —
Зато я там грудью встречу грозу,
Увижу сиянье дня.
Не так уж важно, куда я лечу.
Я память о прошлом туда захвачу,
Она поддержит меня.
Но там найду я новую жизнь,
Новых вопросов рой,
И новые, дальние рубежи
Откроются предо мной.
...Но где ж ты, тот, единственный мой!
Я верю — ко мне обернешься ты,
И все, что имеешь, разделишь со мной,
И я подарю тебе все мечты!..
Чем больше живу я — тем больше учусь,
И тем утверждать я все тверже берусь,
Что я все яснее знаю,
Как мало еще я знаю.
И с каждой страницей, что я прочитала
(О папа, теперь я свой голос имею!),
И с каждой милей, что я прошагала
(О папа, теперь я свой выбор имею!),
Я вижу яснее, как много пути
Еще непременно придется пройти,
Но нужно стремиться вперед!
И если летать ты умеешь — лети!
Со всем, что я знаю и что меня ждет,
Тот неба кусочек над крышей
Зовет меня выше и выше.
О, папа, я вижу тебя, наконец!
О, папа, я слышу тебя, наконец!
О, папа, тебя я коснуться хочу!
Смотри же, о папа, смотри — я лечу!

Порукой все, что здесь для вас звучало,
В том, что конец — лишь новое начало.

Авторизованный перевод
Гив Лахути

СЕМЕН ФРЕЙЛИХ



ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПАРАДОКСЫ

Сеть кино и телевидения ныне представляет собой нервную систему человечества.

Дж. Янгбланд

Мы приняли другую веру, водрузив вместо сверженных крестов телеантенны на крышах наших домов.

В. Шкловский

О ЖАНРЕ ДНЕВНИКА

Более четверти века я записывал впечатления о телевизионных передачах, а когда стали появляться книги о ТВ, набрасывал для себя маленькие рецензии на них. Это были заметки субъективного свойства, и я не давал себе отчета, для чего это делаю, как в свое время, не отдавая себе в том отчета, начал — это было 22 июня 1941 года — импульсивно заносить в записную книжку военные впечатления. Видимо, в этом была скрытая необходимость, поскольку, поступая так, я в известной мере рисковал: на фронте категорически запрещалось вести дневники по той причине, как нам объяснили, что дневники

эти могли попасть в руки противника. Но я думаю, что дело было не в том: наедине с дневником человек остается независимым в своих суждениях, дневник — это своеобразный са:издат. Идеологи же боялись неформальных суждений, и по этой же причине, тогда же, с началом войны, конфисковали у мирного населения приемники, чтобы все слушали только сообщения «Совинформбюро».

В дневнике человек соотносит себя с событиями, которые он предчувствует как историю. Дневник — это и исповедь, и проповедь. На его страницах человек ни от кого ничего не требует и никому ничего не должен. Дневник — это свобода творчества, невозможная в обществе, поскольку общество есть система, и оно требует от человека системного изложения его идей. Дневник свободен от системы, свободен от структуры. Идея в нем живет как самовыражение человека. Конечно, система необходима и прежде всего необходима науке, но человек отчуждается системой в пользу общих понятий. В то же время мы знаем немало случаев, когда сами по себе дневники становились трактатами. Таковы «Гамбургская драматургия» Лессинга, «Разговоры с Гете» Эккермана, к такому типу сочинений можно отнести «Письма русского путешественника» Карамзина, «Сентиментальное путешествие» Стерна, «Дневник Стеллы» Свифта, «Дневник лишнего человека» Тургенева, «Остров Сахалин» Чехова. Вот какими примерами вдохновлялся автор, намереваясь теоретическую статью о телевидении изложить в форме дневника. Вижу, вижу ухмылку на лице доброжелателей — забыл ты, друг сердешный, разговорку древних: что, мол, дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Но почему, собственно, нам не учиться у великих, разве не для себя они творили, разве не нам мостили дорогу к знаниям? Телевидение дело новое, теория его еще не написана, не хватает еще идей и фактов, чтобы изложить тему системно, даю именно дневник, чтобы не спугнуть истинность первых впечатлений.

Я не заметил, как записи составили целую книгу — в этой первой журнальной публикации отобраны моменты соприкосновения мастеров кино с телевидением.

Сергей Эйзенштейн

Эйзенштейн в телевидении предугадывал то, что стремился осуществить в кино. В 1946 году он записывает:

«И вот перед нами как реальность стоит живая жизнь в чуже телевидения, уже готовая взорвать его не до конца освоенное и осознанное опытом немного и звукового кинематографа. Там (кино) монтаж был лишь более или менее совершенным следом реального хода восприятия событий в творческом преломлении сквозь сознание и чувства художника.

А здесь он станет самым непосредственным ходом в момент свершения этого процесса.

Произойдет поразительный стык двух крайностей.

И первое звено в цепи развивающихся форм лицедейства — актер-лицедей, в непосредственности переживания передающий зрителю содержание своих мыслей и чувств, протянет руку носителю высших форм будущего лицедейства — киномагу телевидения, который, быстрый, как бросок глаза или вспышка мысли, будет, жонглируя размерами объективов и точками кинокамер, прямо и непосредственно пересылать миллионам слушателей и зрителей свою художественную интерпретацию события в неповторимый момент самого свершения его, в момент первой и бесконечно волнующей встречи с ним.

Разве это не вероятно?

Разве это не возможно?

Разве это не осуществимо в эпоху, которая посредством радара уже подслушивает полет эха с Луны и посылает самолеты со скоростью звука за пределы голубого купола нашей атмосферы?

...Об этом нужно говорить и твердить неустанно. Ибо здесь не только неумение или недостаток порыва.

Здесь часто поражает консерватизм, косность, своеобразный эстетический «эскапизм» перед лицом новых и небывалых проблем, которые ставят перед нами обгоняющие друг друга новые этапы технического развития кинематографа.

Не надо бояться наступления этой новой эры.

Еще меньше — смеяться ей в лицо, как смеются дикари при виде зубной щетки или как смеялись наши предки, забрасывая комьями грязи первые зонтики.

Надо готовить место в сознании для исхода новых тем и новых явлений техники, которые потребуют новой, небывалой эстетики».

Итак, телевидение начинается там, где останавливается кино. Оно начинается не после кино и не взамен его, а как бы выходит изнутри, взрывая его костенеющий опыт. Вспомним: не так ли точно писал Эйзенштейн и о театре, когда пытался поставить пьесу «Противогазы» С. Третьякова не на сцене в декорации, а в реальном цеху химического завода, где по ходу действия должен был произойти взрыв. «Театр провалился, — заметит потом Эйзенштейн, — и мы оказались в кино». Теперь кино «про-

валивается» в телевидение. Эта мысль исходит не из смены одного искусства другим, а из идеи стадийного развития искусств, когда каждое новое искусство, предъявляя свои границы, оставляет старым искусствам их предмет и их территорию, пусть и потесненную, поскольку прежние границы не остаются и не могут оставаться в неприкосновенности, и это только идет на пользу всем искусствам. Кино влило новую кровь в систему искусств. Теперь прилив эстетических идей, новые импульсы старые искусства получают с возникновением телевидения. То, что так мучительно решало кино, телевидение осуществляет легко и просто, как просто, непринужденно начинает дышать только что народившийся ребенок.

Это, во-первых, относится к синтезу звука и изображения. Поисками решения этой проблемы Эйзенштейн был озабочен постоянно — это видно и по его картинам, и по направлению его теоретических исследований.

Во-вторых, — к постижению тайны связи между мыслью и чувством, рацией и эмоцией. Эту проблему Эйзенштейн определил как «*grandproblem*» (основополагающая проблема) искусства, над ней он бился всю жизнь.

В-третьих, та и другая проблемы связаны с проблемой зрителя, поисков рычагов управления вниманием аудитории. Для Эйзенштейна психология творчества и психология восприятия — две стороны процесса, цель которого — контакт художника с реципиентом.

Монтажные идеи Льва Кулешова

Попал на третью серию телефильма «Приключения принца Флоризеля», где сын Председателя (Банионис) прибывает в Париж из далекой Америки. Как же дается Париж? По-кулешовски: пространство Парижа конструируется. Заставкой служит гравюра общего плана города, потом в хронике видим Эйфелеву башню, после нее Собор Парижской Богоматери, в следующем плане — молодого ковбоя, задравшего голову. Значит, он в нашем представлении как бы видит снизу знаменитый собор. Затем в кадре дана брусчатка, часть площади, снятая где-то в Риге, сцена смонтирована, и наше зрительское самочувствие не оскорблено обманом. То, что казалось чрезмерным в кулешовских монтажных экспериментах (Мозжухин — Белый дом в США — Мозжухин), то, что казалось

праздной игрой ума, было предчувствием телевидения, где единство пространства и времени достигается новыми техническими приемами, определяемыми иной эстетикой.

Телевидение получило новые импульсы для экранизации зарубежной литературы, здесь достигается натуральность в изображении человеческих фигур и среды приемами, недоступными для кино.

Дзига Вертов

Для Эйзенштейна, Кулешова, Вертова монтаж был идеей, философией нового искусства. Монтажом осуществлялось современное представление о связи пространства и времени, частного и исторического, человека и вселенной. Мир возникал в искусстве монтажа как цельное явление.

Эйзенштейн показал это на примере возможностей телевидения.

Из идей Вертова для практики телевидения важны сегодня такие творческие установки, как «жизнь врасплох» и «синхронность». В телевидении эти идеи обостряются, обнаруживается связь между ними. Синхронность, как это понимал Вертов, не имеет отношения к передачам, когда сидит человек и по бумаге читает то, что думает, или, в крайнем случае, говорит заученный текст. Под синхронностью Вертов понимал контакт сказанного слова с переживанием человека, оказавшегося в кадре. Сам Вертов однажды продемонстрировал это в интервью с бетонщицей Белик в фильме «Три песни о Ленине». Этот прием на телевидении становится принципом. Для его осуществления понадобился не диктор, а ведущий. Он как бы заряжен тем, что скажет нам сейчас. Не сообщит, а именно скажет с личным отношением к сказанному. Возникает синхронность переживания зрителя и ведущего, застигнутого нас врасплох.

Рене Клер

Французский мастер относится к телевидению настороженно:

«Есть опасения, что телевидение заразится теми детскими болезнями, которыми страдало немое и звуковое кино. Вспомним эпоху «Певца джаза» и восторг некоторых энтузиастов, всегда готовых разбивать себе лбы во имя чего-нибудь нового. Тогда казалось, что все, что лет достигли за предыдущие тридцать лет, богатые потрясающими изобретениями и открытиями, должно быть выброшено за борт, потому только, что звук

выходил из громкоговорителя точно в тот момент, когда открывался рот Ола Джолсона. Мы знаем продолжение этой истории, и достаточно вновь посмотреть «Нетерпимость», «Пилигрима» или «Алчность», как сразу же станет ясно, что главное в кино появилось до 1927 года, и если обращать внимание на суть, а не на форму, то мы должны признаться, что успехи, сделанные за последующий период — несущественны».

Поясним, о чем идет речь. Когда в конце 20-х годов стали появляться звуковые картины и с экрана заговорил человек, прежде всего стали снимать певцов («звук выходил точно в тот момент, когда открывался рот Ола Джолсона»), но такое направление противоречило кино, которое, как заметил Эйзенштейн, писало себе музыку пластикой и монтажом. Теперь, казалось, говорящее кино отводило монтажу подсобную роль. Тревогу такого рода выражал не только Рене Клер, но и Чаплин, у нас писали об этом Шкловский, а также Пудовкин, выдвинувший идею асинхронности как принцип звукового кино. Для того чтобы примирить звучащее слово и изображение, писал Пудовкин, не надо показывать говорящего человека, лучше снять так — персонаж говорит, а видим того, к кому он обращается. Идея асинхронности была промежуточным моментом на пути синхронизации звучащего слова и изображения, но на пути к синтезу мастера немного кино набили себе немало шишек о стену говорящего кино, немало утрат понес великий немой, пройдя через этап компромиссов, не всегда разумных. Наученный историческим опытом, Рене Клер буквально те же слова предостережения обращает теперь уже в связи с вторжением телевидения: «Опасность происходит от того самого желания все выбросить за борт, которое после говорящего кино грозило погубить кинематографическое искусство. Этой опасности не существовало бы, если бы «прямое» телевидение достигло бы той степени технического совершенства и располагало бы теми же возможностями, что и кино. Пока этого нет, и возможно, никогда не будет».

Но нужно ли, чтобы «телевидение располагало теми же возможностями, что и кино»? Здесь Клер впадает в противоречие, весьма характерное для времени, когда эти высказывания были сделаны. С одной стороны, кинематографист видит преимущества ТВ в прямом показе текущих событий. С другой стороны, признавая ТВ как принципиально новый способ информации, он не видит в нем способности по-своему «сочинять» зрелища. Клер признает телевидение

лишь в эстетических границах кино: «Если между театром и кино есть глубокая разница, то ее нет, на мой взгляд, между кино и телевидением. Из того, что нам до сего дня показывали по телевизору, нет ничего, чего нельзя было бы показать на киноэкране».

Высказывания Рене Клера относятся к концу 40-х — началу 50-х годов, у нас эта точка зрения была распространена в 60-е годы. Ее выражали люди самых разных кинематографических профессий: кинорежиссер Сергей Юткевич, оператор Анатолий Головня, критики Ростислав Юренев и Михаил Блейман.

Тогда же, помнится, аспирантке, сдающей кандидатский минимум, занизили оценку за то, что назвала ТВ не только новым способом информации, но и новым искусством.

Сергей Юткевич

Нетрудно заметить, что именно люди, посвятившие свою жизнь безраздельно кино, так часто принимали телевидение если не в штыки, то по крайней мере с большой подозрительностью.

В высказываниях Сергея Иосифовича Юткевича сквозит обида на телевидение за пренебрежение к достижениям кино: «...вряд ли стоит теоретикам телевизионной специфики так поспешно и пренебрежительно отвергать богатое эстетическое наследие своего старшего собрата».

На вопрос интервьюеров, в чем режиссер видит специфику телевидения, тот отвечает: «Сознаюсь, я не питаю к нему особой приязни как к искусству и не думаю, что это объясняется какой-то моей заскорузлостью или старомодностью. Просто мне кажется несколько преждевременными попытки установить непреложные законы эстетики телевидения... Конечно, репортаж, непосредственная передача события — для этого нет ничего лучше телевидения, но когда срочно изготавливаются теории о том, что на сегодняшний день телевидение уже обладает теми отличительными свойствами, которые позволяют говорить о нем как особом виде искусства, пришедшем на смену и театру, и кинематографу, и литературе, то тут я начинаю, естественно, внутренне протестовать».

Для подкрепления своих суждений Юткевич привлекает такие авторитеты, как Голдвар и Феллини. Их высказывания о телевидении в те годы отличались от суждений, к которым они пришли впоследствии.

Однако посмотрим на конкретном примере, почему Юткевич отказывает телевидению

нию в праве первооткрывательства. Он не считает, что именно телевидение открыло возможности непосредственного общения актера со зрителем. Режиссер вспоминает американскую многосерийную картину «Кожаные перчатки», где вторую главную роль играл менеджер — советчик и учитель боксера, который все время обращался (путем надписей) к зрительному залу, разговаривая доверительно с публикой. Но такие примеры не могут опровергать приоритет телевидения. То, что в немом кино было приемом, в телевидении стало принципом, можно даже сказать — методом. Что бы в теоретическом плане ни говорил С. И. Юткевич, практическое влияние телевидения на кино оказалось огромным, в том числе и на самого Юткевича. Внутренний монолог в картине «Ленин в Польше» есть не что иное, как прямое общение со зрителем, и это не прием, а принцип, на котором построена картина.

Жан-Люк Годар и Роберто Росселлини

Одновременно ушли из кино на телевидение итальянец Роберто Росселлини и француз Жан-Люк Годар.

Еще недавно Сергей Юткевич цитировал Годара как противника телевидения, в частности, приводил такое его высказывание: «Телевидение — это не средство выражения. Доказательством служит то, что чем более оно идиотично, тем больше людей застывают перед ним как замороженные на своих стульях. Сейчас оно таково, это телевидение, и можно лишь надеяться, что оно когда-нибудь изменится. Ужасно в нем и то, что как только начинаешь его смотреть, то уже не в силах от него избавиться. Надо просто не смотреть.

Итак, нужно считать его не средством выражения, а лишь способом передачи. Надо брать его таким, как оно есть».

Юткевич, с одной стороны, берет Годара себе в единомышленники, и в то же время, столь резкое суждение считает «циничным». Он замечает, что в своих картинах Годар «применяет стилизацию под телевидение». Такого рода перепады в отношении телевидения весьма характерны, и прежде всего это показал Годар. То самое «циничное» высказывание о телевидении относится к 1964 году («Кайе дю синема», № 159), но вот прошло немногим более десяти лет, и Годар, разочаровавшись в художественном игровом кино, бежит из мира игры в мир фактов. Он берет видеокамеру и записывает

беседы со сварщиком, железнодорожником, уборщицей, молодой супружеской парой, по объявлению к нему приходили безработные, за беседу он платил им деньги. Пренебрегая кинематографической формой, Годар отказывается от монтажа, ликвидирова барьер между зрителем и камерой. Он нарушает то, что так хорошо знал: законы игрового повествования, в кадре он сам присутствует как собеседник или слышен его голос.

Уход 60-летнего Роберто Росселлини на телевидение мы тоже восприняли как сенсацию, как бунт против кино. Программно заявив, что «кино является познанием», Росселлини находит, что эти функции искусства лучше осуществимы на телевидении. Он ставит здесь цикл просветительных фильмов о философах, политиках, святых, один из них посвящен Сократу, другой, «Мессия», — жизни и деяниям Христа. И опять-таки, мы очень плохо знаем этот важнейший этап творчества режиссера, как бы нетипичного для создателя антифашистского фильма «Рим — открытый город», с которого начинается итальянский неореализм. Опять предвзятость, поскольку религиозные искания мы заведомо относим к заблуждениям. Вспомним отношение у нас к богостроительству и богоискательству Н. Богданова и А. Луначарского. Может быть, поэтому не была реализована программа просветительных фильмов, разработанная еще в 1919 году Луначарским, Горьким и Блоком. Центральной темой там была — история религии. Программа имела культурологический уклон. Заниматься историей религии — не значит обязательно покидать почву атеизма. Антониони недавно заявил о своем намерении поставить фильм о религии, но увиденной глазами атеиста.

5 апреля 1976 г.

Фридрих Эрмлер

Приезд в Москву бывшего монархиста и крупного русского государственного деятеля белоэмигранта Василия Витальевича Шульгина Фридрих Эрмлер использовал для съемок фильма. Картина построена на интервью с Шульгиным, его воспоминаниях о прошлом, а также на дискуссии с ним Историка.

И что же получается? Перед нами две фигуры: Шульгин и Историк. Историка играет актер. Первый живет, второй играет. Первый трагичен: поразительный кадр, когда Шульгин, вспоминая о прошлом, закрывает лицо руками, которые медленно прибли-

жаются к его глазам. Огромной силы кинопортрет. Перед нами возникает образ отчаяния человека, чувствующего свою вину перед историей.

Для второго аналогичный способ передачи его внутреннего состояния невозможен, это было бы нарочито, потому что он, Историк, есть олицетворение официозного толкования истории. Шульгин создает вокруг себя трагическую атмосферу. Историк — атмосфера логики и назидательности. Первый обнаруживает характер, через него мы познаем противоречия истории, отчего сам он поднимается до значения типа. Второй — пересказывает нам ее содержание в объеме учебника, который мы можем сами прочесть. Так между этими двумя фигурами создается непреодолимая граница.

В фильме «Перед судом истории» Эрмлер как бы предчувствовал возможность телевизионного действия. В самом деле, на экране Историк не обязательно должен был быть действующим лицом, равноценным в драматургическом отношении Шульгину. ТВ не боится чисто иллюстрированных сцен и персонажей. Нашу мысль хорошо поясняет итальянский телевизионный фильм «Жизнь Леонардо да Винчи» в постановке Ренато Кастеллани. Два человека проходят через всю картину: герой и автор. Первый является персонажем, второй — лишь рассказчиком, которого можно назвать и Историком. Они часто присутствуют в одном кадре, и хотя актеры, естественно, играют в разной манере, это не разрушает действия, поскольку не требуется их взаимодействие: историк рассказывает о Леонардо, комментирует его поступки и смысл его произведений, Леонардо же не знает о его существовании. Прием такого рода, более характерный для театра, чем для кино (вспомним «Воскресение» во МХАТе с ведущим Качаловым или пьесу Вс. Вишневского «Оптимистическая трагедия» с двумя ведущими), на ТВ становится принципом.

Чезаре Дзаваттини

Побывал в Москве Чезаре Дзаваттини, дважды я участвовал в беседе с ним. Записи разговоров почти четверть века кочевали из папки в папку, но настало их время именно сейчас, когда идет разговор о телевидении.

То, что произошло с самим Дзаваттини, напоминает случившееся с Годаром и Росселлини. Приведу фрагмент, который я теперь воспринимаю как наиболее существенный в той беседе:

— Кинематографисты ощущают невозможность прямого воздействия кинемато-

графа на общественное мнение и поэтому ищут феномены. Может быть, это моя личная интерпретация современного состояния нашего кино. Мы сейчас пытаемся найти новое течение — передать кинематограф из рук частных промышленников в руки отдельных лиц, которые будут издавать свободные киногазеты.

Теперь я прошу читателя в дальнейшем размышлении Дзаваттини слово «киногазета» заменять «телевидение», и мы убедимся, что в то же самое время, когда соотечественник его Росселлини, ушёл из кино, аналогичная проблема встала перед Дзаваттини, что же касается «киногазеты», то чтоб было понятнее его намерение, не следует понимать «киногазету» как газету, на которую наносится шрифтовой текст, посвященный кино, и которую столько лет мечтают заполучить советские кинематографисты, под «киногазетой» собеседник имел в виду прямое кино в духе видеофильмов Годара.

— Часто хожу в кино, — продолжал Дзаваттини, — и вижу фильмы разных стран. Наша кинопромышленность впитала приемы, идеи, направленность Голливуда. Наше кино не развивается. Конечно, и у нас есть фильмы разной ценности, но в нашей стране кинематограф перестал быть явлением общественным. Он стал метафорическим. Это последствие изменений в политической обстановке. Кинематограф 45-го года имел прямую зависимость с жизнью, с задачами промышленности. Сейчас люди идут в кино, чтобы принимать образ жизни, созданный буржуазией. У нас реставрировалась концепция развлекательного кино. Потеряно ощущение, что камера — это человек. И наша надежда в том, чтобы дать камеру в руки людей. В каждом селении надо создать киногазету. Это будет кинематограф многих для многих, он позволит выйти из рамок кинопромышленности, диктующей художникам свои требования. Так мы хотим возродить дух сопотривления, дух неореализма. Киногазеты будут освобождены от принятых приемов, их заменит свободная хроника, увиденная свежими глазами и проанализированная автором из народа. Где-то это будет наивно, где-то гениально. Должен быть обмен между фильмами, которые сняли. Так состоится диалог между различными частями моей страны. В работу съемочных групп может быть включена вся интеллигенция. Каждому есть что сказать другим. Это может быть и коротко, и длинно. Поэту понадобится меньше пленки, прозаику — больше. Наша задача таким образом активизировать всех — и рабочих, и служащих. Такое творчество освободит нас от форм, выработанных в Голливуде.

Вопрос: Но как эти фильмы дойдут до зрителя?

Ответ: Будет центр, который будет координировать передачу фильмов из одного селения в другое.

И еще несколько моментов из сказанного Дзаваттини:

— Я, к сожалению, сценарист, то есть я тот, кто любит женщину через третье лицо. Так сложилась жизнь. У меня никогда не было смелости взять в руки камеру. И вот в 65 лет я на это решился. Любительская камера, как листок бумаги, который позволяет поэту сказать очень многое и тем самым внести вклад в развитие общества. Если нас ждет успех, то он будет подхватит и кинопромышленниками. Но главное — активизировать наше общество, заставить его задуматься над жизнью, заняться ее проблемами, восстановить коммуникации между людьми. Появятся разные таланты — сатирики, политики, моралисты, поэты, прозаики. Надо убедить множество людей, что они способны выразить себя камерой в современном мире. Между фильмами большие перерывы. Современные инъекции этого не допускают.

Вопрос: Что вы думаете о Беллокио?

Ответ: Восхищаюсь фильмами молодых, но считаю, что они должны перестать говорить в третьем лице, должно звучать их «я».

5 декабря 1967 г.

Чарли Чаплин

В книге «Моя биография» Чаплин пишет: «Друзья нередко спрашивают меня, скучаю ли по Соединенным Штатам, по Нью-Йорку. Откровенно говоря — нет. Америка очень изменилась, а вместе с ней и Нью-Йорк. Гигантский размах промышленности, печати, телевидения и коммерческой рекламы сделал для меня неприемлемым американский образ жизни...»

Отношение Чаплина к телевидению наглядно демонстрируют три саркастические сцены в фильме «Король в Нью-Йорке».

У короля-изгнанника берут интервью в ванной, а скрытая камера показывает его прямой передачей в эфир.

Потом аналогичная провокация устраивается во время банкета. Короля просят в узком кругу прочитать знаменитый монолог Гамлета, он это делает чистосердечно и, конечно, смешон в этой роли, при этом его снова обманывают — скрытая камера ведет прямую передачу.

В конце концов король участвует в передаче уже сознательно, оставшись без

средств, он соглашается за 50 тысяч долларов рекламировать новый сорт вина, выпив бокал, он улыбается и, как было оговорено, произносит в камеру «ням-ням».

Было бы опрометчиво, если бы на основании этих трех сцен мы бы пытались исчерпать тему «Чаплин и телевидение». Коснись мы этой темы, следовало бы вспомнить и такие картины, как «Диктатор» и «Мсье Верду». В каждой из них Чаплин сам провоцирует героя на прямую речь. В каждом случае это происходит в финале, действие как бы размыкается, кончается игра, актер выходит из образа и по типу телевизионной передачи «Прошу слова» обращается прямо к зрителям по поводу событий, которые только что были изображены.

Михаил Ромм

Телевидение выдвинуло два начала: сказчика и плоскостную композицию.

Первое проявилось в многосерийном фильме, которому необходимо рассказывающее действие.

Второе — в новом соотношении между глубинным и первым планом, между внутрикадровым и закадровым действием.

Телевидение воздействовало здесь на природу киноискусства. Те, кто не уловил перемены, остались за чертой «дедушкиного кино». Кризис, который в этот период пережил Ромм, связан с переходом от глубокой мизансцены к плоскостной, что так очевидно в картине «Девять дней одного года».

Рассказчик на первый план выступает у него в «Обыкновенном фашизме». Картина стала кинематографическим явлением эпохи ТВ.

Есть у Ромма статья «Поглядим на дорожку». Кто-то прочел в ней отходную театру. Потом ошибочное суждение о статье много раз цитировалось. Но именно в этой статье находим следующие мысли о ТВ:

«Я не сомневаюсь, что в ближайшие десятилетия телевизор займет прочное место в области духовной культуры человечества».

«Кинематограф родился на скрещении литературы, театра, живописи, музыки. Телевидение рождается на том же перекрестке этих родителей, оно впитывает опыт кинематографа, опыт радио и опыт газеты. Если мы называем кинематограф синтетическим искусством, то еще в большей мере это относится к телевидению. Вот уж поистине дитя всех областей культуры, и именно поэтому техническое развитие обгоняет его внутреннее развитие как искусство. Популярность телевидения идет впереди его подлинных достоинств, но будущее его огромно».

«...Я убежден, что постепенно разовьются новые формы телефильма или телеспектакля с широким использованием эффекта общения, с развитым авторским комментарием, с введением непосредственного прямого наблюдения жизни».

Введение непосредственного, прямого наблюдения жизни и развитый авторский комментарий — не на этом ли построен «Обыкновенный фашизм»? В той же статье Ромм пишет о принципиально новом значении телевизионного диктора, но разве сам он не стал такого рода диктором в «Обыкновенном фашизме»? Чем был голос режиссера для этой картины, показала следующая постановка «И все-таки я верю», которую досняли и озвучили его ученики: без голоса Ромма она лишилась личностного начала.

Голос художника — знамение времени, художник как бы легализует себя, современному восприятию не вредит появление его самого на экране. Только за последние годы в кадре появились Феллини («Рим»), Бергман («Волшебная флейта»), Трюффо («Американская ночь»). У нас — Михалков-Кончаловский («Романс о влюбленных»), Иоселиани («Пастораль»), Рязанов («С легким паром»). Появляясь в кадре, режиссер как бы ставит на картине подпись — сделано таким-то. Замысел может легализоваться через обнаженную конструкцию (у Мейерхольда), а в эпоху телевидения у Любимова в спектакле «Обмен» в действие включается работающий телевизор.

Виктор Шкловский

Расскажу о человеке, сказавшем такие слова: «Мы приняли другую веру, водрузив вместо сверженных крестов телеантенны на крыши наших домов».

Мне приходилось писать о рисунках Эйзенштейна, но уже позже увидел шарж Сергея Михайловича на Шкловского: огромная голова в виде аквариума, в ней плавают золотые рыбки, и сам хозяин удочкой вылавливает их.

Эйзенштейн знал цену идеям Шкловского, ему импонировал этот искрометный неуемный человек. Оба были людьми гениального поколения, разбуженного прокатившимися в России революционными штормами. Шкловский был старше Эйзенштейна на пять лет, и после того как Эйзенштейна умучили за «Ивана Грозного», прожил еще тридцать четыре года. Короче говоря, он прожил до 1917-го двадцать четыре года, а после 1953 — тридцать один год. Он участвовал в революции, мятежах, уходил за границу, возвращался. Я думаю, что его сох-

ранили, чтобы унижать. Величайший ум, он не стал ни академиком, ни членкором, ни доктором, ни даже кандидатом, хотя любая книга его сделала бы честь и академику. Ему не разрешали преподавать, я никогда не видел его во ВГИКе или на Высших сценарных курсах, это относится и к Литинституту. С ним как бы заключили негласное соглашение: мы за прошлое тебя больше не трогаем (а прошлое, ни больше ни меньше, как проклятая за формализм гениальная «теория острашения»), в настоящее не суйся. В начале 50-х годов заказать статью Шкловскому было почти невозможно, если разрешали — то в крайнем случае на локальную тему. В 52 году я с ним познакомился и как сотрудник журнала «Искусство кино», и заказал по разрешению главного редактора В. Н. Ждана (надо отдать должное Виталию Николаевичу — он смотрел на это сквозь пальцы) рецензию на фильм Константина Юдина «Борец и клоун». Увы, на Шкловского смотрели как на человека исчерпанного. В том же 1952 году на общемосковском собрании писателей А. Фадеев говорил о Шкловском: он распахал множество полей да так и стоит растерянный, не засеяв их.

Такова была официальная точка зрения. А между тем начинался новый этап вылавливания золотых рыбок. Выходит книга «Художественная проза. Размышления и разборы», которую Виктор Шкловский дарит мне с такой надписью: «Ура! Семену Израилевичу Фрейлиху с кино и лито любовью. Виктор Шкловский». Почему «Ура!»? Это был 1959 год. Шкловский этой книгой прорвал блокаду, ведь она писалась как раз тогда, когда руководитель Союза писателей его публично хоронил. А что означает «с кино и лито любовью»? Кино и литература были и оставались его страстью. Вслед за «Художественной прозой» вышли книги о кино «За сорок лет», «За 60 лет», монография об Эйзенштейне, дважды изданная и удостоенная Государственной премии СССР, а также книги о литературе — «Тетива. О несходстве сходного», «Жили-были», фундаментальная монография «Лев Толстой», вышедшая (также дважды) в серии «Жизнь замечательных людей». Шкловский был энциклопедист, художник и практик, он автор сценариев, по которым Лев Кулешов и Абрам Роом поставили фильмы, ставшие классикой советского кино.

Почему все-таки его считали путаником? Существуют предрассудки в понимании связи теории и практики. Касаясь этого вопроса, Шкловский цитирует письмо Толстого Н. Н. Страхову: «...все как будто готово

для того, чтобы писать — использовать свою семью, обязанности, а недостает толчка, веры в себя, важности дела, недостает энергии заблуждения, земной стихийной энергии, которую выдумать нельзя и нельзя начинать».

«Теория остранения» не была ошибкой, она была энергией заблуждения, она была энергией. Эта энергия питает мышление Шкловского, а мыслит он ассоциациями. Он видит связь между явлениями, которая от нас скрыта. Его сопоставления парадоксальны, изложение его строится по принципу монтажа немого кино.

Посмотрим, как издавлек он начинает разговор о телевидении:

«Когда-то давно, семьдесят лет назад, я выпустил в Петербурге первую свою книжку — «Воскрешение слова». Много я тогда не знал, потому что был молод и не мог, конечно, предвидеть».

«Воскрешение слова» — это и есть телевидение. Звучащее, живое слово, притиснутое толщей печатных томов, взмыло сначала вверх, потом переселилось на экран, а потом решило поискать себе собеседников поближе — в нашей же комнате».

По мысли писателя, техника рождает и возрождает забытое нашей культурой.

На самом склоне лет он выступает в телецикле «Жили-были».

Телевидение показало два коренных свойства: возрождалась забытая фигура рассказчика, а эффект присутствия состоял в том, что зритель оказывался свидетелем мышления как действия.

Этими монологами писатель откликнулся на собственный призыв: «Идти к миллионам».

В статье, так названной им, Шкловский говорит о власти телевидения над человеком. Метко замечает: в наши дни стих слова воспринимается больше слухом, чем зрением. Говорит наконец о телевизионном мышлении.

Способ Шкловского говорить, его речь — и есть телевизионное мышление. В представлении о монтажном принципе кино и телевидения Шкловский совпадает с Эйзенштейном, говорившим о возможном «стыке двух крайностей» — того, что происходит у человека в душе, с тем, что происходит в космосе. В этом ключе Шкловский, когда касается Достоевского, говорит: топор, которым Раскольников совершает убийство, и топор из бредового разговора Ивана Карамазова с чертом (здесь топор летает как спутник вокруг земли) оказываются — как он это видит — в стыке двух крайностей, и мы уже ощущаем огромное про-

странство Достоевского как пространство космоса.

Общаясь на ТВ с миллионами, Шкловский разговаривает как с загадочным другом.

Он говорил, что наука больше не должна прятаться в книги для немногих.

Вышло так, что заметки эти, выбранные места из рукописи книги о телевидении, я читал (уже в верстке), сидя перед «ящиком» — шла трансляция IX съезда народных депутатов. Там — буря человеческих страстей, здесь — заметки об эстетической природе ТВ. Буквально как у Светлова: «Пока Достоевский сидит в казино, Раскольников глушит старух». За пять дней телевизор просветил миллионы и миллионы людей сильнее, чем это могли бы сделать за несколько лет сотни вечерних университетов. Не назидательные лекции слушали мы, а проходили школу политической борьбы, готовясь к сражениям, которые, может быть, еще впереди. Телевизор оказался не передчиком, не информатором событий, а их организатором, хотим мы того или не хотим. Телевизор не только возмутитель спокойствия (какой покой, если иные наблюдали за съездовскими перипетиями с таблеткой валидола под языком), но и страж наших интересов: благодаря его бдению в зале заседаний не мог внезапно появиться какой-нибудь матрос Железняк и сказать такие, например, слова: «Караул устал...» Телевизор предвосхищает возможность переворота, коль безобидное появление на территории Кремля снегоочистительной техники становится поводом для запроса бдительного депутата, и вот уже министр внутренних дел дает объяснение присутствующим. Люди у микрофонов хотят произвести на нас хорошее впечатление, телевизор же прощечивает насквозь, каждый раз рекомендует, за кого впредь надо голосовать, а кого вычеркивать. Телевизор информирует не только о политике, но и судит о нравственности политиков, а там, где речь идет об этике, тотчас мы оказываемся в сфере эстетики... В результате подобных размышлений я решительно отбросил мысль о несовременности моих заметок: разве возвышенные и низменные страсти, свидетелями которых мы были в течение трех дней съезда, не прямо касаются искусства, так отчаянно смешавшего ныне высокие и низкие жанры? Сквозь призму происшедшего сегодня еще актуальнее звучат пророческие идеи наших мастеров кино.

2 апреля 1993 года

Александр Червинский

КАК ХОРОШО ПРОДАТЬ ХОРОШИЙ СЦЕНАРИЙ

1. Экранизации

Очевидный источник материала для вашей истории представляют собою готовые литературные формы; уже написанные романы, рассказы и пьесы. Использование готовых произведений представляет вам уже придуманный сюжет и дополнительные коммерческие перспективы, поскольку ваш сценарий будут сравнивать с опубликованной или поставленной в театре работой. Если вам кажется, что вы слабы в построении фабулы и, наоборот, сильны в способности вылепить сценарий из любого рассказа — тогда экранизация будет для вас очень хорошим началом.

Проблема в том, что экранизация романов, рассказов и пьес подразумевает приобретение на это юридического права у автора или издателя. Поэтому, если у вас нет кучи денег, воздержитесь от экранизации новой книжки Стефана Kinga. Но произведения прозы или драмы могут дать вам хороший материал, даже если они не стали бестселлером.

Литературный источник вовсе не обязательно должен обладать высокими литературными достоинствами. Поскольку вы используете его лишь как отправную точку, важно, чтобы вы имели материальную возможность на приобретение прав.

Вся карьера Альфреда Хичкока, например, основана на превращении малоизвестных произведений в знаменитые фильмы.

Есть определенные принципы, которые вам надо иметь в виду, если вы решили экранизировать роман, рассказ или пьесу:

ВЕЛИКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВО ВСЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО РОЖДАЕТ ВЕЛИКОЕ КИНО. Это урок, который кинематограф никак не может забыть. Качества, присущие хорошей литературе, вовсе не совпадают с качествами, определяющими хороший сценарий. Пренебрежение этим принципом привело к провалу многих фильмов, представлявших собой добросовестное изло-

жение весьма известных и восхваленных критиками романов и пьес.

Качества, приносящие успех книге, как правило, включают богатый, своеобразный язык, пространные внутренние размышления автора и персонажей, чувства и длинные описания, обширный, разветвленный сюжет и наличие всевозможных символов и аллегорий. Увы, ни одно из этих качеств не может быть показано на экране.

Как сценарист, вы можете использовать из литературного источника лишь две вещи: персонажей и фабулу. Используя их как отправную точку, вы можете написать сценарий, в отличие от «первоисточника», отвечающий всем необходимым для фильма критериям. (Вы ознакомьтесь с этими критериями по мере чтения книги.)

Ваш сценарий должен иметь не совпадающий с первоисточником, а собственный стиль, настроение и конструкцию. Не надейтесь, что если вам нравится какая-то книжка — зрителю обязательно понравится смотреть сделанный на ее основе фильм.

Вы должны быть преданнее вашему сценарию, чем первоисточнику. Если для успешного конструирования истории и характера вы столкнетесь с необходимостью сокращения каких-то частей первоисточника или даже полного отсутствия их в сценарии — смело идите на это. Причина неуспеха большинства экранизаций именно в желании все сохранить. Как ни странно, стремясь сохранить своеобразие источника, этим-то его и разрушают.

Конечно, вы можете столкнуться с яростью поклонников вашего первоисточника. Но не слишком этого опасайтесь — уже давно никто ничего не читает.

Будьте крайне осмотрительны, экранизируя свою собственную прозу или пьесу. Все учебники настоятельно не рекомендуют этого делать. Особенно если она еще не поставлена и не напечатана. Если вы сперва написали вашу историю как прозу или пьесу — значит в такой форме она вам видится и для вас это лучшая форма ее изложения. Если вы хотите написать сценарий — ищите другую идею, более подходящую для кино.

Обычно через пять страниц чтения видно, когда сценарий представляет собой экранизацию собственной прозы или пьесы автора. Пьесы становятся сценариями с «говорящими головами» и несколькими вставочками на пленэре, а экранизации прозы лишены конструкции, обычно присущей сценарию. Литература — это литература, а кино — это кино. Это разные вещи. И не забывайте об этом, экранизируя самого себя. Если вам уж очень хочется сделать и то, и другое — разработывайте для прозы и для сценария РАЗНЫЕ варианты истории!

Если вы нашли литературное произведение, которое вы хотите экранизировать, сразу свяжитесь с автором или издателем (или их представителем) и приступите к переговорам о праве на экранизацию. Успех переговоров будет зависеть от того, что вы предложите: деньги (в виде аванса и после окончания производства фильма), ваш талант и опыт, ваше отношение к первоисточнику.

2. Реальные события современности

Еще один источник сюжетов — реальные события современности. (Например, в сценарии «Вся президентская рать» использовано Уотергейтское дело.) Имеется в виду изображение исторических событий актерами и актрисами по написанному сценарию. Это не надо путать с документальным кино, когда события показываются так, как они есть, — не драматизируются, используя съемки на месте действия, фотографии, интервью, записи и т. д.

Экранизация реальных событий имеет много общего с экранизацией прозы или пьесы, по крайней мере они также требуют урегулирования юридических проблем с авторскими правами.

На этом пути также встречаются западни, и надо уметь их избегать. История вовсе не обязательно гарантирует интерес зрителя, если она основана на реальных событиях. Реальная жизнь редко укладывается в стройную и цельную концепцию фильма с определенной идеей или результатом. Чаще всего события реальной жизни текут себе и текут, развиваются и исчезают. Чаще, чем структурируются в некую закономерность. Хорошая конструкция вашего сюжета, как правило, не совпадает с тем, что происходило в реальности.

Реальная история, как правило, получается лучше в документальном кино или новостях, чем в художественном телефильме. Иногда при превращении прекрасного документального сюжета или статьи в журнал

в сценарий художественного фильма от них мало что остается.

И в этом случае вы должны быть преданнее своему сценарию, чем первоисточнику. Но при этом нельзя так далеко отклоняться в сторону, как это обычно бывает в случае экранизации прозы или пьесы. Вам, конечно, придется производить отбор действующих лиц и усиливать характеры, чтоб события воспринимались эмоциональнее, но нельзя жертвовать ощущением аутентичности и духа реального события.

При всех перечисленных сложностях — это весьма эффективный источник сюжетов, пригодный даже для начинающего сценариста. Поскольку большинство успешных фильмов, основанных на реальных событиях, вовсе не рассказывают о легендарных и известных фигурах, но, наоборот, повествуют о людях самых обычных, но поставленных обстоятельствами перед необходимостью проявить сильнейшие качества своей натуры, возможные источники историй, основанных на реальных событиях, бесчисленны.

Если вы используете такие источники и живете далеко от Голливуда — это ваш большой плюс. Все, что происходит в Лос Анжелесе, немедленно попадает на страницы Лос Анжелес Таймс и становится источником киносюжетов. Но если вы живете в Портланде, Орегоне (Москве, Туле, Крыжополе...), это дает вам большие преимущества, поскольку вы располагаете своими историями задолго до того, как они попадут в вечерние новости по каналам ВС.

Экранизация реальной истории подразумевает, что вы должны договориться с участниками событий о приобретении прав на экранизацию истории их жизни так же, как вы поступали бы в случае приобретения прав на литературное произведение.

Дополнительный коммерческий шанс при использовании реальных историй дает вам телевидение с его вечным интересом к документальной драме. Если ваш сценарий интересен сам по себе, то надпись «Основано на реальных событиях» обеспечит вам дополнительный коммерческий успех.

3. Исторические события

Вариантом использования реальных событий являются сюжеты, основанные на событиях исторических.

Кроме вышеперечисленных сложностей, полностью относящихся и к использованию исторических событий, исторические сюжеты имеют и свои особенности.

Когда главных действующих лиц нет в живых, нет нужды на приобретение прав

на историю. Большинство исторических событий, имевших место много лет назад, доступны широкой публике. Если возникают сомнения, поскольку кто-то из действующих лиц еще жив, настоятельно советуем для выяснения возможных проблем обратиться к юридической помощи.

Самая большая проблема, связанная с историческими сюжетами, — коммерческая. Такие сценарии очень трудно продать — и в кино, и на телевидение. Причина этого — высокая стоимость исторических фильмов и неуверенность продюсеров, что современный зритель будет способен соотнести происходящее с сегодняшней жизнью и современными характерами.

Использование в качестве исторического источника какой-то одной книги ведет к тем же трудностям, что и использование литературного произведения.

Лучшие и самые успешные исторические сценарии — это те, что основаны на сегодняшней современной идее, теме, проблеме, помещенной в другой исторический период.

Часто лучшее употребление исторических событий — это превращение их в отправную точку для свободного вымысла. Перед вами будут стоять те же финансовые трудности постановки, но у вас будет больше возможностей придать вашей истории лучшую структуру и больше апеллировать к современности («Амадеус»).

4. Заголовки

Заголовки новостей, краткие аннотации статей в газетах и журналах, радио и телевизионных новостей могут стать отличным трамплином для поисков ваших собственных замыслов. Помните, что на первоначальной стадии — стадии мозговой атаки — вы не ищите хорошие идеи, вам годятся любые идеи, как бы нелепы и далеки от дела они ни были. Все это лишь будит воображение и, может быть, когда-нибудь, приведет к чему-то стоящему.

Работая с заголовками и краткими аннотациями, вы не вникаете в факты и детали основного материала. Только слово, мысль, а дальше — полет вашего воображения. «Парень с каратэ» — прекрасный пример такого процесса. Продюсеру этого фильма Джерри Вайнтраубу попала в глаза газетная вырезка про школьника из Сан Фернандо Велли, который научился побеждать представивших к нему школьных хулиганов после того, как овладел наукой каратэ. Сценарий, выросший из этой газетной вырезки,

обогатился любовной линией, престарелым инструктором-японцем из Окинавы и пр. элементами, не имеющими ничего общего с реальной историей. Но газетная вырезка стимулировала воображение продюсера и привела к рождению идеи, а затем и сценария.

Еще эффективнее можно использовать заголовки, комбинируя пару топиков, не имеющих друг к другу никакого отношения. И в этом случае цель не в качестве этих топиков, не в том, чтобы сразу получить готовую великолепную идею, а в количестве идей, рождающихся в мозговой атаке, в том, чтобы через сумбурные сопоставления стимулировать и заставить работать ваше воображение.

Заголовок статьи, случайно прочитанной в Гонолулу местной газеты, гласит: «Женщины-водители автобусов угрожают забастовкой». И без чтения последующей статьи заголовок может направить ваше воображение разными путями и так далеко, как вы сами ему позволите. Вы можете представить себе психологический эффект, произведенный забастовкой на женщину-водителя экскурсионного автобуса и ее семью. Или вы можете вообразить себе комедию, изобретая невероятные варианты способов заработать, на которые пускается эта дама, чтоб поддержать свою семью во время забастовки. Или о том, как забастовка экономически и социально отразилась на детях забастовщицы.

В свою очередь это может натолкнуть вас на размышления о том, как вообще экономические трудности отражаются на судьбе детей — уже не имеющих никакого отношения к стачке водителей автобусов. Или вы можете взглянуть на эту забастовку с точки зрения руководства компании, или туристов, или музея, который является одной из точек экскурсионного маршрута. Ваша единственная цель — отпустить на волю ваше воображение, и чем дальше вы уйдете от первоисточника — тем лучше!

В той же газете, случайно прочитанной в Гонолулу (или между станциями метро «Теплый стан» и «Новые Черемушки»), можно найти неплохой пример комбинирования двух заголовков. В тот же день, когда собрались бастовать водители туристических автобусов, другой заголовок гласил: «Кришнаитам предъявили иск на 1 миллион долларов». В дополнение к мозговой атаке, относящейся к этому заголовку, неплохо попытаться объединить его с предыдущей историей.

Результатом этого дикого симбиоза может явиться совершенно оригинальная комедия про женщину, которая унаследовала ма-

ленькую автобусную компанию. Водители не желают подчиняться женщине и объявляют забастовку. Хозяйка компании ищет других водителей, чтоб спасти свой бизнес. В это же время местная религиозная община последователей Хари Кришны нуждается в крупной сумме денег для уплаты судебного иска. Таким образом, кришнаиты садятся за рули автобусов, что приводит к самым невероятным событиям. И т. д., и т. п. Возможны варианты.

Суть приведенных примеров в том, что процесс применения заголовков как отправной точки для мозговой атаки весьма продуктивен и может продолжаться до тех пор, пока вы сами себя не остановите сомнениями или саморедактированием. Пока вы себя не остановите, могут родиться оригинальные и весьма жизнеспособные идеи.

5. Личный опыт

Как видите, этот источник вдохновения стоит на последнем месте, хотя вам, наверное, часто приходилось слышать: «Пишите о том, что знаете». Старая голливудская шутка гласит, что 90 процентов сценариев пишется о том, как кто-то приезжает в Голливуд и пытается написать свой первый сценарий. Потому что это все, что знают сценаристы. Есть серьезная опасность в попытках писать на основании фактов собственной жизни, ибо жизнь большинства сценаристов не так уж увлекательна и интересна. Даже если ваш первый любовный роман кажется вам ослепительным и полным

страсти, это вовсе не значит, что читатель не уснет от скуки. Вы будете на верном пути, если поймете: то, что вам известно, означает не факты, а знакомые вам ситуации и эмоции. Но вашей автобиографии, разве что она посрамит историю Индианы Джонса, следует избегать.

Главную трудность использования личного опыта составляет проблема объективности. Близость к материалу ослепляет вас в работе над стройной историей и достоверными, интересными характеристиками. Часто приходится читать скучные сценарии с логическими ляпсусами в повествовании и выслушивать оправдания авторов, что на самом деле оно так и было. Жертвуя драматизмом и художественной правдой в угоду реальности биографических фактов, вы делаете невозможной дальнейшую работу — развитие характеров и построение хорошего сюжета.

Прекрасный пример использования личного опыта — сценарий фильма «Взвод». «Взвод» — это не буквальное изложение личной истории военной службы Оливера Стоуна во Вьетнаме, но глубина, богатство выразительных средств, достоверность, эмоциональность рассказа безусловно вырастают из личного опыта автора.

Если, прочитав эту главу, вы подумали, что источником идеи может явиться вообще все что угодно — вы абсолютно правы. Множество фильмов выросли из песенок, названий песенок, слухов, анекдотов, газетных объявлений и настольных игр. Главное правило: *«Не тормозите полет своей фантазии, не редактируйте, не судите строго, не останавливайте себя, когда вы записываете все, что попадает к вам под руку!»*

Продолжение следует

«СТОП! НА СЕГОДНЯ ХВАТИТ!» —
Так называется новая книга Григория Горина,
которую редакция готовит к печати
в качестве приложения к журналу «Киносценарии»
...И на этот раз чувство юмора известного писателя,
обратившегося к теме кинематографа,
ему не изменило...

СОДЕРЖАНИЕ

КИНЕМАТОГРАФ ХАМДАМОВА

- 3 Василий Литвинов «РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ».
- 9 А. Михалков-Кончаловский и Ф. Горенштейн «НЕЧАЯННЫЕ РАДОСТИ»
Фрагмент заявки на сценарий
- 13 Сюжет фильма *Рустам Хамдамов* «НЕЧАЯННЫЕ РАДОСТИ»
- 15 *Рустам Хамдамов* «НЕЧАЯННЫЕ РАДОСТИ». Сохранившиеся фрагменты черновиков и рабочих фонограмм.
- КИНОРОМАН**
- 21 *Рустам Ибрагимбеков, Никита Михалков* «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
- АВТОРСКОЕ КИНО**
- 40 Юрий Арабов «ЮНЫЕ ГОДЫ ДАНТА»
- КИНОКОМЕДИЯ**
- 67 Александр Бородянский, Карен Шахназаров «СНЫ»
- 112 Аркадий Инин «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ! ИЛИ НОВЫЙ ПИГМАЛИОН»
ИЗ КЛАССИКИ ЗАРУБЕЖНОГО КИНО
- 92 Пол Шредер «ТАКСИСТ»
- 129 **НАЧАЛОСЦЕНАРИЯИЗКОТОРОГОМНОГОЕУЖЕЯСНО**
Григорий Горин «ЛЮБИМЕЦ БОГА»
- КИНОМЮЗИКЛ**
- 145 Барбра Стресанд, Джек Розенталь «ЕНТЛ»
- ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПАРАДОКСЫ**
- 163 Семен Фрейлих «ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПАРАДОКСЫ»
- ИНТЕРВЬЮ**
- 62 Татьяна Рыбакина, Марина Сергиенко «АЛЕКСАНДР БОРОДЯНСКИЙ: СЧИТАЮ СЕБЯ НОРМАЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»
ИЗ ЖИЗНИ ЗВЕЗД
- 87 Франсуа Форестье «ОБМАНЧИВОСТЬ УГРЮМОГО ОБЛИКА»
- БИЗНЕС В КИНО**
- 172 Александр Червинский «КАК ХОРОШО ПРОДАТЬ ХОРОШИЙ СЦЕНАРИЙ»

Гл. редактор Н. РЮРИКОВА

Редакционно-общественный совет: В. АЗЕРНИКОВ, Э. АКОПОВ, И. ВАСИЛЬЕВА, А. ГРЕБНЕВ, А. ИНИН, Е. КЛЕЙНЕР, А. КРИНИЦЫНА, А. МАМИЛОВ, А. МЕДВЕДЕВ, В. МЕРЕЖКО, Н. РЯЗАНЦЕВА, М. СЕРГИЕНКО (отв. секретарь), П. ФИНН, В. ФРИД, А. ЧЕРВИНСКИЙ, В. ЧЕРНЫХ

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Сдано в набор 26.04.93. Подписано к печати 02.06.93. Формат 70×100¹/₁₆. Усл. печ. л. 12,87. Усл. кр. отт. 12,87. Печать офсетная. Бумага типогр. офсетная. Гарн. «литературная». Заказ № 724

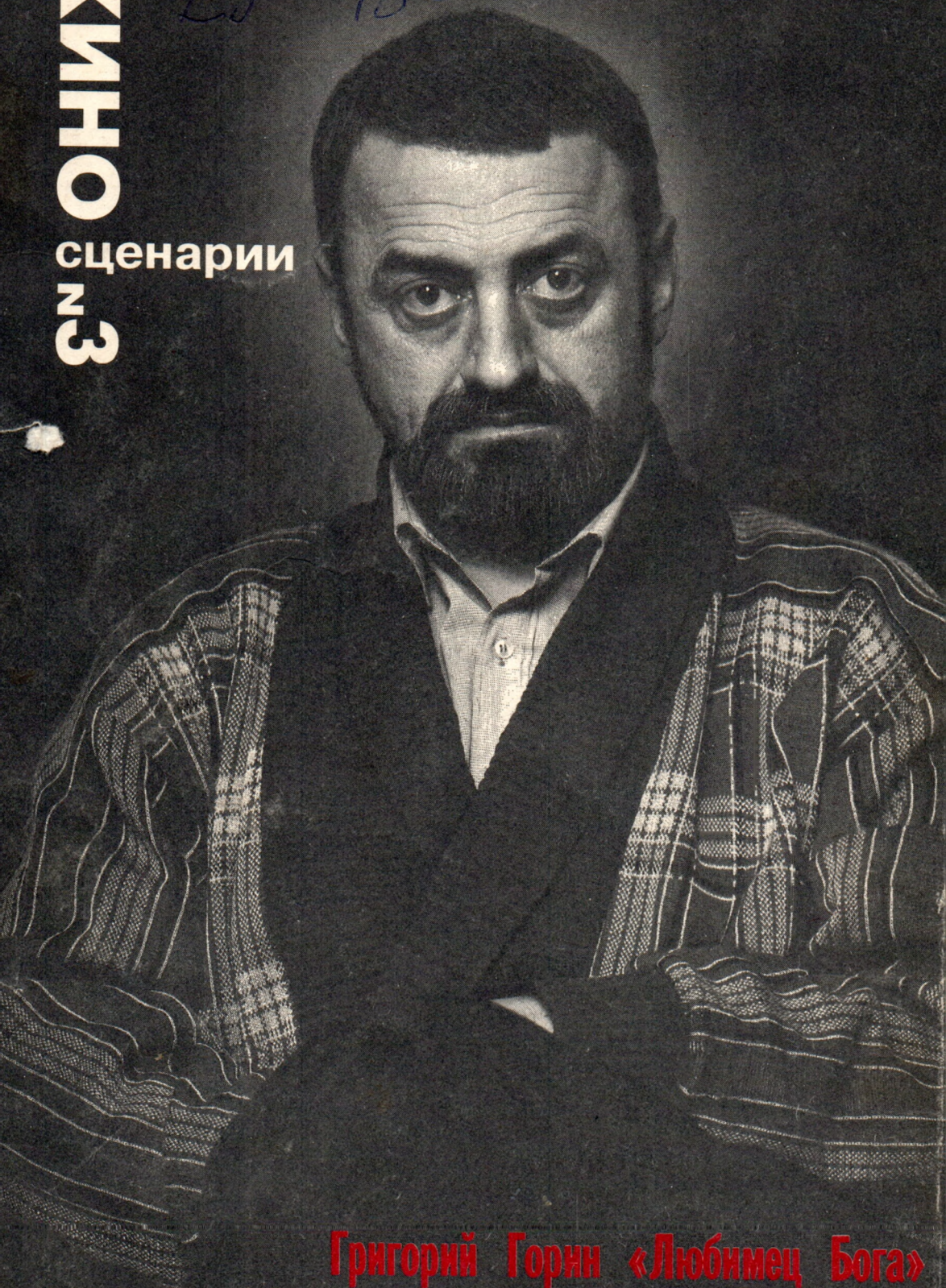
Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., 12
Телефоны: 299-11-78, 299-47-74.

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
Министерства печати Российской Федерации
142300, г. Чехов Московской области

© «Киносценарий»

КИНО
сценарии
№3

29-189



Григорий Горин «Любимец Бога»